

Июль' 2023

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Издается с января 1958 года

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Екатерина ПЕРЧЕНКОВА. В эту сторону не смотри. <i>Стихи</i>	3
Виталий АШИРОВ. Константа. <i>Повесть</i>	7
Иван ПЛОТНИКОВ. Картошка ложится в горячую землю... <i>Стихи</i>	66
Константин АБАЕВ. Параллельный монтаж. <i>Рассказы</i>	71
Анастасия ВОЛКОВА. Говорит с ними тихо как спичка. <i>Стихи</i>	79
Евгений ОМУЛЬ. Монтана. <i>Роман (окончание)</i>	86
Юлиана НОВИКОВА. Думая о пчеле. <i>Стихи</i>	158
Ульяна МЕНЬШИКОВА. Рассказы	162
Наталья БЕЛОЕДОВА. Человек поёт, шагая. <i>Стихи</i>	171
Анна ЮРЬЕВА. Городок: в девяностых было детство. <i>Цикл рассказов</i>	176

ДЕТСКАЯ

Станислав СЕКРЕТОВ. Рассказы для Лизы	181
Мария ЛИСАЧЕНКО. Прятки. <i>Детские стихи</i>	185

БЕЗ ВЫМЫСЛА

Ирина ДЕМЧЕНКО. Солнечные зайчики на подоконнике. <i>Путешествие во времени</i>	188
--	-----

Екатеринбург

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Сергей КИБАЛЬНИК.** Пора ли уже понимать Россию умом?
К 150-летию со дня смерти Ф.И. Тютчева 212

ТОЛСТЯКИ НА УРАЛЕ: ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА

- Владислав ТОЛСТОВ.** Песнь утомленного сердца.
Борис Лейбов. Вторая любовь. — «Знамя», 2022, № 11 220
- Кирилл ЯМЩИКОВ.** Ключ к открытой двери.
Нина Горланова. Только не вставляй это в литературу! — «Знамя», 2022, № 10 221
- Федор ОТКИН.** Мучительный дар.
Леонид Борисов. Праздник памяти. — «Звезда», 2023, № 5 221

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

- Сергей СИРОТИН.** Томас Манн и его семья.
Колм Тойбин. Волшебник 226

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

- Валерий ИСХАКОВ.** «Неправда ваша, дяденьки...»
«Операция “Неман”», сериал, Россия, 2023;
«В августе 44-го», фильм, Россия–Белоруссия, 2001;
Владимир Богомолов, «В августе сорок четвёртого» («Момент истины»)
«Новый мир», 1974 230

СЛОВО И КУЛЬТУРА

- Руслан КОМАДЕЙ.** Окраинная речь: о поэтике
Александра Петрушкина 233

Екатерина Перченкова

В эту сторону не смотри

навигация тонких теней. поперёк облаков —
расходящийся шрам, это след от моторки.
кто-то вышел и долго смотрел, безнадежно трезвея,
на холмы, где огонь по сухому пригорку
опускался к воде, а потом замирал перед ней,
словно зверь перед зверем.

это в воздухе будто изъян, далеко отдающийся выстрел,
и теперь хорошо, словно что-то упало из рук,
словно жизнь, эта жуткая дура в свекольных румянах и медных монистах,
потеряла язык и утратила слух —
и теперь не нарушит гортанным своим, просторечным,
расщеплённым на лепет и плач, искривляющим крашенный рот,
ничего, ничего, пусть скорей без неё заживёт.

огородами ходит её немота, зацветает на дальних болотах,
прорастает ночными кострами, гуляет босой.
о, безграмотный дрозд, недалёкий камыш, неумелый трепещущий слёткок,
что мы все перед этой зелёной грозой?

перед яблоней, вырванной вспышкой из сумерек над переправой:
ночевала одна, ничего до неё не болело,
но к рассвету такая вода поднялась,
что глядел в неё, видел внизу: начинает светиться справа,
в воде отражается слева,
то ли сердце; она всё смотрит,
начинаешь тонуть, а она всё стоит и смотрит,
а потом совсем отвернётся, уйдёт с переправы, руки не подаст.

Екатерина Перченкова — родилась в г. Жуковском Московской области. Историк, журналист, редактор. Стихи печатались в журналах «Урал», «Гвидеон» и др. Живет и работает в Москве.

ты помнишь, отменили провода:
сначала здесь, потом по всей вселенной,
но в непогоду долгая вода,
сходя с небес, служила им заменой.

ты помнишь, это было прямо здесь,
мы были кто со смены, кто с похмелья,
но слышали, как голосу с небес
звучал навстречу брат из подземелья.

о, мёртвых нет! они на том краю,
в своём раю, давно уже воскресли,
воистину воскресли и поют
на языке алисы и алексы.

они поют, а ты ещё немой,
на встречу и прощание разъятый.
голосовой помощник, боже мой,
сияющий, бессмысленный, крылатый!

скажи ему, что больше никогда:
нет времени тревожней и темнее.
а ночью поднимается вода
и обнимает остров, что умеет

сквозь слёзы плыть, над яблоней висеть,
за облаком, немислимый, зелёный,
куда ещё не протянули сеть,
куда давно не ходят почтальоны.

сквозь непрозрачную поросль ветлы, где в прошлом году, говорят,
кого-то убили; сквозь щекотные камыши, похожие на пальцы русалок,
сквозь лопухи, огромные, пыльные и дырявые, как блюда на царском пиру,
сквозь одуванчики в человеческий рост и чёрные доски дачных пожарищ
шли домой, потому что садилось солнце.

ловцы кузнечиков, собиратели чёртовых пальцев, да будет лёгок ваш путь
посреди гаражей, где из чёрной дыры страшно дышит бешеная собака,
мимо частного сектора с чокнутым александром захаровичем
и его незаряженным дробовиком,
мимо вороньих слободок в цветных лоскутах и сладком дымке,
через овраг в низине, где поджидают точка росы и её запятая,
неразлучные сёстры в дырявых кроссовках. не останавливайтесь,
не прислушивайтесь к лепету и бормотанию: «промочила ноги, мамка прийдёт».
впереди ещё целая жизнь, стоит ли жить её с неизбывной печалью,
о поцелуе с привкусом пресной воды,
пыли и мелкой окраинной земляники?

когда вы покидаете мокрые травы и причаливаете к асфальту,
похожему на серый растрескавшийся континент,
отчего-то не по себе, и такое мучительное предчувствие
то ли большой беды, то ли конца света, то ли просто ремня.
не потому, что ходили к запретной плотине смотреть на песок и воду —
потому что сейчас вас меньше на одного.
а кто-то ещё говорил: «подумаешь, высохнем».
и ещё говорил: «да ладно, там неглубоко».

ключ на моей шее оказался легче воды,
и ничего не случилось. только короткое, бессмысленное
откровение: вот почему так убеждали не потерять его и не отдавать никому:
ключ от собственной двери, висящий на шее,
делает человека ответственным и серьёзным,
даже когда он не ходит в школу и не умеет включать газовую плиту,
делает человека удачливым и неуязвимым,
даже когда его наказали за порванные босоножки и позднее возвращение.
что ещё он мог бы открыть?
я никогда не думаю об этом. меня и так до сих пор преследуют
комары и стрижи, облака и призраки,
сладкая вата, шевелящийся тюль на окне,
бумажные феи, пенопластовые кораблики,
нарисованные звездолёты,
воздушные змеи, семена одуванчиков,
слишком лёгкие вещи.

лопочет: как хочешь меня назови,
не надо любви, я не знаю любви,
мне хочется имя, и тёплую кровь,
и место с живыми — иди приготовь.
неважно, сначала — куда понесёт;
пока ты молчала, я видела всё,
я видела всё, мне сошли за людей
разумные дети пустых площадей,
их долгие книги, их нежная дрожь...
прости, моя радость, но ты не сойдёшь
до самой конечной, пока не горит.
не слышу, приём, говори, говори...

не хочешь — не слушай.
о чём мне дышать
к тебе, погремушка, игрушка, душа,
за слабые всходы на стылой земле,
за мёртвую воду и призрачный хлеб,
за то, что живая, по плечи в снегу,
глядишь, как я видеть тебя не могу.

в эту сторону не смотри,
эту землю не трогай.

что там? — чужие монеты, бесплодные зёрна речи,
хрупкие плевелы, молодые проростки, белёсые червячки,
чёрные зубы дракона.
мы будем носить их в карманах, подвешивать на цепочки,
вытравливать кислотой до молодого железа,
до красного золота, назначать талисманами,
ждать, когда оживут.

в эту сторону не смотри:
там ночной перевозчик всё крутит свою киноплёнку.
перед глазами должны оставаться
два одинаковых кадра:
два герба в заржавелых колосьях,
две вечерних совы,
два растерянных лика Афины,
две морских черепахи,
потом никаких монет.

дальше будут две вспышки.
два окурка, две гильзы, два яблоневого цветка,
два поцелуя; последний — воздушный и горький,
как дым от горящей травы.
ни наконечников стрел, ни драконьих зубов.

из потревоженной пашни воскресает девочка с узелком,
где то ли яблоки, то ли гнилая картошка,
то ли последнее платье, весёленький ситчик в цветочек.

что ты молчишь, несмеяна, беглянка, кочевница,
что ты всё ходишь следом, заплаканная загадка,
осквернённая тайна?

не развязывай свой узелок.
он — на память.

Виталий Аширов

Константа

Повесть

Часть первая

1

«Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синь очей утративший во мгле», — пришли мне внезапно в голову поэтические строки. Я небольшой охотник до поэзии, честно скажу. И даже автора не знаю. Но возникли как будто из ниоткуда. Будто их ветром надуло. И ведь как точно описывают моё нынешнее состояние! Кто я, что я? Мечтатель.

Ещё неделю назад мечтал на Ленке Черепяхиной жениться, да что-то не получается. Ерепенится она, отдаляется от меня. Эх, мечтатель ты, Володька, мечтатель!

Экзамены на носу. А разве я что знаю? Ничего не знаю. Ну, может, заглядывал в учебник пару раз. Так ведь разве успеешь все вы зубрить за неделю.

В школе надо было учиться, говорил брат. Зачем тебе этот институт нужен? Что в нём? Иди к нам на завод. А я уж и собрался к ним на завод, да Ленка против была. Нечего, говорит, там делать. Все люди как люди, в институт поступают, карьеру строят. А ты? А я что? Польстился на глаза её карие — так и сказал брату: не нужен завод мне! Грязь, пыль, да вонь, да шум, да гам. Инженером пойду, в чистом кабинете сидеть стану, с циркулем. Бланки подписывать, чертежи рисовать. А он посмеялся только: дурак ты, Володька, дурак. И ничего не сказал больше.

Ведь и правда дурак я. Хожу на эти курсы подготовительные, а толку, кажется, никакого нет. Завалю экзамен, ой завалю. И Ленка тогда от меня совсем отвернётся. А что ж мне, как без неё? Люблю её, бледную, худую. Выше меня на полголовы и всё растёт куда-то, тянется к небу, знаниям. Зачем ей все это? Она-то точно поступит. А если я не смогу — бросит.

Я ведь её люблю... Или нет? Интересный вопрос. Вроде бы привязан к ней. А любовь? Что такое любовь — не знаю. Может быть, это и есть любовь. А если даже нет, то пусть уж лучше видимость любви будет, чем совсем без любви.

Эх, вот куда меня занесло, в дебри какие немыслимые. Думаю, думаю, а на часах-то, мать честная, девять без пяти. Поторапливаться надо. Хотя, может, лучше с ребятней кораблики позапускать?

— Эй, малыши! Неправильно делаете. Кто же так кораблики-то пускает?

Виталий Аширов (1982) — родился в Перми. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького, семинар С.П. Толкачева. Работал копирайтером и журналистом. Публиковался в журналах «Нева», «Юность», «Урал», «Крещатик», «Вещь» и др. В 2019 г. в издательстве «Кабинетный ученый» вышла дебютная книга. Лауреат премии журнала «Урал» и премии им. Людмилы Паченской за роман «Пока жив, пока бьется сердце» («Урал», 2020, № 1).

Два угрюмых карапуза уставились на меня с недоверием. Думают: да мы побольше твоего знаем!

Шиш они чего знают. Знали бы, как следует запустили бы. А то построить из газеты построили. А внутрь сор всякий напихали. Палочек, галек. Вот он и переворачивается у них все время. Не так надо. Вот я покажу вам сейчас как.

И только я хотел продемонстрировать малышам свое искусство, как оступись, скользнул по асфальту, угодил в лужу и чуть не упал. А кораблик на глубокое место вырулил, на бок завалился от ветра и на дно пошёл, с этаким грузом-то.

Несчастные дети завывли во весь голос. Вот они стоят, режут и на меня пальцами показывают, якобы я ещё и виноват. А что я? Кто я?

Махнул рукой и дальше побежал, будто ничего не случилось. Всё-таки человек я взрослый, семнадцать мне. Достоинство должен сохранять при любых ситуациях.

Что бы ни произошло с тобой, Володька Бурмин, стой прямо, дыши ровно, полной грудью дыши как ни в чем не бывало, и иди вперед! Али я не стреляный воробей и не трепала меня жизнь? Ещё как трепала! И в детском доме был, и в милицию попадал. Чуть было на дно бытие преступное не затянуло, да выкрутился, не пропал, сохранил себя. Пусть и не с золотой медалью школу закончил, а четвёрок в аттестате немало. А от подленьких приятелей ещё четыре года назад открестился. Нечего мне с вами делать. У вас дорога своя, у меня своя, честная.

Через полчаса лекции, а я тут хожу, рассуждаю. Да бежать надо! А бежать совершенно не хочется. Осень какая-то серенькая. Красок никаких нет, как будто весь мир в одночасье стал чёрно-белым. Даже небо и то равномерно серое. Стены бетонные, грязные лужи и листва, прогнившая до картонной серости, — всё это навеивает уныние. Даже жить в такие дни не хочется, ей-богу. Куда ни взглянешь — слякоть и грязь, и люди идут серенькие, с тусклыми озабоченными лицами. И вот я, что называется, стою на перепутье.

Картина маслом: юноша, обдумывающий жизнь. Наверно, мне просто все равно, куда идти, поэтому я так легко согласился на Ленкино предложение. Инженер, разглагольствовала она, — это благородная профессия, с чертежами, с циркулем, в белом халате, бланки подписывать, все уважают, боятся. Премии опять же ежемесячные.

Всё это, конечно, заманчиво, но гожусь ли я? Голова у меня средняя, обыкновенная, много знаний в неё не влезет.

Может, всё-таки проскочу как-нибудь? Пусть не стану выдающимся инженером, но ведь и от простого инженера тоже польза. Стараться ведь я буду.

А вот уже институт показался. Старейший в городе. Собранный из красного кирпича, с островерхой башенкой. Без единого гвоздя построен, как шутят студенты. Внутри целый лабиринт, много переходов, проходов, входов и выходов, и лестниц, и внутренний дворик есть.

Первый раз, когда я сюда попал, даже заблудился немного, так все запутано. И как это студенты ориентируются? В общем, хватит ныть, как девчонка сопливая. Как они могут, так и я смогу. Что я — не человек, что ли? Да у меня смекалки на десять студентов найдётся.

Вон они, столпились на крылечке. Покуривают, смеются. Что-то Ленки не видно. Опять с этим Мишиным убежала? Всегда его недолюбливал. Подозрительный тип, и в школе вечно выскочкой был. А в последних классах совсем испортился. Ты ему слово, а он тебе и десять, и двадцать, и сто слов в ответ. Тьфу! Тоже мне нашелся интеллигентиска. Подумаешь, ну прочитал он книгу-другую. Главное — это вообще не голова, а руки.

Вот смотрю сейчас на свои руки и вижу, какие они крепкие. Кожа заскорузлая, жёсткая, никакой работы не боятся. А Мишин что? Языком трепать умеет, больше ничего. Задать бы ему как следует, да не по-людски это. Что я — зверь?

Постою немного, покурю, подожду. Минут пять у меня ещё точно есть.

Студенты все прибывают и прибывают. Весёлые, румяные, к знаниям спешат, к знаниям стремятся. Из рук книги не выпускают, прямо на ходу читают. Одному мне как-то скучновато. Институт — это ведь вторая школа. В школе было скучно, и здесь будет. Такая же зубрежка и экзамены, экзамены и зубрежка.

И вообще непонятно, зачем будущим инженерам сдавать философию. Философия! Ну что за предмет такой. Одна болтовня, а смысла никакого.

И преподаватель под статью, низенький, толстенький, с залысынами. Всеуетится, бегаёт вдоль рядов, объясняет что-то. Ишь как старается! А смысла от его объяснений — ноль. Потому что сдадим мы эту философию и забудем про неё сейчас же. Никак она в инженерном деле пригодиться не может. Там сопромат знать нужно, механику, геометрию начертательную. Теорию Маркса и Энгельса, труды Ленина изучать нужно. А про этих мудрецов так называемых, которые в бочках сидели и в чем мать родила по городу бегали, знать вовсе не обязательно. Ну, разве только в качестве курьеза.

Знания, если их невозможно применить на практике, это не знания, а запудривание башки ерундой. Надо быть проще.

А вот и Мишин. Философия у него, сказывают, любимый предмет. Подлизывается, подхалимничает, вопросы задаёт разные, интересуется всяким. А сам, между прочим, прозвал Владимира Владимировича обидным и смешным прозвищем за то, что философ, обращаясь к аудитории, постоянно говорит: ну-с, ну-с, ну-с. Гнусом прозвал!

Не трогают тебя люди, и ты их не трогай. Вот и всё. Ох уж этот мерзкий интеллигентный подход: в глаза улыбаться, а за глаза гадости говорить и козни плести.

И как с ним только Ленка общий язык нашла! С этим выпендренником общаться нельзя. Гнилая личность. Одно радуется, поступает он на какой-то филологический. А Ленка со мной на инженерный. Значит, не будет лишним раз Эдик мешаться.

А вот и она. Рядом Мишин со своей компанией. Идут, словечками перебранываются, посмеиваются. Лицо-то у неё какое счастливое. Со мной она вечно угрюмая. Что её так радуется? Штаны у него вон какие широкие, такими только улицы мести. И пиджачок франтоватый, как будто в театр собрался, а не на экзамен. Даже платок из кармашка торчит. Врезать бы ему! Ох, и зудят у меня кулаки. Не удержусь когда-нибудь, нападдам. Да ведь жалко, я ж его в мокрое место с одного удара превращаю, мне же боком и выйдет.

— Ой, Володя, привет! — говорит она немного оробело.

Не ожидала меня увидеть?

— Привет, — цежу сквозь зубы.

— Салют представителю народа, — усмехается Эдик.

Молчу. На него внимание сегодня обращать не стану.

— Пойдём, Лена, — говорю девушке и беру её за руку.

Она внезапно отстраняется от меня и делает шаг назад, к Мишину.

— Куда же мы пойдём? — говорит.

— Туда, — зло отвечаю я, — на экзамен.

— Так у нас разные экзамены.

— Как разные?

— Да так, я решила на филологический поступать.

Вот тебе раз. Меня как будто молнией ударило или оглушило чем-то. Стою и слова не могу сказать.

— Как на филологический? — выдавливаю через силу.

— Понимаешь, я ведь всё-таки девушка, а заводы, стройки — материи слишком для меня, как бы сказать, грубые. Ты только подумай, что со мной

будет на стройке через пять лет. Я же состарюсь раньше времени. Ты ведь не желаешь мне плохого?

— Не желаю.

А сам на Мишина смотрю. Его рук дело. Он её обработал. Хотел я сказать что-то, в спор вступить, да плюнул.

— Иди куда хочешь.

— Значит, не сердись? — радуется Ленка.

— Нет, не сержусь, — отвечаю я, — да и с чего мне на тебя сердиться. У нас что, с тобой какие-то отношения были?

Говорю, а сам чувствую: вот-вот разревусь.

Она ещё пуще обрадовалась.

— Конечно, ничего у нас не было. Это ты хорошо заметил. Ты слишком простоват, грубоват. Ренуара от Пикассо не отличишь.

И взяла Мишина за руку.

— Ещё бы у нас что-то было, — зло прошипел я, — не вожусь с такими.

— Но-но! — произнёс Мишин. — С какими же такими девушками ты не водишься, уважаемый Владимир?

А я набычился и не знаю, что ответить.

И тут зашептались вокруг: экзамены начинаются, экзамены начинаются.

И все студенты стайками и струйками принялись проникать мимо нас в открытые двери. Их было так много, что они совершенно оттеснили меня от Мишина с Ленкой. Когда толпа рассеялась, Черепахина исчезла. Видимо, тоже улизнула под шумок с компанией.

Я поплёлся в коридор.

Выяснилось, что первый экзамен у нас все равно будет общий. В одном кабинете. Хотя сдавать совершенно не хотелось. Особенно после такого признания. На филологический она собралась! Со мной, значит, не хочет, а с Мишиным хочет. Что она в нём нашла?! Маменькин сынок и все время умничает. Надо всё-таки начистить ему морду.

Все вокруг страшно волновались и на ходу зубрили. Одна тоненькая, бледненькая первокурсница от переживаний даже в обморок упала на руки подружек. Зато взад-вперёд ходили дежурные старшекурсники и проверяли, чтобы никто чужой не проник в институт. Подозрительных прямо так и спрашивали: ваш пропуск!

Меня не спросили, значит, не такой уж я и подозрительный.

Владимир Владимирович ещё не пришел. В кабинете стояла шумная атмосфера. Молодые люди скрипели партами, чихали, смеялись, кто-то даже запел. И, умудряясь производить все эти шумные звуки, они продолжали зубрить, как будто не прочитали учебник дома уже раз двадцать, а то и сорок.

Уж я-то наверняка знаю. Это я прочитал полтора раза. И не понял ничего. Аристотель, Платон... Ну какое мне дело до них?! Тогда же строй был рабовладельческий, попирались святые права людей. А мы учить, а мы зубрить! Да сжечь нужно всю эту философию! И никакие категории и константы не помогут мыслителям.

А где же Черепахина? А вон она, у окна с Мишиным устроилась. Неужели между ними есть что-то? Или так просто, развлечение нашла? А если вправду не нужен я ей? Тогда даже не знаю что... Вот говорят, свою девушку нужно отстаивать. А я не знаю, нужно её отстаивать или не нужно, потому что не уверен в том, что люблю её. Странная она, ветреная. Сегодня здесь, завтра там. Сегодня инженер, завтра филолог. Сегодня с рабочим, завтра с философом. А послезавтра с актёром укатит. И все-таки красивая...

И тут мне подумалось: а ведь красота её приторная. Будто бриллиант в меду. Вроде бы и красиво. Но один раз посмотришь — и навсегда хватит. Вот смотрю сейчас на неё. Сидит с Мишиным. Он ей руку на плечо положил, похохатывает,

историю рассказывает. Вот её профиль идеальный, греческий. Локоны опять же сдувает со лба. Брови подкрасила. Манерная, жеманная, нарядная, как новогодняя ёлка.

Фу, что я в ней раньше только видел! Заморочила меня, обдурила и чувствами моими играет. И все равно ей, что у меня на душе происходит.

Взять бы этого Мишина в охапку и об пол шандарахнуть. Впрочем, пусть уж лучше он с Ленкой, раз прельстился на красоту. Вот и получай на орехи. Поматросит, как поётся, и бросит. Рожки да ножки от нашего Мишина останутся. Но красива, красива... Вот бы фотоаппарат. Щелк, щелк. Хоть на память оставить, что ли.

Да нет, так я совсем с ума сойду: развешаю портреты по комнате и любоваться буду. Если все время на оболочку пустую смотреть, то и забыть можно, что пустая она. Недаром говорят поэты... Почему мне сегодня в голову все стихи лезут? Не читал ведь их сроду, а лезут и лезут. Недаром размышляют о красоте. Что она такое? Сосуд, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Так вот Ленка — пустой сосуд. Но красива!

Может, у нас всё ещё наладится. Переменится она, дурь филологическая из неё выйдет. И мы... Эту важную мысль я, к сожалению, не успеваю додумать до конца.

В кабинет входит низенький, тучный, одышливый человечек с голубой папкой. Студенты, как по команде, замолкают. Воцаряется гробовая тишина.

— Ну-с, ну-с, ну-с, — говорит Владимир Владимирович.

Мишин, не сдерживаясь, хихикает.

— Берите билетки.

Тишина прерывается снова. Все вскакивают, и каждый норовит прибежать первым. Толпятся вокруг стола, выхватывают друг у друга полоски нарезанной бумаги.

А я последним подойду. Не люблю вести себя как животное. У человека должно достоинство быть, иначе совсем плохо.

Столпились вокруг Гнуса, кудахчут озабоченно. А он доволен. Смотрит на всех поверх очков, улыбается.

Ладно, моя очередь.

Тяну наугад, комкаю в ладони и плетусь к парте. Так, что там: Парменид. Смутно знакомое слово. Судя по произношению, наверно, кто-то из этих, из древнегреческих рабовладельцев. Да уж, на что рассчитывал, если толком и не готовился? Экзамен, можно сказать, провален.

Зенит, Парменид... — мучительно размышляю, уставив глаза на потолок.

С его белоснежности свисают четыре ослепительно ярких лампы. Может быть, отчаянно думаю я, в имени скрыта суть учения. Пар... Может быть, всё пар? Или Армения... Армения, армия, милитаризм... Что за идиотизм! — прерываю я поток сумбурных мыслей и хочу немедленно идти. Хоть что-нибудь скажу. А подглядывать в учебник, как делает, например, рыжеволосая девушка, соседка моя по парте, подлость. Для советского человека неприемлемо.

Главное — правда, а хитрости, извороты для бедных духом.

Я решительно поднимаюсь и следую по направлению к профессору. Владимир Владимирович слегка удивляется:

— Так быстро? Ну-с, ну-с, ну-с, молодой человек, извольте порадовать меня вашими знаниями.

Я сажусь, закидываю ногу на ногу и замечаю, что Мишин с Черепановой внимательно наблюдают за мной. То-то им будет потеха.

Откашлявшись, вытягиваю билет перед собой и громко читаю:

— Парменид.

— Очень хорошо, — говорит преподаватель, — продолжайте.

— Парменид, — говорю я снова и уже не столь уверенно, — это древнегреческий философ.

— Так! — радуется Владимир Владимирович.

— Он разработал чрезвычайно сложную для понимания теорию.

— Верно. Но подождите с теорией. Когда он жил?

— В 15-м веке до нашей эры, — говорю наобум и понимаю, что не угадал.

У профессора вопросительно поднимаются брови. Мишин начинает хихикать, и Ленка тоже прыскает от смеха.

Меня все это неимоверно раздражает. Я самоуверенно продолжаю:

— Возвращаясь к теории, хочу отметить, что основными понятиями Парменида были две константы: пар и армия. Пар — это орнитологическая константа. Она имеет отношение к устройству вселенной. Греческий мудрец считал, что вселенная сделана из пара, потому что это вещество не имеет формы и четко определяемой структуры и при определённых условиях может выступить из любого объекта.

Не зная, что ещё ляпнуть, я замолчал.

— Очень интересно! — вытаращился на меня преподаватель. — Вы продолжайте, продолжайте. У вас крайне глубокие познания предмета.

— Армия, — вздохнул я, — это политическая константа. Она имеет непосредственное отношение к сущности рабовладельческого строя. А Парменид, как известно, был сторонником этого ужасного государственного устройства. За малейшую провинность он жестоко наказывал своих рабов. Сажал в клетки, морил голодом, ставил на горох.

В кабинете уже давно звучали быстрые перешептывания, а на последних моих словах студенты и вовсе грохнули от хохота. Громче всех смеялся и показывал на меня пальцем Эдик. Ленка хохотала, откинувшись ему на плечо.

— Удивительно! — отмигивался преподаватель. — Вот уж не подозревал, что в таком невзрачном на вид абитуриенте скрыта такая бездна знаний. Жаль только, не философских, а каких-то других. Попробуйте себя где-нибудь ещё, — грустно закончил он и развёл руками.

Я отодвинул скрипучий стул и поплёлся к выходу.

— Или приходите на следующий год, — воодушевленно прокричал он вслед.

И вот я снова на крыльце. В моих дрожащих пальцах зажата сигарета. Унылый ветер уныло гоняет по унылому двору унылую серую листву. Глупая рыжая кошка трётся о мои ботинки. Кто я? Что я?

Вот и провален экзамен. Ну и правильно, что провален. Я ведь и не готовился. Парменид, Парменид. Какое мне, молодому, здоровому, рукастому парню, может быть дело до этого унылого рабовладельца. Все прогрессивные люди новое общество строят, а философы нас в прошлое тянут. Ещё и полным идиотом себя выставил, вот ведь как. И прямо перед Ленкой, перед Ленкой...

А как она смеялась, унижительно, как будто я больной какой-то или слабоумный. А я ещё с такой девушкой дружить хотел! Хорошо, что теперь все кончено. Я свободный, не обременён никакими задачами и знаниями, гулянками, свиданками и могу... Что, собственно, могу?

И тут я вдруг с потрясающей отчётливостью понял, что мне нужно сделать: забыть, забыть, навсегда выбросить из головы сегодняшний день, унылый, серый, неуклюжий, неправильный. И — на завод. Пусть не инженером, а простым рабочим, но хоть какая-то польза государству от меня будет. Не то что эта философия-шмилософия.

Да и Ленке бы не мешало на заводе поработать годик-другой. Все мы родились в Советском Союзе, жизнь у нас светлая в общем-то. И родине нужно трудовой долг отдать. Работать у станка — не филологию читать на диванчике, это по-настоящему тяжело и оттого радостно. Радостно оттого, что ты не себе принадлежишь, а народу, коллективу — да всей стране. А философ, обложившийся книжками, кому нужен? Себе только и парочке таких же ботаников.

Они же совсем ее испортят. Вобьют в неокрепший мозг умствования бессмысленные. И кто из нее вырастет? Уж не предатель, уж не шпион ли? Что же

я-то все о ней да о ней. Неужели тем больше нет других хороших? О ней вспоминаешь — настроение портится. Ведь не любил её, пустой сосуд. Но красива. Красива!

Не знаю, сколько стою на крыльце. Может быть, пять минут, может быть, полчаса. Стою, курю, проваливаюсь в свои мысли.

— Бурмин, — раздается знакомый голос.

Оглядываюсь — Мишин.

— «Онтологическая» с «орнитологическая» перепутать!.. Эх ты, Парменид! Ну и представление устроил. После того как тебя выгнали, мы ещё целый час смеялись.

— Во-первых, меня не выгнали, — резко отвечаю я, — во-вторых, часа ещё не прошло. А в-третьих, вали отсюда подобру-поздорову.

— Володя, ну что ты наделал, — откуда ни возьмись, возникла Ленка, — мы так готовились, а ты всех насмешил и с толку сбил.

— А что это вы, — говорю, — так быстро. Уже всё?

— Всё, — подтверждает Ленка, — Эдик сразу после тебя вышел.

— И вот что удивительно, — встречает Мишин, — вопрос мне попался про Аристотеля. А ежели говорить более конкретно — о принципе первопричины в его метафизической системе. Тебе знаком этот принцип? — насмешливо спрашивает у меня.

— Ещё как, — так же насмешливо отвечаю.

— А мне что-то подсказывает, наш Володя блефует, — усмехается Эдик, обращаясь к Ленке, — ну да не имеет значения. Так вот, друзья, первый принцип есть некая мировая душа, которая называется по-гречески очень ёмко и точно.

— Как же? — спрашивает Ленка.

— Нус! — он поднял указательный палец. — И с этого дня наш Гнус больше не Гнус, а кто? Правильно, Нус.

Весьма довольный собой, Эдик хохочет и глядит на меня, думая, что я оценю его жалкую шуточку.

— Полная чушь, — бормочу, — юмор уровня школьной уборщицы тёти Клавы.

— Твой юмор, Володя, — безапелляционно отрезает Эдик, — мы уже имели честь оценить. Спасибо, хватит.

И, снова засмеявшись (как же ненавижу их отчаянный, ничем не сдерживаемый смех), товарищи собрались ретироваться.

— Стойте, — окликаю, — как сдали?

— Пятёрки, — кричат, не оборачиваясь, и медленно удаляются.

Меня не позвали, почему-то подумалось с новой злостью. А ведь они подходят друг другу: напыщенный, напомаженный петух и пустая внутри кокетка с кукольным лицом. Сдали они! И я бы сдал, если бы захотел. Но не хочу с ними в одной аудитории находиться, одним воздухом дышать. На завод, скорее на завод. Завтра же документы отнесу. Хоть уборщиком, а если брат похлопочет, то и токарем возьмут. Начну пользу приносить Родине.

Всё-таки немного обидно, и даже не немного, а сильно. Бросаю окурочек в тяжелую бетонную урну и, заложив руки за спину, неспешным шагом иду домой.

Где-то вдалеке брешет собака, пищат дети, гудят механизмы и проносятся автомобили. Старый город сменяется новым, а новый опять старым. Я печально pinaю опавшую листву, бездумно наступаю в лужу. Посвистываю и морщусь. Такой у меня вид, что лучше ко мне не подходит — схлопотать можно.

Пересекаю мост через Нежданку, останавливаюсь и, взявшись за чугунные перила, гляжу вниз. Водная гладь совершенно пуста. Ни корабля, ни захудалой лодочки. Волны катятся равномерно, с шипением бьются о берег.

А может, сброситься? — мелькает шальная мысль. Вокруг никого. Ну, уж нет, тут же одергиваю себя, если сброшусь, то подумать только, какое неимо-

верное удовольствие доставлю Эдику Мишину. Да и она вздохнет с облегчением. Будут вместе смеяться над неудачником. А я не неудачник. Если захочу — все смогу. Все, что Мишин даже представить не сумеет.

Плюю в серую муть, ветер уносит плевков. Не знаю, добрался он до воды или нет. Домой, скорее домой. Дождаться брата, расспросить обо всём. О приёме, о премиях, о плане.

И, чтобы сбросить тяжесть сегодняшнего дня каким-нибудь нелепым действием, раскидываю руки, как в детстве, и, будто большой самолёт, бегу вперёд, яростно гудя. Толстая старушка в чёрном платке, заводящая на мост тележку, набитую макулатурой, недоумённо отшатывается.

Проношусь мимо, дальше и дальше. Спускаюсь вниз, в знакомый лог, где текут грязные ручьи и стоят подгнившие сараи. В детстве мы играли там в прятки, и мне даже удалось забраться в кроличью нору. Ума не приложу, как я это сделал, но всё-таки сделал, залез почти целиком, голова торчала. И как Димка не наступил! И хорошо было внутри, уютно, словно под очень плотным одеялом.

Выбираюсь из лога. Передо мной жилой массив. Детская площадка с грибами, песочницей и всем, что полагается. Неспешно пересекаю её. Там и сям знакомые лица, приходится со всеми здороваться.

— Здравствуйте, тётя Даша! Здравствуйте, тётя Клава! Здравствуйте, дядя Женя! Здравствуйте, баба Нюра!

Вечно эти пенсионеры чем-то недовольны. Губы поджаты, брови насуплены. А чего злиться-то, чего кукситься? Забот никаких нету — сплошная малина, живи да радуйся. Ан нет, ворчат, бормочут, провожают неодобрительными взглядами, словно я украл у них что-то. А ведь знают меня лет десять, а то и больше. Неужели я таким же стариком стану? Даже вообразить не могу, как я с палочкой на лавке...

А вообще жизнь бесконечной кажется. День тянется и тянется, будто в нем не двадцать четыре часа, а миллион лет. И сколько таких миллионов лет пройдёт, прежде чем я состарюсь? Лучше не думать об этом. Все равно ни до чего толкового не додумаюсь.

Скорее домой. Там с головой заберусь под одеяло и буду переживать провал на экзаменах, а может, не буду — ещё не решил, переживать или не переживать. Это пусть Мишин по пустякам переживает. Мне-то что.

Открываю тяжелую дверь миниатюрным ключиком и вдыхаю запах родного жилища. Пахнет воблой и пивом.

Брат с друзьями, видимо, праздновал что-то утром. Постоянно празднуют. Все у них праздники. А как по мне, так праздников не должно быть много. Потому что они отвлекают от дела, от работы, от служения Родине. Плакаты везде развешаны: «Пьянству бой!», «Больше ни капли!», «Рюмка — враг!». Да им хоть кол на голове теши, будут пить. А пить надо в меру, говорил покойный дядя.

И чего я его вдруг вспомнил. Неприятная была история с дядей. Не советским человеком оказался, сволочью, шпионом. А как разоблачили его делишки, пулю в лоб себе пустил. Я забыл о нем совсем, но иногда всплывают со дна памяти словечки, советы, наставления.

Черт ведь знает что у человека внутри. С одной стороны, вроде нормальный, обыкновенный и даже приятный. А если копнуть — такое всплывёт, что лучше бы этого типа и вовсе не было.

Если бы не раскрыли дядю, сколько бы он гадостей еще совершил, сколько советских судеб искалечил.

На кухне бардак. Рыбы косточки, завёрнутые в газету «Правда», лежат на подоконнике. На столе стеклянные пивные кружки, просвечивающие жёлтой мутью.

И почему они пьют? Неужели я тоже на заводе пить начну? Эх, завод, завод. Скорее бы пройти через проходную, разобраться со всеми формальностями и окупиться в свежую, интересную, новую жизнь.

А пить не буду! У меня своя голова на плечах и сила воли есть. Трезвость и правда — вот мой девиз.

По ассоциации перевожу взгляд на подоконник. Как им не стыдно в такую газету заворачивать жалкую рыбку. Брезгливо беру газетный свёрток и вытряхиваю его содержимое в мусорное ведро. Бережно разглаживаю и кладу перед собой. Вот сейчас остатки мусора счищу — и в подшивку.

Да ведь сначала прочитать нужно, прежде чем подшивать. Газета передовая. Статьи необыкновенно интересные. Начнёшь читать — не заметишь, как все издание до последней страницы прочитал.

Знакомясь с содержанием «Правды», чувствую себя частью чего-то великого, важного для всех советских людей. Да и темы-то какие, не оторвёшься! О вредителях, о шпионах, о врагах партии. Об упущениях и недоработках в отдельно взятом колхозе, о халатности во внедрении цикличности. А вот здесь... и тут меня пот прошиб. Газета говорила со мной, обращалась не к кому-нибудь, а совершенно точно ко мне:

Здравствуй, гражданин Советского Союза! Ты живёшь на всём готовом, спишь в тёпленькой постельке. Твой дом высок и благоустроен. Знаешь ли ты, что в безграничных просторах советской страны затерялось местечко, где люди живут в диких, первобытных условиях, в хлипких бараках, без водопровода и электричества? Тёмные и невежественные, они до сих пор молятся каменным идолам, едят сырое мясо и не гнушаются, стыдно сказать, промискуитета. Советская власть заботится обо всех без исключения граждан Союза. Мудрые вожди на всенародном пленуме ЦК КПСС приняли решение помочь жителям дикого края и построить там источник электрической энергии, гидроэлектростанцию. И теперь они обращаются прямо к тебе. Если тебе от семнадцати до сорока пяти лет, ты полон кипучей энергии, ты горюшь безграничным энтузиазмом, ты горячо, искренне любишь Родину и не желаешь терпеть на её прекрасном лице уродливые явления, а мертвящему однообразию предпочитаешь романтику и приключения, приходи, мы тебя ждём!

Далее указывался адрес: Алтайская республика, Чемальский район, поселение Чемал. И авторство указывалось: старший инженер Андрей Михайлович Вяткин.

Один раз перечитал. Другой раз перечитал. Потом третий перечитал. Да это что же, это же прямо ко мне обращаются! Это же я гражданин, я Родину люблю и не желаю терпеть уродливые явления на её прекрасном лице! Гидроэлектростанция — дело благородное. Может, взять и уехать? Алтай, горы, равнины, поля... Красиво, должно быть.

Действительно, чего тут киснуть, как красна девица в четырёх стенах. На всём готовеньком, одет, обеспечен, сыт. Жизнь райская, так сказать. А где-то люди страдают, выживают, природу побеждают. Да и нужен я разве кому-то здесь? Завод и без меня справится. Тем более есть немаленькая вероятность, что затянет пивная трясина, как затянула этих лоботрясов. Жизнь тут невыносимая, затхлая, душная, однообразная, примитивная какая-то. Парни вялые, инертные, а девушки пустые внутри. Только таким здесь и жить.

Уверен на сто, на тысячу, на миллион процентов, что Эдик Мишин ни за что бы в Алтай не поехал. Калачом его туда не заманишь, кишка тонка. А я поехать обязан, ничто меня не держит.

А Черепяхина? Спросил самого себя. Ведь существует крошечная надежда, что она бросит Эдичку и вернётся ко мне. Да только не приму ее, лживую, переменчивую. И любят ведь душу, а не внешность. Внешность у неё в порядке, а душа?

Ну вот, снова до поповских материй додумался. Вытряхни ты, Володя, из ума ерунду всякую, собирайся сейчас же, немедленно. А что, соберусь. Чемоданы упакую и завтра же утренним поездом в Алтай махну. И ждёт меня там новая, удивительная и непременно счастливая жизнь.

Читаю негромко и отчётливо. Голос мой, который звучал недавно столь неуверенно, звучит все твёрже и крепче: «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синь очей утративший во мгле. Эту жизнь прожил я, словно кстати, заодно с другими на земле».

Ребенок затих. Не вопит, не ёрзает, не кричит. Смотрит на меня большими голубыми глазами, как будто что-то понимает в этих стихах великого русского поэта Сергея Александровича Есенина.

Кто я? Что я? Мне часто хочется задать эти вопросы самой себе. Кто я? Что я? Ответа нет.

За окном завывает ветер. Уже не по-осеннему завывает — по-зимнему. И мне от этого так тоскливо и грустно. Малыш притих. Смотрит на меня из кроватки. Когда же он заснёт, чтобы я осталась полностью наедине сама с собой, со своими грустными, тоскливыми мыслями. Ведь он, ребёнок, косвенная причина того, что я не пошла сегодня на экзамены. Готовилась целый месяц, зубрила, делала шпаргалки, заучивала формулы. Казалось, все испытания одолею быстро и непринуждённо.

А почему ты собралась быть инженером? — иногда задаю себе вопрос. Это не совсем женская профессия. Женщина должна быть более женственной, что ли. Работать с людьми, а не с проклятыми чертежами. Должна, в конце концов, радовать всех красотой. Разве на шумном, грязном заводе можно сохранить красоту? Тем более что в спецодежде её никто не увидит, как говорили мне некоторые знакомые, не особенно умные.

А я считаю, красота, она ведь не только внешняя. Есть ещё и внутренняя. Красивы должны быть дела, поступки, тогда и лицо будет красиво. Очевидные вещи, а люди не понимают.

Я стараюсь жить так, чтобы мне было не стыдно за то, что я делаю. Значит, в каком-то смысле стремлюсь жить красиво, женственно.

Мне совершенно не грустно и не печально от того, что я пропустила экзамен. Ведь я помогла человеку. Утром накануне сдачи, когда я уже складывала сумку, пришла соседка: так и так, ребёнок заболел, не могу я посидеть, пока она бегаёт за лекарствами.

Любой бы на моем месте поступил так, как я поступила. Отложила сумку, с готовностью сказала:

— Конечно, посижу!

И вот уже одиннадцать. Соседки всё нет и нет. А мои подружки, наверно, уже сдали экзамены. Мне совсем не грустно и не печально...

Зачем я себя обманываю? И грустно мне, и печально! Как начался экзамен, каждые пять минут на часы глядела, думала, ну скорей бы вернулась!

А теперь что, теперь уж всё. Шанс упущен, и будущее моё как в тумане.

Одно хорошо — ребёнок заснул. И кажется, все-таки нет. У него один глаз открылся, второй открылся. Он заревел.

Наказание моё! Беру малыша, он лёгкий, как котёнок. Шепчу что-то и качаю. Кричит, вырывается.

— Тише, тише, я так больше не выдержу. Я сама сейчас заплачу.

Повернулся ключ в дверях. Неужели соседка?

— Извини, Машенька.

Входит она, толстая, румяная с холодка.

— Опоздала я немного. То в одной очереди постою, то в другой. Лекарства, сама знаешь, достать трудно.

— Ничего страшного, Нина Васильевна, — говорю и протягиваю малыша.

На руках у мамы мальчик, как по волшебству, перестаёт плакать.

— Ты ведь на экзамен не опоздала, детонька? — спохватывается вдруг Нина Васильевна.

— Нет, — говорю я грустно, — не опоздала.

— Ну, беги, беги скорей.

Я прощаюсь с соседкой и выбредаю в коридор, на лестницу, в какое-то особое, ни на что не похожее гулкое таинственное пространство.

В оконную щель тихой сапой пробирается ветер и насвистывает. За закрытыми дверями бормотание, шорохи, вздохи, всхлипы. А ведь большинство жильцов на работе. Неужели хозяйничают привидения?

Ох, и лезет на ум всякая чушь! Немедленно соберись, Маша Сорокина, поднимайся на свой этаж, открывай ключом квартиру, с головой залезай под одеяло и плачь, жалея себя, вспоминая сегодняшнее утро. Одно утешает: мама и папа в командировку укатили и не станут свидетелями позора.

А потом? Как посмотреть маме в глаза? Что я скажу? Не пошла на экзамен, провалила институт?

Куда податься теперь? Пересдача в следующем году. Целых двенадцать месяцев, триста шестьдесят пять дней и бесчисленное количество часов. Эх ты, добрая душа! Зато помогла соседке...

Ложусь. Кладу подушку на голову и беззвучно плачу. Настенные часы с кукушкой назойливо и громко отбивают двенадцать.

Что делать? Жизнь ведь не остановилась, успокаиваю себя. Пойду на завод помощником токаря. Приобрету полезный практический опыт. Да и деньги в семье будут не лишние.

Не так все плохо, даже, наверно, совсем всё хорошо, но почему же тогда так жалко себя и так хочется плакать?

Любопытно, как Черепихина сдала. Только подумала о Ленке, как тут же она, легка на помине, трезвонит в телефон. Кто же ещё это может быть, кроме неё.

Снимаю трубку, слышу взволнованный разговор:

— Где пропадаешь, Сорокина?

Стараюсь придать голосу как можно больше бодрости и объясняю ситуацию. Так и так, пришлось отложить поступление ради героического поступка.

— Ну, ты даешь, Сорокина, — кричит Ленка, — хотя что-то такое я от тебя ожидала. Ты можешь иногда выкинуть финт. Ну, в любом случае бросай своих младенцев и немедленно лети ко мне. Собирается потрясная компания.

— А по какому поводу?

— По поводу успешной сдачи философии. Срочно вызываю тебя, будут все главные стилиги района. Может, понравится кто-нибудь.

Засмеявшись, подруга кладёт трубку.

Стилиги! Как же ненавижу это модное словечко.

Постоянно у нее кто-нибудь собирается. А я как-то не люблю крупные скопления людей. Вдвоём или втроем ещё посидеть можно, а когда десять или двадцать человек, и не пообщаешься толком, так, разве что парой фраз перекинешься. Но пойти, конечно, надо. Ещё обидится. Обидчивая она у меня, Черепихина.

Надеваю простую белую блузку и строгие чёрные брюки. Прихватываю чёрный зонт с деревянной ручкой. Небо хмурое, дождь хлынет с минуты на минуту.

Предчувствие не обмануло. Мелкий дождик припустил сразу, едва я покинула подъезд. В лужах образовывались пузыри, намёк на то, что дождь будет долгим.

Ветер захлестнул меня со всех сторон. Особенно сильно цепляется к зонту, пытаюсь его выхватить.

Ускорила шаги. Чуть ли не бегом направляюсь к мосту и там, схватившись за чугунные перила, замираю, снова не в силах сдержать восхищение перед прекрасной водной гладью. Точнее, не гладью, а стремниной, потоком. Нежданка брызжет, плещет и сверкает.

А может, кинуться и покончить со всем? Ну, вот ещё глупость какая. Недостойно ты себя ведёшь, Сорокина, ох и недостойно. Ты и на заводе всем покажешь. Но в глубине души я знаю наверняка: на завод не очень-то и хочется. Работа там монотонная, грязная, скучная. А меня тянет к свершениям, к чему-то серьезному, великому.

Конечно, и на заводе я принесу пользу родине, но маленькую. Не пользу, а пользочку.

И ведь столько готовилась, готовилась... Да судьба вертит человеком как угодно, как ей заблагорассудится. Не нужно судьбе перечить — себе дороже выйдет.

Довольная такой мыслью, схожу с моста и уже вижу Ленкин двухэтажный дом с островерхой красной крышей.

Раньше там жили важные господа, да после революции их всех отправили в места не столь отдалённые, а огромные комнаты передали в пользование простым людям.

Коммунальные квартиры не лучшее изобретение современности, однако плюсов в них больше, чем минусов. Правильно говорит пословица: в тесноте, да не в обиде. Общаешься, узнаешь людей со всех сторон, проникаешься общественной жизнью.

Подходя к Ленкиной квартире, я уже слышу, что оттуда играет весёлая танцевальная музыка. Морщусь. Им-то есть чему радоваться. А мне чему? Глупая, глупая, доверчивая Сорокина.

Звоню несколько раз, никто не открывает. И неудивительно — при таком-то шуме. Вот на пороге возникает тучная тётя Шура с недовольно поджатыми губами. Бедненькая, как мне её жалко. Не первый раз уже громкие посиделки у Лены. А ей все выслушивать приходится. Вот, наверное, самый значительный минус коммунальных квартир.

— Проходи, — шамкает она.

Я оказываюсь в знакомой прихожей, где бывала, пожалуй, тысячу раз.

О мои ноги с грозным мурлыканьем трётся тёти-Шурина рыжая кошка. И убегает за хозяйкой.

Следую по узкому коридорчику, и чем ближе подхожу, тем громче музыка. Навязчивый саксофон какофонически гудит и бубнит. Ох уж эти модные музыканты! Вряд ли они даже в ноты попадают. Любую обезьяну из зоопарка возьми, дай саксофон в руки, она так сыграет — никакой Дюк Эллингтон не повторит.

И вообще не нравится мне звук саксофона, пустой, развязный.

Да ведь им самим, думаю, тоже не нравится. Просто мода, и всё. А против моды не поспрешь.

Ленка встречает меня на пороге и тащит за руку. На ней неприятно яркое красное платье в белый горошек.

В комнате помимо Ленки трое молодых людей и две девушки. Выглядят они, как бы помягче выразиться, франтовато. Одного я знаю — это Эдик. У него взбитый налакированный кок и тонкие ухоженные усики. Сидит, развалившись в кресле, качает ногой, обутой в ботинки на немисливо толстой подошве. Сами ноги кажутся тонкими как спички, потому что на них сильно зауженные брюки-дудочки.

Разоделись, как петухи, смотреть противно.

На старом патефоне крутится необычная пластинка — подрезанный рентгеновский снимок, на который подпольно записана какая-то новомодная американская чушь. Эдик достаёт такие пластинки через знакомых. И чрезвычайно гордится ими.

— Бонжур, Мишель, — кричит он через всю комнату.

— Хеллоу, Эдвард, — с сарказмом говорю я и низко кланяюсь.

Он не слышит иронии в моих словах. Ещё бы! Он настолько самовлюблён, что ему хоть прямым текстом все выложи, ничего не поймёт.

— Как тебе новая запись на костях?

— И где же она? — говорю я. — Выключи звук примуса и поставь музыку. Хочу оценить.

Он похохатывает.

— Звук примуса, как ты изволила выразиться, вовсе не звук примуса, а новая запись совершенно гениальной модернистской бэнды Телониус Монк.

— И что же здесь гениального? — с отвращением говорю я.

— Тебе не понять. Нужно жить этим, дышать, нужно думать, как Монк.

— А ты думай, как советский человек! — огрызаюсь я.

— Мишель, Мишель, твоя наивность зашкаливает.

— Хватит вам, гайзы, ссориться, — подбегает Ленка, — давайте танцевать, у меня чудесное настроение.

— Что-то не хочется, — вздыхаю.

— Ну, за компанию, — уговаривает подруга.

Нехотя встаю. Гости собираются в кружок посередине комнаты и начинают отвратительно дрыгаться, изгибаясь всем телом, пытаюсь закинуть колени за голову и вращая локтями.

Не в первый раз я смотрю на такое непотребство. Сперва было интересно, и даже хотелось принять участие, но я быстро поняла, что подобные танцы ни к чему хорошему не приведут.

— Ленор, она не хочет танцевать! — кричит Эдик.

— Её право, — весело отвечает Ленка.

Я смотрю на компанию стилига отрешённым суровым взглядом. Иногда кажется, что я старше их на несколько тысячелетий. А ведь мне недавно исполнилось семнадцать. Непонятно, что я делаю с ними.

Ленка, Эдик... Ещё совсем недавно мы вместе ходили в школу, сидели за партами, готовили домашнее задание. У нас была нормальная, ничем не примечательная жизнь. А потом пришло западное веяние, и они изменились. Я даже помню тот момент, когда произошла порча в душе моих товарищей.

В городском киноклубе показывали американский фильм «Серенада солнечной долины». С кривлянием, джазом, нелепыми нарядами. И они, посмотрев его, почему-то решили, что это настоящая жизнь. Что у нас здесь, дескать, не настоящая, а у них там, за бугром, настоящая. И принялись копировать её внешние признаки. Походку, одежду, словечки.

Сколько я стыдила Ленку, сколько ругала Эдика. С них как с гусей вода. Называют меня отсталой, примитивной, старомодной. А я уверена, стилижничество ни к чему хорошему не приведёт. У нас свой путь, свои песни, свои танцы. Разве сравнится нелепый буги-вуги с роскошной «Барыней»?

На мысли и чувства это действует разлагающе. Неделю назад Ленка ходила с другим, сейчас положила глаз на Эдика, послезавтра ещё кем-нибудь заинтересуется. Так ведь нельзя! Любить — значит, на всю жизнь.

Вот я никогда не любила и вряд ли полюблю. Нынешние молодые люди копии Эдика, напыщенные, самовлюблённые, хитрые, изворотливые. В нашем городе не на кого положитьсь. Всех испортила пропаганда.

Выхожу на балкон и, облокотившись на массивные перила, гляжу на площадь. Дождь перестал, но там и сям ещё падают отдельные редкие капли. То листва шелохнётся, то лужа вздрогнет.

Они продолжают кривляться и дёргаться. Вот бы улететь от них далеко-далеко, на другой край земли. Но это невозможно. Приходится жить рядом с такими неудобными людьми.

Девочка (по плечам болтаются две жиденькие косички) в мокром красном плаще бежит, держа на поводке большую чёрную собаку.

Как она похожа на меня в детстве! Я тоже беспечно бегала, ни о чем серьёзном не думала, ничего не знала, а теперь стоит только о чем-то задуматься — мысли растут как снежный ком. К незначительной мысли прибавляется ещё одна маленькая, ещё и ещё, пока связка мыслей не становится огромной и не давит меня. Может быть, это оттого, что я слишком поздно начала задумываться?

Ветер налетает порывами, становится холодно. Я уже собираюсь возвратиться, как вдруг входит один из приятелей Эдика. Клетчатая рубашка, узкий галстук-сарделька, волосы дыбом.

Нет, говорить я с ним не буду.

— Пусти, — шепчу я и пробую протолкнуться.
Но он усмехается и держит дверь запертой, а сам смотрит каким-то неприятным лягушечьим взглядом.
— Симпатичная гирла, — говорит он, — не будете ли вы любезны, не уделите ли чуточку вашего времени моему бытию?
Качаю головой. Тут же поясняю:
— Нет настроения.
Он наклоняется надо мной. Пахнет дешёвым вином.
— Почему же у такой притти вуман нет настроения? — осклабясь, производит парень.
— Потому что осень, — зло отвечаю я.
Он кладет руку мне на плечо и поднимает указательный палец.
— Только один поцелуй, — лепечет.
Отталкиваю его. Мужчина смеется. Прижимает меня к себе так сильно, будто железными клешнями. Становится страшно. Я вижу, как его губы приближаются к моим. Отчаянно кричу, ругаюсь, отталкиваю его и наотмашь бью по щеке. Всхлипывая, открываю дверь, пробегаю через шумную дымную комнату, нахожу в тёмном коридоре туфельки и пулей вылетаю в коридор. Ленка и Эдик кричат что-то вслед. А я их не слушаю.

Сердце колотится быстро, словно стремится вырваться из груди. А перед глазами стоит глумливое лицо. Бегу по влажной улице, плачу.

Я всегда знала, что поклонение Западу ни к чему, кроме моральной деградации, не приведёт. Эти люди обречены.

А я? Что делать мне? Как жить с ними? Как я снова увижусь с Ленкой, как посмотрю ей в лицо? Других близких подруг у меня нет. Да близкая ли она, раз мы с ней движемся в диаметрально противоположных направлениях?

Это значит, что у меня совсем-совсем никого нет. Никого, никого. Слёзы текут неостановимым потоком. Прячу лицо от случайных прохожих. Забегаю в подъезд собственного дома и достаю платок.

Ещё соседи увидят, сердобольные бабульки, спрашивать начнут, интересуются.

Так и есть. Сверху спускается тётя Зина.

— Машенька, что с тобой? — удивляется она.

— Ничего, — говорю я, стараясь придать голосу бодрость, — палец прищемила.

И пробегаю мимо, пока она не начала задавать кучу дополнительных вопросов. Щёлкаю замком. Закрываюсь в своей комнате и не сдерживаюсь, плачу. Каков мерзавец!

Слезы внезапно пропадают. Меня переполняют ярость и злость. Ноги моей больше не будет в той гнилой компании. Даже если на коленях приползут извиняться, ни за что не прощу, пусть и дальше поклоняются трухлявым идолам.

Остаток дня проходит скучно. За окном светло-серые краски меняются на тёмно-серые. Телефон периодически трезвонит, но я не снимаю трубку, потому что знаю наверняка: это Ленка. Извиняется, переживает.

Ну и пусть, мне на неё все равно наплевать. Хожу по комнатам, злая и извиненная, пока наконец не включаю телевизор. И тогда постепенно успокаиваюсь. Погружаюсь в знакомую атмосферу душевности и теплоты, словно кто-то близкий протянул руку и гладит меня по волосам, как в детстве.

Идёт передача о войне. Показывают героев-ветеранов. Подумать только, такие простые люди сделали для страны так много! И с первого взгляда не поймёшь, что этот простоватый мужчина летал на истребителе, защищая Родину от бандитов. Эта весёлая женщина с круглым румяным лицом, похожая на продавщицу в универмаге, в суровые годы войны спасла множество детей, переправляя их из осаждённого города в партизанский отряд.

Вот бы меня к ним! Я бы тоже что-нибудь полезное сделала. Да не повезло родиться в мирное время. Точнее, конечно, повезло. А с другой стороны, я чувствую, что рождена для большого и важного дела. А не просто так, как некоторые.

В семь — звонок. На пороге почтальонша. Протягивает письмо от родителей и новенькую хрустящую «Правду». Письмо открываю при ней, не терпится получить весточку.

Знакомый мамин голос поздравляет со сдачей экзамена, желает дальнейших успехов и так далее.

Руки опускаются, голова никнет. Прощаюсь и снова рыдаю, запершись в комнате. Хватит уже, перестань, Сорокина. Что ты — завод по производству слез?

Отрываю щеку от подушки и озираюсь в поисках чего-нибудь, что может отвлечь меня. И тут замечаю газету.

«Здравствуй, гражданин Советского Союза!» — обращаются ко мне чёрные буквы передовицы.

После прочтения этого пронзительного текста я становлюсь иной. Все мои мысли, чувства и желания устремляются к единой цели. Теперь я знаю, чего хочу по-настоящему. Теперь я понимаю, что не жила, а существовала среди глупых эгоистов, стилига и серой однообразности развитого города.

Завтра, завтра же в Алтай утренним поездом!

А мама? А папа? Они поймут. Я буду писать, я...

Меня обуревают столь сильные эмоции, что я в восторге кружусь, как балерина. Пришло время Машке Сорокиной доказать самой себе, что у неё есть стержень. Что она не амёба, не бесхребетное создание, плывущее по воле рока, а человек созидающий.

Я вот-вот приближусь к чему-то огромному и значительному. Сейчас я благодарна Нине Васильевне. Если бы не она, жизнь моя потекла бы по иному руслу, без романтики, приключений и свершений.

Часть вторая

1

В поезде я лежал на верхней полке. Мерно и неторопливо стучали колеса. В запылённом окошке пропадали родной город. Тучная проводница, улыбаясь, ходила по вагонам и предлагала чаю. Рядом со мной ехали трое: неразговорчивый старичок и две женщины в пестрых платках, с тяжелыми баулами.

Когда я покупал билеты, стоя в длинной очереди, мне на какой-то миг показалось, что я увидел Машку Сорокину. Тут же отогнал от себя её образ. Конечно, померещилось. Последний раз мы пересекались на выпускном вечере. А потом не встречались и не общались.

В школе мы шли по двум разным, можно сказать, параллельным дорогам. Она ходила с Эдиком и компанией. Я сразу, как только образовалась эта шпана, понял, что они подозрительные. Сделалось неприятно с ними общаться. Тем более с Машкой. Слишком уж она всегда живая, энергичная.

Что ей делать в такую рань на вокзале, ума не приложу. Значит, не она. Тоже, наверно, поступает, экзамены сдает, готовится. Оценки-то у неё не чета моим — пятёрки одни и четвёрки.

Ехать долго, трое суток. Заняться нечем — буду скучать, спать, письмо напишу брату. Он и не знает ничего, так и не появлялся утром.

Здравствуй, Женя. Прости, что я так неожиданно собрался и уехал. Сейчас я в поезде, скоро буду в Алтае. Ждёт меня великое дело — Гидроэлектростанция.

Комкаю бумагу и бросаю в приоткрытое окно. Лучше позвоню, как приеду. Если телефона нет — телеграмму дам.

Время в поезде тягучее, медленное. Как будто оно не идёт даже, а на месте стоит. Одно радует — пейзаж за окном постоянно меняется. То рощи берёзовые с золотистыми листьями, то нивы бескрайние, то нарядные деревеньки.

Красива наша Русь какой-то особенной, негромкой красотой. Вроде бы ничего такого уж яркого и нет, а душу всё-таки бередит.

Скоро я утомился, не замечал уже ничего, погрузился в вялое безразличие. Читал книгу, дремал, перекусывал, перебрасывался редкими словами с соседями. Удалось узнать у них кое-что. Старик ехал на поминки сына. Вёз лучок, чесночок, чёрную икру. Разодетые женщины ехали по торговому делу.

Всё это было далеко от меня. Я в основном читал и скучал. Но перед приездом все более оживлялся. Местность становилась интереснее. И деревья какие-то чудные, и горы, покрытые снеговыми шапками, и узкие речушки, и жёлтые степи.

Жизнь там будто замерла. Люди за вагонным стеклом попадались редко, и если попадались, то вид у них был такой, словно они прибыли из иного времени.

Меня переполняла радость, что вот наконец прибываю. Я иногда высовывал ладонь в окно и приветственно махал всему этому новому великолепию.

Соседи смотрели неодобрительно.

Приехали мы неожиданно. Вдруг закончилось поле — и сразу за ним железнодорожная станция. В поезде что-то вздрогнуло, он захрипел, как раненый зверь, и мало-помалу замер.

Я схватил чемодан. Мельком кивнул старичку (соседки вышли ещё два дня назад) и буквально побежал к выходу. До того мне надоел душный, тряский, шумный вагон.

И только ступил на землю, сразу понял: не зря приехал.

В густом осеннем воздухе словно была разлита благодать. В синем небе ни облачка, точно стояло лето, а не близилась к своему разгару золотистая осень.

Я шел практически налегке. В чёрном пальто, с маленьким чемоданом, где лежала сменная одежда, мыло, зубная щетка, полотенце и прочие мелочи.

С трепетом я представлял, как появлюсь сейчас у директора, представилось ему. Что, если не найду слов, не сумею произвести нужное впечатление?

Но в глубине души был уверен, что и слова найдутся, и впечатление сумею произвести обязательно. Скорее бы, скорее увидеться с ним.

Над хлипким дощатым вокзалом развевался советский флаг. Полноватая женщина-малляр мешала краску в жестяном ведре. Я осведомился, где располагается строительство гидроэлектростанции.

Она ответила:

— Недалеко, — и, немного запнувшись, чего-то смутившись, сказала точный маршрут.

Я последовал её совету. Пошел через ложбину, через лог и вышел на широкий пустырь, в конце которого находился низенький, неприметный домишко. Его, впрочем, украшал яркий красный плакат, видимый издалека: «Всю волю социалистическому соревнованию!»

На самодельной скамье возле домишки сидел дед лет семидесяти и улыбался. У его ног валялась на спине дворовая псина.

Заметив чужого, то есть меня, она вскочила и, оскалив пасть, медленно пошла в мою сторону.

— Дружок, фу! — укоризненно сказал хозяин.

Потом встал мне навстречу.

— Здравствуй, дедушка.

— Ну, здравствуй, сынок. Зачем пожаловал в наши далёкие края?

— А я вот на работу устраиваться пришел. Директор мне нужен, директор.

— Ну, это будет трудненько. Понимаешь ли, молодой человек, — начал сгибать он пальцы, — во-первых, сегодня не самый удачный день. Директор на совещании. Планерка, можно сказать. А вот когда освободится, я даже не знаю. Может, в пять, может, в шесть, может, и до утра протрещат. Во-вторых, такие дела не только с директором решать надо, а и с бухгалтером, и с кухаркой...

Он продолжал сгибать пальцы.

Я рассмеялся:

— И с кухаркой?

— И с ней тоже, — потупился старик, — на всё воля Матвея Тихоновича.

— А кто же такой Матвей Тихонович?

— Это и есть директор. Савельев его фамилия. Человек он суровый и порядки установил строгие. Отступать от них не имеем права.

— Так что мне делать? — в растерянности я развёл руками. — Обрато уезжать, что ли?

— Обожди, — сжалился старик, — я доложу.

Он ушел в продолговатый сарай. Я остался на улице и все гадал: набросится на меня Дружок или не набросится. А он, похоже, собирался сделать именно первое. Глядел серьезно, даже мрачно. Вот-вот кинется.

Не желая долго испытывать этот взгляд, я шагнул на крыльцо и юркнул за дверь.

Внутри здание казалось больше, чем снаружи. Длинный коридор, развилка, пролёт лестницы. Множество кабинетов, бесконечные плакаты и газеты на стенах: «За ударный труд!», «О борьбе с пьянством и разгильдяйством среди молодёжи»... Имелся список передовиков производства. Среди них на самом видном месте — Матвей Тихонович Савельев.

Я увидел его портрет. Тучный мужчина с залысинами, похожий на актёра Леонова. Смотрит брюзгливо, недоверчиво.

Вот какой директор, подумал я, ну и типа подобрала.

Издали закричал старик:

— Поднимайся!

Я поспешил за ним. По пути провожатый радостно рассказал:

— Повезло тебе. У Матвея Тихоновича настроение хорошее.

Мы поднялись на второй этаж и подошли к зеленой двери. Краска местами облупилась. Старик приоткрыл дверь, хихикнул и подтолкнул меня.

Я принял торжественный вид, сильнее стиснул ручку чемодана и смело шагнул в комнату, наполненную людьми.

Посередине стоял длинный стол. Вокруг него расположились солидные мужчины за сорок. На столе было несколько светильников с десятком зажженных свечей. Я сразу догадался: электричества тут пока нет.

Они глядели испытующе. Матвей Тихонович (его немедленно узнал) сидел во главе стола. Он недоволено поинтересовался:

— Представьтесь, юноша.

— Владимир Бурмин, — громко и отчётливо произнёс я, — прибыл помогать в строительстве.

— Романтики захотел? — спросил один из сидящих слева.

— Какая уж тут романтика, — смутился я, — просто хочется принять участие в важной социалистической стройке.

— А без тебя, думаешь, не управимся? — прищурился директор.

На это я не знал, что ответить.

— Думаю, управитесь, — растерянно произнёс я.

— А чего же тогда приехал? — спросил кто-то справа.

Я понял, что если сейчас же не начну отстаивать и защищать свою позицию, то меня могут развернуть назад.

— Товарищи! Я приехал сюда, не спросив брата, сбежал из города, как последний каторжник. Пусть я немного ещё умею, немного знаю, но, поверьте, в моих руках будет спориться любое дело. Поставьте меня хоть на станок, хоть на вышку. В два счёта изучу все премудрости и буду выполнять и перевыполнять нормы. Я приехал сюда не молотить языком, а трудиться. Потому что... Да вы сами написали в газете, что не хватает рабочих рук...

Я замялся.

— Молодец! — воскликнул Матвей Тихонович и подошел, — хвалю.

Он хлопнул меня по спине короткой пухлой ручонкой.

— Такие энергичные работники нам нужны. А направим мы тебя, дай подумать...

Он задрал голову и поскреб в лысине.

— А вот не знаю пока что. Завтра приходи, я тебе назначу.

Я поклонился и собрался уже выйти.

— А чемодан? — вдруг раздался голосок справа.

Чемодан я поставил на пол. И забыл о нем, пока ораторствовал.

Я снова взял багаж, снова неловко поклонился и побрел к выходу.

— Постой, постой, — закричал Матвей Тихонович, — куда ж ты пошел?

— Не знаю, — пробормотал я.

— В общежитие заселяйся. Комендант в шестом кабинете, все расскажет.

Спустился на первый этаж, нашел нужный кабинет и нерешительно постучал.

— Да-да, — бодро откликнулся комендант.

Я вошёл в кабинет со своим злосчастным чемоданом. Тут уже больше проволочек никаких не было. Одышливый толстенький человечек с красноватым лицом передал комплект постельного белья, ключи. И сообщил, где находится общежитие.

Уже вечерело. Небо на горизонте окрасилось в багровые оттенки. Я остановился полюбоваться. Красиво всё-таки. Раньше я не замечал, что природа может быть столь красивый. Чем дальше на север — тем красивее. За полярным кругом вообще северное сияние. Вот бы увидеть его хоть одним глазком.

А ещё мне очень хотелось, чтобы в этой местности зажглись наконец фанари. Темнело. Дорога становилась трудной. Осветительные приборы не мешали бы. И как я буду вечерами со свечой? Ложиться пораньше стану, вот весь сказ, решил я.

По дороге всё осматривался: где же, собственно, строительство? Вокруг были пустые пространства, низкорослые лески. Из одного донёся пронзительный вой. Меня передёрнуло, уж не волки ли.

Пройти мне нужно, как объяснил комендант, через местную деревушку. Скоро её снесут, место расчистят для стройки. Чемальцы временно живут в общежитии.

Так называемые национальные жилища местных обитателей были похожи на шалаши, сделанные мальчишками. Там и сям щели, заложенные тряпками. Гнилые доски, крыши соломенные. Неприглядные и неудобные хижины, следы костров. Кое-где даже рваное белье на верёвках развешено.

К тому времени, как я добрался до общежития, на небо уже выскользнул жёлтый месяц.

Я бухнул в тяжелые двери деревянного барака и на хмурую просьбу вахтера показал ключи. Угрюмый старик пропустил меня. Я прошел по скрипучим половикам в дальний тёмный угол. Вставил ключ в замочную скважину. Комнатенка у меня была маленькая, передвигался я в ней почти на ошупь. Ни зги не видно. Добрался до постели, не раздеваясь, упал на неё и моментально заснул. До того устал за день.

А утром концерт под окном весёлый. Пташки щебетали. Одна:

— Цок-цок-цок!

А другая:

— Фью-фью.

Замолчат — и снова. И уже одновременно:

— Цок-фью, цок-фью.

Да того мне это понравилось, что я даже встать не хотел. Лежал, закинув руки за голову, и слушал.

А потом, когда наконец поднялся, окно распахнул. Всех птиц распугал.

Дерево прямо передо мной было, низенькая берёзка. Ветви голые, влажные, блестящие от ночного дождя. А наверху, на вершине, гнездо брошенное.

Не стал я дела в долгий ящик откладывать и отправился к директору за назначением.

Ждали меня непредвиденные осложнения. Поздоровался со мной старик, встреченный давеча, и сказал, что Матвей Тихонович на совещание уехал.

— Опять совещание? — махнул я руками. — Что у него все время совещания одни! А про меня он забыл?

— Забыл, не забыл, — понурился старик, — а делать теперь нечего. Ждать нужно.

— Опять ждать.

Я сел на лавку и вздохнул.

Ждать не хотелось. Хотелось немедленно, прямо сейчас же, заняться общественно полезным трудом. Помогать родине, далёкому краю. Но приходилось бесцельно тратить время. Сидеть на лавке, покачивать ногой, думать о чем-то смутном.

Старик присел рядом и рассказал про своего непутёвого сына Валентина.

— Лодырничает. От работы отлынивает. Полнормы от силы выполняет. Все мечтает уехать отсюда. Да зачем же отсюда уезжать. У нас, оглянься вокруг, красотища какая! Горы, реки, степи. Разве увидишь где ещё такую прелесть.

— Пусть уезжает, — перебил я собеседника, — зачем человека насиловать. Если не лежит его душа.

— Эх, — недовольно поморщился старик и нетвёрдой походкой удалился.

Через полтора часа подъехала директорская «Чайка». Я немедленно подбежал. Матвей Тихонович поглядел на меня недоумённо, будто впервые увидел.

— Мы вчера беседовали, — начал я объяснять ситуацию. — Меня зовут Владимир Бурмин.

— Что-то такое припоминаю, — пробормотал директор, — ну и что ты от меня хочешь? Ах да, работу. Будешь токарем. Какой у тебя разряд?

Я стал объяснять, что никакого разряда не имею, а он лишь отмахнулся.

— Ещё лучше, меньше своевольничать станешь. Андрей Михайлович тебе все покажет. Михалыч, Михалыч! — закричал он кому-то.

Из припаркованной рядом машины вышел мужчина лет пятидесяти, толстенький, как арбуз.

— Доброго здоровьичка, Тихонович, — сказал он.

Директор пожал ему руку и представил меня.

— Вот, товарищ Бурмин, твое непосредственное начальство. Все вопросы с ним обсудишь. Мне спешить надо.

И торопливо пошёл к крыльцу.

— Я, что ли, твое непосредственное начальство? — усмехнулся Андрей Михайлович. — Ну-ну. Давай рассказывай.

— Что рассказывать? — не понял я.

— Кто ты, откуда, какую должность занимать собрался.

Тут я ему все и рассказал, со всеми подробностями. Давно, видимо, с хорошим человеком не общался. И про Машку, и про Эдика, и про осточертевший город, и про горячее желание помочь Родине. Он слушал внимательно, чуть прищурившись, а потом хлопнул по плечу, сказал, что я неплохой парень, нравлюсь ему. И повел меня в производственный блок, расположенный рядом, по пути рассказывая о грандиозном строительстве.

— Понимаешь, тут дело такое. Это же ведь я заметку в газету написал. Я как чувствовал, что есть много парней и девушек, которым в городе развернуться негде. Вот их просто распирает, понимаешь, неистовое желание выразиться. Дело в том, что у вас все мелкое. Мелкие склоки, мелкие нужды. Город, он как сахар рафинированный. Вроде вкусно, да в большом количестве приторно. Все настоящее здесь происходит, у нас, на дикой земле. Вот электрифицируем тут всё, потом дальше отправимся, расширять цивилизацию будем. Нести, так сказать, свет отсталым народам.

— А скоро?

— Стройку закончим? — переспросил он. — Полгода или год. Уже сбежать торопишься?

— Да нет, что вы. Так, интересуюсь.

— Любознательный ты парень, это хорошо. А что делать умеешь? Токарный станок знаешь?

Я растерялся.

— В школе точили детали.

— Так то в школе, — засмеялся он, — там дело другое. Там, понимаешь, если ты брак сделал, тебя по головке погладят. Скажут: и так сойдёт. Просто оценку снизят. А тут по-другому, тут брак не сойдёт, не пройдёт! — Голос его окреп. — Мы с браком знаешь как боремся!

— А разве бывает?

— Бывает, ничего не попишешь. Так ведь работать надо, выкладываться на полную.

— А я буду выкладываться, я буду работать. Лишь бы мне только что-нибудь дали.

— Вот прямо сейчас и дадим, — усмехнулся инженер, — но больно ты прыткий. На словах одно обычно получается, на практике совсем иначе.

По узкой дорожке мы вышли в просторную степь, где стоял огромный ангар и высились разные непонятные металлические сооружения, которые немедленно привели меня в восторг.

В самом цеху оказалось ещё интереснее. Раздавался гром, гам, треск, но меня всё это не пугало, а казалось величайшей музыкой.

Подойдя к станку, я любовно погладил его металлический бок. Он сразу мне сделался как родной.

— Тут буду работать, да?

— Неплохой станочек?

— Ещё бы! Постойте, — внезапно нахмурился я, — как же все это функционирует, если электричества пока нет.

— А ты башковитый парень, — улыбнулся инженер. — У завода свой собственный генератор. Скоро и в общежитие поставим, а то ты, чай, с непривычки лоб в темноте расшиб.

Мы обговорили ещё пару незначительных деталей (распорядок, столовая и тому подобное), и он удалился, оставив меня пристреливаться к станку.

Я с нетерпением принялся за работу. Несложная деталь получалась быстро. Резец работал, мотор шумел, железная стружка стекала в ведро. Работа шла на удивление споро. Легче, чем на школьных уроках труда. Все потому, что над душой никто не стоял. Я был сам себе хозяин.

Я перестал поглядывать на часы. Даже не заметил, как прошел час, потом другой, и, только когда двое крепких парней в синих комбинезонах позвали меня в столовую, остановился и стёр со лба пот.

Удовольствие, которые я испытывал по пути в заводскую столовую, было бесконечным. А все потому, что не впустую время потратил, а пользу принёс стране.

Я и раньше догадывался, что такое может быть, но только сейчас глубоко и мощно прочувствовал.

Прежде я много времени уделял себе — книжки почитывал, на диване валялся. Но теперь понял: мелкий эгоизм ни к чему не может привести хорошему. Общее дело — совсем другое.

Продолжая размышлять на эту тему, я ел вкусный борщ. Вот она, сила коллектива. Написано про неё много, но пока сам не ощутишь, все эти слова — ерунда.

Столовая была небольшая, но уютная. На стене висела репродукция картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу».

Не знаю почему, однако очень люблю простую, незатейливую живопись Шишкина. Иной художник так нарисует, что ничего не понятно — где верх, где низ... Мазня настоящая. А тут всё совершенно ясно. Вот лес, вот лучики солнца, вот дерево, сломанное бурей, вот весёлые медвежата играют. Есть в этом что-то трогательное, русское, родное.

И вдруг прямо под картиной я увидел такое, что моментально остолбенел. За столиком с тремя девчатами сидела Машка Сорокина. Толстая русая коса лежала у неё на плече.

Сперва я, конечно, глазам не поверил. Нечего ей здесь делать, на краю земли.

Но вообще-то Машку я знал плохо. Неизвестно, что у неё на уме. А когда же она приехала? Тоже вчера? Или раньше?

Сорокина меня не замечала. Весело переговаривалась с подружками.

Со всеми успела перезнакомиться, с завистью подумал я. А вот мне сходить с людьми не всегда легко бывает.

Я как будто глядел на неё в первый раз. Моя бывшая одноклассница превратилась в красивую девушку. Отчего-то смутившись, перевёл взгляд в тарелку и постарался быстрее дохлебать.

— Бурмин? — раздался рядом ее мелодичный голос. — Здравствуй!

Я пробормотал что-то невнятное и кивнул, так и не решаясь поднять голову, встретиться с ней глазами.

— И что же ты тут делаешь? — она села рядом.

Волей-неволей пришлось вступить в беседу. Узнав мотивы, побудившие ее совершить поездку, я испытал к Машке огромное уважение. Надо же, какая романтическая натура! Сумела все бросить и приехать сюда, чтобы помочь партии сделать страну лучше. Столько уверенности было в ее словах, что я сам загорелся и сказал:

— Жизнь дается лишь раз. Ты совершенно правильно утверждаешь, что прожить её нужно достойно. Самый достойный способ прожить жизнь — принести пользу людям. А где мы можем принести пользу, как не здесь?!

— Зачем же ты повторяешь мои слова? — спросила она с улыбкой и встала. — Ладно, пора. Увидимся как-нибудь.

Действительно, что со мной такое?! Почему я почти дословно повторил ее речь. Вот дурак, олопо.

Всячески себя кляня, я побрел в цех. Но теперь уже не мог работать так продуктивно, как утром. На ум лезли навязчивые мысли о Машке.

Гордая какая! И как изменилась.

Отправился на почту. Письмо написал брату. Попросил не винить, не ругать. Так и так, мол, тружусь во благо Родины.

Выходя из серого, приземистого, пахнущего свежей краской здания, встретил Сорокину. Увидев меня, она стушеввалась, неловко поздоровалась, глаза в пол опустила и на почту побежала, извинившись, что дела срочные.

С тех пор и потекла моя новая жизнь. Порой равномерная, размеренная, а подчас и чреватая неожиданностями.

Андрей Михайлович оказался человеком дельным, толковым, энергичным. Часто давал полезные советы и помогал в затруднительных ситуациях. Работалось легко, с огоньком. Скоро я почувствовал близость к станку. Сроднился с ним, что ли. Как родной он стал.

Иногда даже вечером лежу в постели и с улыбкой представляю завтрашний день. Как войду в гремящий ангар, оботру тряпочкой станок и начну кропотливо и неустанно точить детали. И всё мне думалось, как сделать побольше за один раз, чтобы не просто выполнить план, а ещё его и перевыполнить. И дважды перевыполнить, и трижды перевыполнить.

Силы мои были всё-таки ограничены возможностями человеческого организма. Ни в два и тем более ни в три раза не мог я перевыполнить план. Мак-

симум в полтора. Но не зря же у нас голова на плечах есть. Вот пришлось её включить и поразмышлять.

И пришел я к такой идее: а что, если форму резца немного изменить? Там подкрутить, тут ослабить.

Наскоро набросав чертеж, побежал к Андрею Михалычу.

Любые идеи он обычно встречал приветливо. А тут помрачнел.

— Дело, — говорит, — ты придумал хорошее. Но трудновыполнимое.

— Да почему же трудновыполнимое, Андрей Михалыч? Сами поглядите. Тут подкрутить, там ослабить. И все!

— Нет, не все, — жестко сказал инженер. — Вот, понимаешь, согласовывать придётся с Матвеем Тихоновичем. А он человек такой, что всякие новшества на дух не переносит. Поперёк горла они ему.

— Да почему же, Андрей Михайлович? Ведь от них столько пользы может быть!

— Я-то понимаю. Не ты первый нашелся такой рационализатор. Много вас было.

— Да если это пользу приносит... — начал я опять.

А он только отмахнулся и сказал:

— К директору с этим идти не советую, может быть только хуже.

— А вот и пойду, — заупрямился я, — обязательно пойду.

И в обеденный перерыв я решительной походкой направился к начальству.

Секретарша долго не хотела пускать, все уговаривала, дескать, не стоит отвлекать директора по пустякам.

— А у меня не пустяки вовсе! — потрясал я чертежом.

— Для вас не пустяки, а для него пустяки, — увещевала она.

И всё-таки, услышав шум, Матвей Тихонович громко произнёс из-за закрытой двери:

— Кто там, Ниночка?

Я бесстрашно вошёл в кабинет.

— А, это ты, — заметив меня, он хмуро кивнул, — Бармин?

— Бурмин, — поправил я.

— Ну и что тебя принесло ко мне?

Хозяин кабинета сидел, вальяжно раскинувшись в кресле. Перед ним на массивном столе — стопка бумаг. Он изучал меня исподлобья маленькими глазами.

— Вот это.

Я потряс чертежом и начал быстро, захлёбываясь словами, описывать преимущества новой модели резца. Он слушал внимательно, сложив на груди руки. Когда я закончил, хмыкнул и спросил:

— Ещё что-нибудь?

— Нет, — ответил я.

— Свободен.

— Матвей Тихонович, мне бы хотелось узнать ваше мнение.

— Моё мнение, — он вздохнул, — это всё чушь. Вам, молодым, нужно поменьше романов читать на производственную тему. И побольше работать.

— Как же чушь?!

— А вот так. То, что для вас внезапное озарение и некая гипотетическая польза, — для меня реальная головная боль. Вы не представляете, сколько нужно инстанций пройти, чтобы это принять, сколько бумаг подписать. А проверки? Набегут из министерства, и начнется: то неправильно, это неправильно. А мне оно нужно? Нет.

— Да у вас же все правильно — сказал я.

— Может, правильно. А может, и нет. У них, у этих людей, мозги по-своему устроены. Уйди, пожалуйста, Бурмин, и без тебя есть чем заняться.

Опечаленный, вышел я из кабинета. Однако решил не сдаваться. Как-нибудь улучшить минутку, сделать новый резец и попробовать самостоятельно поставить. Никто не заметит, убеждал я себя, раз — и всё.

Опыт получился удачным. Новый резец в два раза быстрее обрабатывал деталь. Так что в тот день я смог выполнить три с половиной нормы. Чрезвычайно довольный собой я вернулся в общежитие и предался мечтам о том, как завтра буду продолжать начатое.

Однако утром не обнаружил резца на прежнем месте. Там стоял старый, медленный. Отправился разбираться к Михалычу.

А тут сразу замахал на меня.

— Иди, — говорит, — потом с тобой разберёмся, новатор.

По тому, как презрительно он произнёс это слово «новатор», мне стало понятно, что моё самовольство не пришлось по нраву инженеру.

Со злостью завёл деталь и давай греметь, обтачивать. Ни с кем не хотел разговаривать, никого не хотел видеть. Я ощутил себя ужасно одиноким. Никто меня не понимает, никто. Что я, вор, что ли, убийца? Хотел как лучше, а им, оказывается, нужно как хуже.

Все равно добьюсь своего. Настою на своем. В город поеду, к руководству. Никто меня не остановит. Если можно поднять производительность, значит, её необходимо поднять!

И тут инженер подошел.

— Ты уж прости, сынок, но выговор тебе дать придется. Матвей Тихонович приходил. Кто-то ему сболтнул, что ты себе лишнее позволяешь. Кричал, меня стыдил. Не работаю, понимаешь, с тобой. А как с тобой работать? Ты уже вон какой самостоятельный.

— Да что дурного в новом резце?! — вскричал я.

— У директора свои принципы, я же говорил. С ними нужно считаться.

— А что, если эти принципы, — не помня себя, забормотал я, — антипартийные и антинародные!

— Чего ты мелешь, — рассердился инженер, — Матвей Тихонович — золотой человек, в заводе души не чаёт. Ты пойми, он тут главный. Как будто отец всем нам. И его решения выполнять нужно. Я-то тебя понимаю, ещё как понимаю. Но ведь я и его понимаю. У него свои принципы.

— Боится нового. Консерватор он и бюрократ, — в сердцах произнёс я.

— Прекрати, — зашептал инженер, — не боится, а знает, что новое вот так, с бухты-барахты, нельзя ввести в производство. Ты мальчишка, у тебя в мозгах ветер шумит. Он человек опытный, знает, где нужно ускориться, а где поровнее идти.

Потом, обдумывая его слова, я решил, что, наверно, инженер всё-таки прав. Ведь есть такая поговорка: в чужой монастырь со своим уставом не ходи.

А я пришел.

Ну и черт с вами! Плюнуть и забыть, работать как прежде. Даже резец хотел выбросить и чертежи порвать, да рука не поднялась.

Недельку проработал в обычном режиме и понял: не могу больше. Зудит и свербит рационализаторская идея. Дай, думаю, съезжу в управление. Собрался и поехал.

Долго ждал, когда примут, а уж как вошёл в строгий кабинет с портретом Сталина и бюстом Ленина, так ноги и подкосились. Дрожащими губами пролепетал:

— Имею определённое предложение.

И — чертеж на стол.

Начальник долго его рассматривал, а потом говорит:

— Ответ получишь в установленные сроки.

Через два дня сменили все резцы на всех токарно-винторезных станках на новые, по моим чертежам сработанные.

Был я счастлив. И сверкал, и горел, и сиял. Раньше неприметным был новичком, а теперь имя моё прогремело. Премию получил, квалификацию повысили. Матвей Тихонович личную благодарность от всей стройки выдал.

Хотя, я это совершенно точно знал, возненавидел он меня. И раньше-то недолюбливал, а теперь и вовсе. Премию дарит, улыбается, ладонь жмёт, а в презрительном взгляде чувствуется: ишь выскочка.

И Андрей Михалыч сочувственно произнёс:

— Не позавидуешь тебе, братец.

Действительно, работу с тех пор стали давать сложную, а спрос с меня сделался как с высококлассного специалиста. Кем я, конечно, не являлся. Вот и посыпался брак.

Матвей Тихонович в восторг пришел, когда увидел, сколько я деталей испортил.

— Ага, — говорит, — так и знал. Гонору много, а работать по-нормальному не умеем. Что теперь прикажешь с тобой делать? Уволить?

Я, насупившись, молчал.

— А, Бурмин? Ты не справляешься с обязанностями. Может, тебя уволить? Или перевести в дворники?

Меня распирало от негодования, но я молчал.

— Все оттого, — говорил директор, — что мыслей лишних у тебя много. Задумываешься. Предложения какие-то, чертежи... Зачем тебе это? Вот норма — вот и выполняй свою норму. Тогда у тебя все начнёт получаться. Тут ведь нужно посмотреть дальноручку, а ты близоруко смотришь. Только один свой кусочек видишь. Умный человек всю картину видит и на основании увиденного делает нужные выводы. Ладно, Бурмин, — директор казался очень довольным своей речью и моим раздавленным видом, — на первый раз прощаю. Работай и впредь не высовывайся. А если в управление опять поедешь на меня жаловаться, знай, тебе же хуже будет. Бракоделов там не любят.

Злой, взбешенный, я вылетел из кабинета. Да уж, попался мне начальничек.

Так с тех пор и не съездил в управление. Всё откладывал и откладывал. Ну что я скажу? Фактов у меня нет.

Вернулся к работе. Только более бдительным стал и всё следил, не допускает ли Матвей Тихонович проколов по-крупному. Но ничего подозрительного не замечал и так мало-помалу вошёл в привычную колею.

Мысли о рационализаторстве забросил. Но не на дальнюю полку, а на среднюю, так сказать. Иногда они, мыслишки эти, возникали. И весьма примечательные. Записывал, зарисовывал кое-что. И все надеялся, что когда-нибудь удастся хотя бы часть из них реализовать.

Сначала я один жил в общежитской комнате. А потом подселили мне товарища, Валентина. Это был бледненький хрупкий юноша с вытянутым недovolьным лицом. Примерно моих лет, может, на год-другой постарше. На губах его всегда змеилась хищная усмешка, а глаза никогда не смотрели прямо на собеседника. Либо в пол глядят, либо стену буравят. А то и прямо сквозь собеседника смотрят, как будто перед ним не человек, а призрак.

Одевался по самой последней зарубежной моде, как наши стилияги. На шею надушенный платок носил, что меня уж совсем выбивало из колеи. Я поражался тому, что он здесь делает, как сюда попал, как очутился на стройке.

Контрастировал он с местными, ещё как контрастировал. Работать не любил и не умел. Зато был хитрым, изворотливым и умело переключал свои обязанности на других. Все больше покуривал да прохлаждался.

Излюбленным его занятием было ухаживание за девицами. То за одной ударит, то за другой. А те, дурехи, и отвечали ему взаимностью. Нравился им его внешний лоск. Имелось в нём что-то от Эдика Мишина. Конечно, образования и начитанности ему не хватало (по-моему, он книг вообще не читал и не признавал их), но наглости, напыщенности и щегольства было не занимать.

И я, твёрдо убеждённый, что в таком возрасте, как наш, с девушками ещё рано заводить отношения, потому что это очень ответственный шаг (и тем более нужно найти не просто девушку, а единственную, ту, с которой захочешь навсегда связать судьбу), часто спорил с ним на эту тему.

Если он приводил поклонниц в комнату, я немедленно шёл гулять. Говорить с ним мне было неинтересно. Споры у нас получались вялые и скучные. Он упрямо стоял на своем, посмеивался и на все мои доводы говорил одну фразу:

— Не любят тебя девки, вот и бесишься.

— О работе думать надо, о Родине! — вскрикивал я.

А он, сделав кислое лицо, бросал:

— Не любят тебя девки, Володя.

Однажды я не выдержал и огрызнулся:

— Твое понятие любви слишком примитивно.

— А твое в корне неверно, — парировал он.

Я бы тут же, не задумываясь, врезал ему, если бы в комнате не было одной из его подружек, толстой румяной бухгалтерши. Она, услышав наш разговор, откинулась на кушетку и залилась смехом. То ли надо мной смеялась, то ли ей было беспричинно весело.

Работал Валентин в соседнем цехе сварщиком, и работал спустя рукава. Постоянно получал замечания и выговоры, дерзил всем, кому мог, а со старшими, наоборот, любезничал, лебезил перед ними.

Андрей Михайлович дал ему меткую характеристику: «лентяй», несмотря на то что тот пытался выслуживаться перед начальником.

— Я тебя, брат, насквозь вижу, — говаривал Михалыч, — либо ты прямо сейчас за работу берёшься, либо я поставлю вопрос ребром на ближайшем собрании.

А Валентину что в лоб, что по лбу. Он таким приятным человеком, душкой, выставил себя перед Матвеем Тихоновичем, что директор выгораживал подлеца, покровительствовал ему.

Я предпочёл бы не общаться с Валентином совсем, но бывать в его компании приходилось часто. Он ведь жил со мной и каждый вечер затягивал одну и ту же вольнку: как ему опостылел завод.

— Хочется убраться отсюда! В цивилизацию, к людям. Как оскотинился и поглупел я в этом ужасном месте.

— Да уж, оскотинился ты изрядно, — многозначительно замечал я, — но что же тебе уехать мешает?

Отмалчивался, не отвечал. Но однажды, будучи сильно подшофе, проговорился: попался в городе на карманной краже. Добрый судья, приняв во внимание возраст и отсутствие судимости, предложил такой расклад — два года на Алтае или год в колонии. Выбирать, как говорится, не пришлось.

— Так ты ещё и карманник? Тьфу.

Я и раньше-то его не уважал, а после этого разговора презирать и ненавидеть начал.

Особо близких отношений я ни с кем не завёл, но в приятельстве состоял со многими. Нравился мне Олег Орлов. Тихий невысокого роста тридцатилетний мужчина. Немногословный и вечно задумчивый.

— О чем ты думаешь, Орлов? — спрашивал я.

А он отвечал:

— О том, как жизнь сделать лучше.

— Хорошие у тебя думки, правильные!

Больше всего он ценил чистоту. Со своего станка даже пылинки сдувал и тряпочкой его ежедневно протирал.

Другим товарищем был некто Еремеев. Имени его я не помню, потому что все звали этого двадцатилетнего парня по фамилии. Еремеев, иди сюда. Еремеев, дай ключ. До того он был неприметным.

Мне нравились его простота, наивность и доверчивость.

Мы втроем часто вместе возвращались после смены и расходились по разным концам общежития. Еремееву нужно было в один корпус, а мне с Орловым в другой.

Мечты и мысли у них были простые, близкие моим. Еремеев собирался сдавать на права и по окончании возведения ГЭС рвануть ещё куда-нибудь на ве-

ликое строительство в качестве водителя экскаватора. Он обожал эти шумные неповоротливые машины.

Орлов говорил:

— А я домой вернусь, к жене, к сыну. Ждут меня родные не дождутся. Часто всточки пишу.

Лично я не задумался над тем, что делать дальше. Стройка казалась бесконечной. Время словно застыло.

Вот наступит будущее, жизнь и прояснится. Может, в институт, а может, по примеру Еремеева, на следующую стройку. В принципе, меня все устраивает. Профессия интересная, душевная. А негодяи типа Валентина, которые мешают и настроение портят, сами отсеются.

О друзьях я сказал достаточно, что касается остальных — это был народ со всех концов страны. Грубоватый, деликатный, весёлый, угрюмый — иначе говоря, разный.

Жизнь катилась плавно, по единожды заведённому распорядку. Работа, работа, работа. Она и утомляла, и давала новые силы.

Среди скудных развлечений могу выделить вылазки с друзьями в лес, ежемесячные вечера народной самодеятельности и бесконечные собрания. На них то пропесочивали, то объявляли выговор или торжественно зачитывали директивы руководства. Цикличность, планирование... На скуку жаловаться не приходилось.

Единственное, что меня смущало в то время (я только сейчас отдаю себе в этом полный отчёт), — отсутствие женского внимания.

Орлов часто показывал фотографию жены, вздыхал: вот она какая у меня, моя Настенька. Тихоня Еремеев сошелся с буфетчицей Аней, весёлой, пухлой хохотушкой лет двадцати восьми. И ведь неизвестно, что свело их вместе. Видимо, правду говорят: противоположности притягиваются.

А я? Чем дольше я думал о заводских девчонках, тем больше понимал — если бы мне и захотелось с кем-то из них завести отношения, то только с Машкой Сорокиной. Несмотря на то что мы бывшие одноклассники, общаться нам часто не довелось. Она свободное время проводила с подружками.

А работать Машу направили монтировщицей. Деятельность её носила выездной характер.

Много времени она проводила возле реки, где двигались огромные лопасти, загребая воду, и в полях, где уже вздымались электрические столбы.

Мы пересекались в столовой, на лестничных пролётах, на собраниях и концертах. Нам как-то нечего особо было друг другу сказать. Она тепло улыбалась мне как старому знакомому и моргала длинными ресницами.

Мы перебрасывались короткими фразами. «Привет, как боевая жизнь?» — «До скорого».

А меня она почему-то интересовала все больше и больше. В школе её едва замечал. Дела тогда меня интересовали более важные. Стенгазета, учёба, марксизм-ленинизм, спорт. Здесь, на краю света, её образ все больше стал прокрадываться в мои мысли. Иногда я безотчетно думал: как бы мы с Машкой смотрелись вот в этой аллейке... Или: любопытно, какое у неё сейчас настроение? Что она чувствует?

И тут же гнал эти образы от себя. Какой же я, к черту, комсомолец, если голова у меня пустяками забита?! Не расклеивайся, мысли глобально, высоко, не разменивайся на пустяки. Иногда получалось, иногда нет.

В какой-то момент я даже спросил себя: уж не втюрился ли я, как последний осел, в эту девицу?

Надо, в конце концов, такой вопрос решить. Срочно и безотлагательно! Вот прямо сегодня зайду в девичью комнату и поговорю с ней о чем-нибудь, о чем угодно. А сам тем временем понять попробую, действительно ли в ней что-то такое есть, или просто блажь у меня.

Спустился к девочкам, постучал. Открыла Машка собственной персоной и недовольно спрашивает:

— Ну чего тебе?

Я потоптался у порога, отвечаю:

— Поговорить нужно,пусти.

Она и впустила. Красиво у них в комнатке, чистенько, прибрано. Не то что у нас, у мужиков. На окнах шторы в цветочек, на стене ковёр самотканый.

Сел я на край дивана и неловко себя почувствовал, как у директора в кабинете или у доктора.

Она улыбается. Говорит:

— Ты обожди немного, чай принесу.

И приносит через пять минут горячий чай.

— Ну, — спрашивает, — какое у тебя дело?

Я и забыл, о чем хотел порассуждать с ней. Увидел Машку, и все из головы вылетело. От безысходности спросил:

— А соседки где?

— В поле, — ответила, — в поле, скоро будут.

— А ты что, влюбился? — задала она прямой вопрос и посмотрела испытующе. — В кого? В Таньку? В Лидку?

— Ты это брось, — пробормотал я, не поднимая глаз, — вот ещё, какие глупости.

— А зачем же пришел?

Нашлась спасительная идея.

— Я, понимаешь (неосознанно перенял это словечко у инженера), по старым временам ностальгирую. Решил составить классный журнал с портретами одноклассников. Не дашь ли, Сорокина, свою фотографию?

— Фотографию? — она задумалась, закусила губу. — Можно. Идея неплохая. Только что-то рано ты ностальгировать начал, Бурмин. Обычно это годам к сорока начинается. А ты ведь ещё вовсе не старик.

— Телом не старик, а душой уже состарился на производстве, — угрюмо состроил я.

Она уютно опустилась на колени перед комодом, тяжело отодвинула нижний ящик, принялась искать. Я смотрел на покатую спину, тонкую шею, на длинную русую косу и не мог наглядеться. Раньше я часто слышал слово «любовь» в глупых фильмах до шестнадцати, читал о ней в длинных романах с продолжениями. Тогда оно казалась нелепым сотрясением воздуха, набором букв на типографской бумаге, пошлостью.

А теперь я вдруг, в одно мгновение, глубоко осознал, что, может быть, ради одной-то любви и стоит жить на свете.

Я попрощался и на ватных ногах вышел в коридор.

Спрятал фотографию между страницами «Капитала», моей настольной книги, которую я читал уже несколько лет и всё никак не мог дочитать, настолько она была трудной, хотя многие мудрые максимы выписывал оттуда.

Бережно спрятал и не показывал никому из ребят. Доставал редко, ночью. При свете свечи рассматривал Машкины черты и поражался тому, что раньше не замечал столь элементарный факт: она удивительно, до безумия, до умопомрачения красива.

Что теперь делать, как жить, совершенно не знал. Мы с ней и так раньше в отношениях были довольно прохладных. А теперь я и вовсе её побаиваться начал. Старался лишний раз не глядеть в ее сторону в столовой и в зале совещаний.

И всё во мне билась странная, смутная и смешная мысль: признаться. Авось поймёт и не оттолкнёт. Я действовал, как буйнопомешанный. Подготавливал план. Вот, например, она выходит из столовой одна. Я пристраиваюсь сзади и начинаю спонтанный разговор. Она смеется моим шуткам. И тут я как бы по-

ходя замечаю: «Я тебя люблю, Машка». Или иначе: «Я ведь влюбился». — «В кого?» — спросит она. «В тебя».

Я настраивал себя воображаемыми разговорами, а когда доходило до того, чтобы претворить их в реальность, все забывал: и что хотел сказать, и для чего вообще надумал признаться.

Когда видел её, впадал в какой-то странный ступор, заторможенное состояние. Мог только глуповато улыбаться и вяло отвечать на вопросы собеседников.

Но ведь нельзя, невозможно, немыслимо было, чтобы так продолжалось вечно.

Я и план перестал перевыполнять, и похудел. Даже вахтёр допытывался: уж не заболел ли я часом.

Через две недели я всё-таки собрал волю в кулак и принял твёрдое решение подойти и объясниться. Я почему-то думал, что вполне могу ей нравиться. Чай, не урод, и в плечах широк, и лицом чист. Она одна-одинешенька. Тяжко ведь без мужской поддержки.

Быть или не быть, пан или пропал — вот такая у меня была философия.

Одно беспокоило: а не струхну ли в нужный момент? Найду ли силы проинести заветные слова?

Наступил час икс. Перед этим я полночи не спал, боролся с собой, поэтому в столовой сидел с красными, воспалёнными глазами. Сидел как на иголках.

Вот она встала и быстрым шагом направилась к выходу. Я за ней шел, немного отставая. Понимал, если сейчас заговорю, отступить будет некуда.

Машка шла без подруг, торопилась. Не оборачивалась, не смотрела по сторонам. В узком коридоре она заспешила ещё сильнее. Я не выдержал и тоже ускорил шаги.

Коридор кончился, и прямо из проходной к ней шагнул какой-то человек. Я услышал развязное:

— А вот и моя лапусечка!

Незнакомец обнял её. Подходя ближе, я увидел, что это был не кто иной, как Валентин. И вне себя от ярости, содрогаясь от какой-то страшной внутренней муки, пробежал мимо, с огромной скоростью вылетел из двери и продолжал бездумно нестись вперёд.

Так плохо мне не было, наверно, ещё никогда в жизни. Я чувствовал себя обманутым. И обман оттого был страшным, что совершила его та, о который все мои помыслы. «Лапусечка!» А я-то, я-то чего себе навывдумывал!

Как там у поэта: «гений чистой красоты». Оказалось — обычная Валентинова девка, подруга на пару дней или даже на одну ночь.

Я продолжал бежать. Пробежал несколько километров, остановился в голом поле. Сегодня же домой уеду, мелькнула идея. Но когда я вернулся в общежитие и трезво все обмозговал, стал укорять себя за малодушие. Я ведь тут, в конце концов, не ради русской косы, а ради чего? Родины ради, ради счастья отсталых народов Алтая! Дадим свет в прямом и в переносном смысле. Вот задача, достойная коммуниста. А за юбками пускай Валентин волочитя.

Впрочем, жить с ним в одной комнате я более не хотел и пришел к коменданту с ультимативным требованием расселить нас. Он-де хулиган и негодяй. Тот заметил, что я нахожусь на грани истерики, как мог, успокоил меня и пообещал сегодня же расселить нас.

Сказавшись больным, я несколько дней пролежал в постели. Усилием воли я хотел заставить себя перестать мечтать о Сорокиной, но не смог. И чтобы сократить мысли о ней, целиком погрузился в работу.

2

Больше всего я боялась, что мама, узнав, куда я пропала, первым же поездом примчится на Алтай, отругает меня и заберёт обратно. Поэтому в письме постаралась как можно лучше и красочнее описать мою новую жизнь.

Дорогая мама, ты даже не представляешь, как мне здесь хорошо, какие тут все добрые, милые. А зарплата просто огромная. Несмотря на то что стоит поздняя осень, в Чемале тепло. А ещё тут потрясающе красиво. Скоро пришлю тебе парочку фотографий. Золотые аллеи, бескрайние степи, крутые горы с нахлобученными шапками искристого снега.

И действительно, через неделю правдами и неправдами раздобыла фотоаппарат и отослала домой отснятую катушку. Мама, впрочем, отнеслась к моему бегству гораздо спокойнее, чем я предполагала. Пожурила и простила.

Прощаю, ничего не поделаешь. В твоём возрасте я была такой же бесшабашной и глупой. Раз уж так решила, трудись во благо Родины. Но и про нас не забывай, пиши. Я тебе уже посылочку собираю. А через пару месяцев в гости приеду.

Меня даже несколько обидело такое лёгкое согласие мамы. А потом я снова перечитала её строки и поняла: да она же видит меня насквозь. Она сама была такой же и знает что-то про жизнь, чего я ещё не знаю. О чем лишь догадываюсь. Значит, тем более жизнь на новом месте пойдёт мне на пользу.

Я должна стать опытной, иначе грош мне цена.

Но когда я только сошла с поезда, в голове у меня был сплошной сумбур. Я восторгалась всем, что вижу вокруг, и готова была сейчас же взяться за любую работу.

Я так спешила, что чуть не заблудилась в глуши. Зашла в какое-то странное место, где стояли маленькие домики, сделанные из досок и веток. Попетляв, поблудив, я вышла к серому приземистому зданию строительного корпуса.

Начала улаживать дела с документами и прочие мелкие формальности. Это удалось сделать довольно быстро. Директор Матвей Тихонович, едва увидел меня, коротко сказал:

— Обождите.

И вышел.

Я сидела, подогнув под стул ноги, и разглядывала портрет вождя на стене. Чувствовала себя неловко и скованно.

Вернувшись, директор попросил паспорт и, бегло пролистав мой документ, произнёс:

— Скажи-ка, Сорокина, ты электричества не боишься?

— А чего его бояться? Оно же не кусается.

— Ещё как кусается, — вздохнул он. — Ну ладно. Вверяю тебя в руки Петра Семёновича, инженера по электрической части. Инструктаж у него пройдёшь, а потом экзамен сдашь по технике безопасности.

— Экзамен? — удивилась я. — И тут экзамен сдавать?

— Конечно. И тут экзамены. Они везде. Вся наша жизнь — огромный экзамен.

В кабинет заглянул мужчина лет сорока, пухлый, румяный, наголо стриженный. Это и был Пётр Семёнович.

Я отправилась с ним. Он оказался обходительным и добрым. Забежал к комendantу, выдал ключи от общежитской комнаты и белье постельное.

— На инструктаж завтра приходи с утра пораньше. Все тебе покажу, везде проведу.

— А кем меня работать назначили? — робко спросила я.

— Разве он тебе не сказал? — нахмурился Пётр Семёнович. — Монтировщицей. Работа не сложная, разберёшься.

Все следующее утро я провела в большом ангаре, где стояли разные механизмы и приборы.

Инженер рассказывал долго и обстоятельно. Туда не приближаться, к этому не прикасаться, это безопасно в такие-то часы.

В голове образовалась каша. Я думала, будет легко, а вышло вон как.

Перед обедом Пётр Семёнович провел мне экзамен и, видимо, остался недоволен ответами, потому что морщился и хмурился.

Он сердито выдал:

— Тут все написано. К завтрашнему дню чтобы от зубов отскакивало. И протянул тоненькую брошюрку.
Пропала у меня изрядная доля былой уверенности. И впервые я подумала — ну зачем в это ввязалась? А вдруг сделаю что-то неправильно, вдруг испорчу что-нибудь.

Пётр Семёнович увидел мой потускневшей взор и приободрил глупую студентку:

— Ты, девчуля, не унывай. И не такие сдавали.

По дороге в столовую, в коридоре, я познакомилась с тремя весёлыми девушками из моего цеха. Они и прежде поглядывали на меня, но подходить не решались. Побаивались, наверно, строгого Петра Семеновича.

В коридоре налетели, окружили и давай спрашивать:

— Как зовут? Кто ты? Откуда? Ничего не бойся. Все покажем, всему научим. Петра Семеновича не пугайся. Он добрый, хоть и строгим притворяется.

Я как будто вернулась в школу, в десятый «А». У нас такие же были трещотки-балаболки.

— Ой, девочки, — сказала я, — прежде всего нужно пообедать. Я так проголодалась. А поговорить обо всём мы ещё успеем.

Но болтушек невозможно уговорить. Они продолжали задавать вопросы даже за столом. И хохотали.

В столовой было полно народу. В основном смуглые, крепкие люди. Очень важные и загадочные. Я с интересом смотрела в лица и неожиданно среди незнакомых и скуластых увидела весьма знакомую физиономию. Да это же Володя Бурмин, если глаза не обманывают. А они точно не обманывают, зрение у меня как у орлицы. Вместе с Володькой закончили десятый класс. Сейчас он должен поступать в институт. Почему оказался здесь — совершенно непонятно.

Он неторопливо жевал и никого не замечал вокруг. Я хотела, чтобы земляк взглянул прямо на меня. Тогда бы я помахала, и мы бы непринужденно разговорились. Но парень был сильно увлечён пищей и своими мыслями.

Я извинилась перед девочками: нужно отойти на минутку.

Нельзя же делать вид, что не замечаю его. Подошла. Мы разговорились. Он обрадовался и удивился.

Мне понравилось, что мотивы, побудившие Володьку приехать на край света, почти совпадают с моими. Но вслух, конечно, восторга не выразила, постеснялась. И ведь в душе знала, что если у кого из наших мальчиков и хватит сил отважиться на такое дело, то только у Бурмина. Ни Эдик, ни Лёнька... Нет, они не способны. В Бурмине всегда что-то такое было. Готовность к подвигу, что ли. Звучит пафосно, но не знаю, как ещё назвать.

Неужели он тоже в городе страдал от искусственности жизни на всём готовеньком и от друзей по расчёту?

Надо бы с ним хорошо поговорить, мечтала я. И делалось странно от того, что раньше я Бурмина совершенно не замечала. Мы существовали в разных плоскостях, а получается, у нас много схожего.

Жизнь началась новая и совершенно замечательная. Мне нравилось всё: и уютное общежитие, и мрачные заводские цеха, и весёлый народ, и местные жители, соседи по комнате, неразговорчивый Пётр Семёнович и словоохотливый вахтер.

Все эти люди словно светились изнутри. Я думаю, оттого что у них была великая цель: принести пользу Родине. Горожане какие-то одномерные, что ли.

Я ещё много провела таких сравнений, и каждый раз сравнение было не в пользу города. Например, подружки. Разве были у меня там такие подружки, как

Танька с Лидкой? Бесшабашные, открытые и готовые на всё ради товарища. И не за что-нибудь, а просто так, по велению собственной светлой души.

Танька, Лидка и Гюльбаниз. Те самые девчата, которые окружали меня тогда в коридоре. В тот день мы вдоволь успели наговориться, а после смены шли вместе. Девушки решили — переедут в мою комнату. Места там на всех хватит, и мне не скучно будет.

Подруг описать несложно. Все как на подбор румяные хохотушки.

Гюльбаниз самая старшая. Обладала длинной непрогнозируемой фамилией. Тридцать два года. Огромные чёрные глаза, нос чуть с горбинкой, чёрная коса. Смуглая, низенькая, с легкой полнотой. Приехала с Кавказа. Несмотря на солидный довольно возраст, она в резвости и веселье могла фору дать молодым. Могла хоть мёртвого разговорить и самому отчаявшемуся поднять настроение.

Танька. Таня Кузнецова. Худенькая, бледненькая. Двадцать четыре года. Выше меня на полголовы. Честная, наивная, простая. Хорошо умеет слушать. Ей можно доверить все, что угодно. Приехала с Урала по зову долга. Там у неё остался маленький брат. По нему сильно скучала.

Девятнадцатилетняя Лидка Казанцева. Рыжая, остроглазая, лицо в пятнышках веснушек. Была заводилой, моторчиком нашей компании. Постоянно придумывала что-нибудь новенькое, озорное и легко убеждала остальных принять в этом участие. Родилась и выросла на Украине. Прodelала длинный и сложный путь до Алтайского края, чтобы принести счастье незнакомым отсталым народам.

По легенде, которую она со смешными ужимками рассказывала всем и каждому, родители, узнав о желании дочери, заперли девушку в комнате, чтобы она никуда не сбежала. Однако предприимчивая Лидка сделала из шторы и простыни верёвку и спустилась из окна второго этажа. Без документов и денег, с помощью добрых людей, добралась до Чемала.

Я общалась с ними всего несколько дней, но чувствовала, будто они знакомы мне тысячу лет.

Наша бригада занималась важнейшим делом на гидроэлектростанции. Мы монтировали оборудование, ставили блоки и катушки. Проводили кабели.

И Пётр Семёнович был прав, заставляя меня учить технику безопасности. Одна ошибка — и человека нет.

Я чрезвычайно гордилась тем, что мне досталось такое ответственное дело. И сразу полюбила свою работу, жила с ней. И поняла: вот оно, мое призвание. Многие люди всю жизнь его ищут, размениваются на пустяки, а найти не могут. А я быстро нашла.

Утром работала в цехе, вечером ездила на линии. Осознала, что трудовой коллектив — идеально слаженный механизм. Все его части плотно пригнаны друг к другу. Если какая-то шестерёнка прокручивается или ломается, страдает целое. Тогда мне казалось, что в нашем цехе нет сломанных шестерёнок. Вскоре стало ясно — ошибаюсь.

В то время я упивалась свободой, счастьем, неудержимой внутренней энергией. Я буквально бежала на смену. Предстояли свершения, открытия. Я старалась не отставать от других и даже работать лучше, чтобы как можно быстрее подарить людям праздник света.

Но был человек, который постоянно ставил палки в колеса и совсем не радовался моим достижениям. Хотя, если судить по статусу, он должен был первым поздравить меня.

Звали его Матвей Тихонович, директор производства.

Однажды, увидев, что я в очередной раз перевыполнила план, Савельев вызвал меня в кабинет. Велел садиться. Сам сморщился, будто съел что-то кислое.

— Ну что тебе, Сорокина, больше всех надо, что ли? Почему у тебя такой огромный процент выходит?

Я опешила.

— То есть как это — почему огромный процент? Матвей Тихонович, я же стараюсь ради общего дела.

— Ты ничего не понимаешь, девчонка! — он стукнул по столу кулаком. — Не все у нас ударники, твой ударный труд картину только портит.

— Как портит?!

— Да так! Вот ты, например, переработала, а другой не успевает под твой ритм подстроиться. Тратит сил больше, а делает меньше, чем обычно. И страдает вся цепочка. Мы торопимся, чтобы точно в срок сдать объект, а твои выкрутасы помешать могут. Поняла?

Я растеряно покачала головой. И действительно почти ничего не поняла. Перевыполнение плана может замедлить рост производства? О таком нам в школе не говорили.

— Значит, просто выполняй мои команды. Поймёшь потом, — сердито отозвался директор.

Я вышла разочарованная. Ничего не напишешь. Ослушаться нельзя. Но куда девать бурную энергию, клокочущую внутри?

Несмотря на то что я пыталась быть весёлой, девочки стали спрашивать, что у меня случилось. Я рассказала. Они принялись утешать.

— Лучше с ним не спорь. Он ведь старенький уже. Вот и не в себе немного.

— Неужели сумасшедший управляет производством? — возмутилась я.

— Все думают, он нормальный, — мрачно заявила Танька.

— Доказать мы ничего не сможем, — сказала Лида, — лучше помалкивать и спокойно делать свое дело.

Доводы подружек показались мне разумными. Я поумерила свой пыл и стала как все.

Завод сделался родным домом. Я полюбила железный ангар с огромным куполом, грохот машин, запах озона. И боялась, что когда-нибудь это все прекратится. Стройка плавно подойдёт к своему завершению, и мне придётся уехать в город. Все городское казалось чужим, не моим.

Я жила тихой, скромной жизнью. Выступала на совещаниях, докладывая об успехах нашей бригады, записалась в кружок народной самодеятельности, пела частушки на вечерах отдыха. Ежедневно читала. В местной библиотеке были стопки книг о Великой Отечественной войне. Как будто в тяжелый страшный сон, погружалась я в реалии того времени, поражаясь, как много героизма в простом человеке.

Пыталась и подружек приохотить к чтению. Да где там! Им было не до этого. Досуг они посвящали романтическим приключениям и флирту.

Я тогда думала, что выше их в моральном плане. Ведь я посвятила себя беззаветному служению Родине, и меня никогда не коснётся зараза по имени Любовь. Стыдно признаться, но, видимо, глубоко внутри я тоже ждала сильного чувства. Потому что, несмотря на общую удовлетворённость работой, природой и друзьями, иногда хотелось чего-то ещё. А чего именно, я не знала.

Заводские парни были слишком угловатыми, неуклюжими, смешными. И помыслить не могла себя рядом с ними.

Однако нашелся среди них негодяй, который принялся грязно и недвусмысленно предлагать отношения. Вспоминать о нём неприятно. Даже имя слащавое, мерзкое — Валентин. Я отказала хаму один раз, он пришел во второй. Отказала во второй и предупредила, что, если ещё раз сунется, таких пощёчин отвешу — мало не покажется. Он на время притих и перестал меня терроризировать.

И вот тогда я впервые подумала о Володе. Прежде — и в школе, и тут, на заводе, — он мои мысли не занимал совершенно. Жил отдельной жизнью. Был

активистом, комсомольцем, агитатором. Про него говорили: трудный. Воспитывался в интернате, в детстве считался отпетым хулиганом. Наверно, поэтому наши отношения были мимолетными. Прошлое Бурмина внушало мне страх.

Но здесь, на Алтае, поговорив с ним по душам несколько раз в столовой и в проходной, я поняла: слухи про его хулиганскую молодость сильно преувеличены. Не может такой искренний, честный человек, с такими твёрдыми убеждениями и сильными поступками быть хулиганом. Ведь хулиган это кто? Мятущаяся душа! Не нашел себя, не осознал своего места в обществе. Воли не хватает, вот и идёт за тем, кто громче других кричит. Идет, не различая добра и зла, чёрного и белого.

Как-то помимо моего желания он проник ко мне в голову и занял там существенное место. Я часто представляла его широкие плечи, массивный подбородок, чёрные волосы ёжиком. И делалось странно. Хотелось смеяться и плакать. Как-то даже становилось чудно: будто я прикасаюсь к некой сокровенной тайне, к которой ещё ни один человек не был допущен. А ведь я всего лишь воображала товарища по работе.

Но не я могла просто так признаться себе: да, Маша, ты влюбилась. Раньше я никогда не влюблялась и не знала, на что похоже это чувство.

Мечтала встретиться с ним и поговорить как следует с глазу на глаз, чтобы разобраться в этой неожиданно свалившейся на меня любви.

Но возможностей для такого разговора не появлялось. Володя допоздна работал. Брал дополнительные смены, возвращался уставшим, проходил по коридорам, не глядя на девчонок, в том числе на меня. И, видимо, сразу засыпал в комнате.

Поэтому я крайне удивилась, когда в один прекрасный день он появился на пороге моего жилища.

Сердце билось необычайно сильно. Прямо сейчас все расскажи, прямо сейчас признайся! — кричал внутренний голос.

Я настолько оробела, что даже не сумела взглянуть ему в глаза и от невероятной робости повела себя как полная идиотка. Нагло, развязно, иронично. Предложила сесть и принесла чаю. Забралась с ногами на кушетку и спросила: — Зачем же ты пожаловал?

Он покраснел и что-то невнятное пробурчал.

Я нервно рассмеялась и вдруг, сама не желая этого, выдохнула заветное:

— А может, ты влюбился? В Таньку? В Лидку?

Он смутился ещё сильнее.

«Или в меня?» — хотелось произнести бодро, весело и непринуждённо. Но не смогла.

Володя рассказал о цели своего посещения. Товарищу всего лишь была нужна моя фотокарточка для альбома. Я полезла в шкаф. Порылась немного, перебирая старые фото, которые захватила с собой. Везде некрасивая. Выбрала наугад мутный снимок.

Ну, Сорокина, вопил внутренний голос, брось ты эту карточку и признайся ему, пока Бурмин не ушел. Признайся, что ты медлишь! Но не могла и просто глотала слёзы. И чтобы он ничего не заметил, быстрее его выпроводила.

Как только Володя вышел, бросилась на кушетку и громко, не скрываясь, заплакала.

В тот момент я поняла, что не могу без него жить. Созрело твёрдое решение поговорить с Володей. Трудность заключалась в том, чтобы выбрать подходящий момент.

Я стала за ним наблюдать и определила, что чаще всего он в одиночестве возвращается из столовой. Осталось набраться решимости и подойти. Конечно, я ему не нужна, но, если я хотя бы не попытаюсь сделать этот шаг, провести этот разговор, буду укорять себя всю жизнь. Это не страшно, Сорокина. Он не кусается.

Я проводила дни в мучительных раздумьях и самоговорах. И вот решилась.

В столовой было как всегда многолюдно. Я специально буровила Бурмина глазами, делала ему знаки. А потом поднялась и вышла, долгим взглядом через плечо на него посмотрев. Он, кажется, понял, что я хочу поговорить. Поднялся и пошёл следом. Я двигалась в пустом длинном коридоре и слышала его гулкие шаги. Я остановилась и начала смущенно оборачиваться, как вдруг откуда-то возник Валентин. Грубо схватил меня за руки и притянул к себе.

— Лапусечка! — прозвучало мерзко и манерно.

И тут же мимо нас стрелой промчался Бурмин.

Я отпихнула наглеца и, хорошенько размахнувшись, вмазала ему по скуле ладошкой. Валентин охнул и пробормотал:

— Шуток не понимаешь?

Я уже бежала по коридору. Распахнула тяжелые входные двери и крикнула:

— Володя, Володя!

Но Бурмина нигде не было.

После такого позора и речи не могло быть о том, чтобы попытаться снова с ним объясниться. Даже представить страшно, что он обо мне подумал. Я долго переживала и много плакала. И чтобы отвлечься, ушла с головой в работу. Выполнение плана, грандиозные задачи, великие свершения — вот что отныне меня интересовало. Докучные мелочи я постаралась выбросить из мыслей.

Поначалу удавалось с трудом. Нет-нет, да и возникал в воображении образ Владимира. Но я боролась изо всех сил и в конце концов загнала в отдалённый уголок души тревожащее и непонятное чувство — любовь.

Пётр Семёнович меня хвалил и ставил в пример другим девочкам.

— Вот как нужно работать! Молодец, Сорокина. Всегда на дело настроена, по пустякам не разбрасывается.

Матвей Тихонович тоже был доволен. Велел вывесить мой портрет на доску почёта.

Но сперва вызвал меня. Отчески потрепал по щеке и сказал:

— Вот таких и ценю. Всё поняла. Стала работать, как надо. И результаты соответствующие.

Девчонки расхваливали.

— Настоящая ты у нас стахановка! Трудисься не покладая рук. А мы так не можем. Хотя и пытаемся на тебя равняться. Все нас что-то отвлекает. Мелочи всякие, ерунда.

Но мне почему-то было не радостно и не весело. Я пожимала плечами и отмахивалась. К чему такие успехи, если в главном успеха нет.

Стоп! — тут же останавливала себя. Что-то совсем запуталась ты, Сорокина. Ведь главное и есть в служении Родине, а ты его смешиваешь с мелочными бытовыми интересами.

Все это я прекрасно понимала, однако даже самой себе не могла сознаться: что-то гнетёт, гложет и тревожит. И скорее всего, то самое, связанное с Бурминым.

В цеху меня полюбили и часто стали давать ответственные задания. Проконтролировать участок, проследить за установкой, распределить задачи.

Иногда я ездила в соседние ангары за деталями. Самое неприятное из всех моих поручений. Потому что водителем служил Валентин. Правдами и неправдами ему удалось занять шоферское место. Видимо, оно показалось лёгким, не требующим особых физических затрат. Пару раз в день съездить на заказ по поручению директора. В остальное свободное время можно валандаться по цехам, покуривать или дрыхнуть. И мне приходилось с этим низким, отвратительным человеком сидеть в одной кабине.

Сначала он пробовал извиняться, заговаривал со мной. А потом понял, что я его раскусила, и резко изменил поведение. Сделался грубым, эгоистичным. Однажды уехал без меня, потому что я, по его словам, слишком долго задержалась. В общем, таких мерзавцев я ещё никогда не встречала.

В тот важный день, последний день моей обычной жизни, Пётр Семёнович попросил меня привезти новые предохранители взамен отработанных.

Валентин покуривал, выставив локоть в окно грузовичка. Увидев меня, он брезгливо скривился и щелчком отбросил папиросу.

— Что там? — недовольно спросил Валентин.

Я, не глядя на него, протянула распоряжение.

Мы поехали. Он гнал нарочито быстро, так, что я даже подсакивала на кочках. А шофер посмеивался. Так, дескать, тебе и нужно, нечего отвлекать от более важных занятий.

Под расписку мне выдали тяжелый ящик новых предохранителей. Валентин не соизволил помочь. Он холодными маленькими глазками смотрел, как я его волоку.

Завхоз прикрикнул на него:

— А ты чего, шалопай, смотришь, как хрупкая девушка эдакую махину тащит?! А ну живо помоги!

И только тогда он нехотя, расслабленной походкой подошел и легко уволок ящик в кабину. Ещё и произнёс пару грязных слов в сторону завхоза. К счастью, тот не услышал.

Предохранители очень хрупкие, поэтому я попросила ехать помедленнее. Но он, словно не разобрав мои слова, помчал ещё с большей скоростью, чем мы ехали вперёд. Я навалилась на ящик, прижала его и не отпускала, пока мотор не заглох.

Тут я взялась было отнести предохранители, но Валентин вдруг резко осадил меня.

— Сам донесу, ты же слабенькая. Иди доложи: детали доставлены.

Я отчиталась перед руководством и с удвоенной силой взялась за работу. Все во мне кипело и бурлило от ненависти к хаму. В следующий раз ни в какую с ним не поеду, хоть режьте. Пускай лучше меня уволят, чем ещё раз с ним в одной кабине сидеть.

Поздно вечером на пороге комнатки показался Пётр Семёнович. И был он мрачнее тучи. Я очень удивилась, увидев его. Начальник жил в другом месте, в деревянном домике за речкой, и тут появлялся лишь в самых экстренных случаях.

— Ну что же ты нас так подвела? — с ходу начал он.

— Как подвела?

— Да вот так, подвела, — зло произнёс инженер. — За предохранителями ездила?

— Ну, ездила.

— Привезла?

— Ну, привезла.

— Вот и не привезла. Весь узел осмотрел, нет никаких предохранителей.

Куда их дела? Украла? — наседал он.

От возмущения я даже задохнулась.

— Украла?! Разве я воровка?

— Почём знаю. Только нет никаких предохранителей.

И тут вспомнила.

— Валентин должен был отнести детали к узлу. С него и спрашивать нужно.

— С него, — протянул Пётр Семёнович, — а докладная на кого подписана?

— На меня, — неуверенно произнесла я.

— С тебя и спрашивать будем! — рявкнул Пётр Семёнович. — Немедленно иди найди этого Валентина. Чтоб предохранители вернули.

— Пойдёмте вместе, — взмолилась я, с ужасом представив, что предстоит снова общаться с нахалом.

— У меня и без тебя дел куча. Авария на втором перекрёстке. Слыхала?

— Авария? — я обомлела. — Вот тебе раз.

— В общем, действуй, девочка, — голос инженера смягчился. — Ошибки надо исправлять вовремя.

Он попрощался и ушел. Я в панике принялась собираться. Натянула плащ, повязала поверх косы белый платок. И побежала на первый этаж спросить у ребят, где живёт Валентин. Мне быстро подсказали.

Я робко постучала в дверь, но так как ответа не последовало, застучала сильнее, а потом и вовсе заколотила изо всех сил. Никто не отвечал.

У меня потемнело в глазах. Где же он может быть? Задержался в ангаре? Ребята сказали, что давно Валентина не видели, а долговязый Мишка Коноплёв, наморщив лоб, вспомнил, что последний раз встречал Валию на заводе. Тот околывался возле столовой.

Я побежала туда. Уже стемнело. Огромное звёздное небо было раскинута как черный в горошек платок.

Ветер выл, толкал в спину. Я чувствовала себя маленькой девочкой в тёмном лесу. А вдруг тут волки водятся или медведи? Всхлипывала, бежала через поле и перелески. Время тянулось так медленно, что я думала, никогда не добегу.

А едва добежала, меня окрикнул сердитый сторож:

— А ну стой, кто идёт.

— Это я, дядя Женя, Машка Сорокина.

— А по какой надобности?

Я всплеснула руками и всё выложила, как есть.

Он понимающе кивнул:

— Да, всякие ситуации бывают. Ну, иди, поищи своего товарища.

— Да не товарищ он мне, не товарищ. Эх!..

Я отмахнулась и бросилась бежать дальше. У столовой никого не встретила. И помчалась к ангарам. Иногда останавливалась, кричала в темноту:

— Валентин!

Пустой ангар поразил меня огромностью. Я и раньше знала, что это маленькое строение, но именно теперь поняла, как он огромен. Внутри было гулко, страшно. Стоял полумрак. Бледно мерцали жёлтые ночные лампы. Вокруг одной из них порхал большой мотылёк. По станкам скользили длинные тени от крыльев.

Снова сделалось страшно. Где-то под ногами зашуршала крыса. Чтобы развеять ужас, я закричала:

— Валентин, Валентин!

Далеко в глубине что-то зашевелилась. Послышался быстрый топот. И опять затихло. Отступать было поздно. Я решительно пошла вперёд.

Добралась до центрального узла и увидела: предохранители уже закреплены в пазах. Это показалось странным, ведь Пётр Семёнович утверждал, что предохранителей ещё нет. А тут вот они, поблёскивают в лунном свете.

Ступила на мостик и сразу заметила: горят синие реле. А ведь должны быть выключены. Наверное, кто-то забыл. Разгильдяй! Надо вычислить, сделать ему выговор как следует. Но потом. Сейчас нужно отключить механизмы, мелькнула в уме ясная мысль. Требовалось вытащить из паза крайний левый предохранитель.

Колбочка светилась слишком ярко, необычно ярко. Может быть, особенность новых деталей, подумала я.

И без колебаний схватилась правой рукой (отчетливо помню, что именно правой) за предохранитель. И с силой потянула вверх.

Руку резко обожгло. Меня будто подбросило и мощно ударило в грудь, голову. Уже слабея, теряя сознание, я увидела, что вся объята голубым пламенем, или разрядом. Вдруг совсем рядом прозвучал голос Володи:

— Не надо, бросай!

И я провалилась в бесконечную пустоту.

Часть третья

1

«Кто мы? Что мы? Только лишь мечтатели, синь очей утратившие во мгле». Снова крутится в сознании эта фраза. Веки невозможно разлепить. Руки тяжелые. Голова болит.

Кто я? И где я нахожусь?

А я кто?

Кажется, кто-то сказал: «а я кто?». Странно.

Прежде всего нужно открыть глаза. Итак, Володя, заставь себя это сделать.

С невероятным трудом всё-таки получается.

Ослепительно белая палата со множеством пустых коек. Впереди крашеная дверь. Лежу и недоумеваю — каким образом сюда попал?

Ещё вчера я, Владимир Бурмин, работала над реализацией новой партии деталей. Смена была продуктивной, насыщенной. А вечером...

Вечером на пороге комнаты появился Пётр Семёнович. Заставил возвращать предохранители на место.

Какие предохранители? Почему я вдруг о них подумал? При чем тут Пётр Семёнович? Он над девочками начальник. А мой начальник — степенный, вальяжный инженер Михалыч.

Вовсе нет. Не Михалыч, а Пётр Семёнович.

Да какой же Пётр Семёнович, пугаюсь я голоса в собственной голове, не Пётр Семёнович, а Михалыч.

И вовсе не Михалыч.

Ничего не понимаю. Нужно успокоиться, позвать медсестру, чтобы принесла воды.

Открываю рот, пробую кричать. Голос слишком слаб, никто не услышит. Необходимо прийти в себя, набраться сил.

Найти и наказать Валентина.

Какого Валентина? За что наказать?

Болит голова. Интересно, что всё-таки произошло? Возьми себя в руки, Сорокина, подумай о Володе. Ведь его голос прозвучал в последний момент.

Какой еще последний момент?

Схожу с ума. Неужели так помешался на Сорокиной, что сам себя стал называть её именем? Маша Сорокина. Как же всё-таки красиво звучит — Сорокина...

Да, в общем, ничего особенного. Ничем не примечательное имя. Назвали в честь прабабушки. Конечно, оно мне нравится. Гораздо хуже, если бы меня назвали Элеонора или Жозефина, как делают некоторые мамочки, помешанные на Западе. Называют детей непонятно как. А те потом мучаются до старости.

Нет, нет, постой. Я доволен своим именем, Владимир. Маша — моя бывшая одноклассница.

Ты путаешь. Маша — я. Владимир — мой бывший одноклассник.

Что же происходит у меня в голове? Почему столько мыслей про Сорокину? Любовь вернулась с новой силой? Или просто меня как следует долбануло — и я сумасшедший?!

Но я вовсе не сумасшедшая. Однако кажется, что в голове поселился кто-то. Наверно, последствие травмы.

А что же всё-таки произошло? Медсестра поможет. Буду кричать, пока не докричусь.

Шаги в коридоре. Кто-то в белом халате.

Нет никаких шагов, тебе мерещится.

И вовсе не мерещится.

Вот она, сестра. Высокая, стройная, золотистые косы. Кладёт руку на лоб. Ласково спрашивает:

— Как вы себя чувствуете, больной?

Никто не спрашивает. Никто не кладёт. На соседней койке лежит женщина. Видимо, спит. Вижу тонкое ухо и клочок седых волос. Остальное скрыто одеялом.

Перестань, Владимир, разговаривать с самим собой. Ты абсолютно нормален. Просто временное помешательство. Сейчас сестричка расскажет.

Прикладывает ко лбу полотенце, пропитанное холодной водой. Становится легче.

— Что со мной случилось?

— А вы не помните?

— Совершенно ничего не помню.

Она начинает неторопливо рассказывать:

— Вы, Владимир, настоящий счастливчик. Вчера на центральном узле в главном ангаре произошла серьезная авария. Подробности, к сожалению, не знаю. Да мне и не положено их знать, я человек маленький. Но привезли вас вместе с Сорокиной неделю назад в ужасном состоянии. Током вас ударило капитально. Врачи хором пророчили смерть, потому что мозг в результате разряда был повреждён основательно. И у Марии, и у вас, Володя.

Как все забегали, как заволновались. На директора, говорят, было смотреть страшно. Он ночами не спал и через связи пробил для вас профессора из Москвы, специалиста по электроожогам и черепно-мозговым травмам. Тот провёл предварительное лечение, а потом, когда сделали снимки, глазам поверить не мог: повреждения будто сами собой ушли. «Вот на что способны молодые растущие организмы», — сказал он.

Медсестра ушла. С каждой минутой мне все лучше и лучше. Исчезла головная боль. Как рукой сняло пелену перед глазами.

Я встал. Сделал гимнастические упражнения, размял затёкшие мышцы.

Всё-таки невозможно поверить, что целую неделю я провалялся в постели. Как будто вчера было. Кое-что и вспоминается теперь. Задержались мы с Еремеевым допоздна. Для сложного агрегата вытачивали детали. Потом его буквально насильно оторвала от дела буфетчица Аня и забрала. Хватит, заявила, работать. Чай, внеурочных не платят.

А я остался. Не привык бросать начатое. Тем более закончить нужно было всего ничего. Доделал положенное и с чистым сердцем домой пошла. То есть пошёл. А на пропускном пункте вспомнил: томик Маркса на рабочем месте оставил. Непорядок, думаю. И назад почесал.

К ангару подхожу, а из него кто-то выбегает. В темноте не разобрал. Никак ворьё завелось, — пронеслось в уме. Но за чужаком не побежал. Вдруг честный человек, а я побеспокою понапрасну. Сначала проверить нужно, всё ли в цехе в порядке.

И вот зашёл в ангар, томик свой в карман спрятал и для проформы пройтись решил. Слышу шаги в электрическом цеху. Ну и я туда. Да это же Сорокина у центрального узла! Почему так поздно? Женская смена давно кончилась.

И тут обомлел: кто-то воткнул в пазы старые предохранители. А ещё электричество к ним подключил от генератора. Это строго запрещено. Вероятность аварии огромная в таком случае.

Сорокина схватилась за крайний предохранитель и вынула его. Грохнуло, вспыхнуло. Машка озарилась голубым пламенем, точно превратилась в живой костер.

Мне стало страшно. Я побежал к ней, крича: «Не надо, бросай!»

Не соображая, что делаю, выхватил у девчули опасный предмет. Отшвырнул куда подальше. Потом меня накрыла темнота.

Нас ударило одним разрядом.

Ничего не понимаю. Что значит, нас? Вообще-то я Володя Бурмин. Это моя голова. Никому в неё влезать не позволю.

Ты не прав. Я — Мария Сорокина, и ты, непрошенный гость, явился в мою голову. Уходи подобру-поздорову.

Сейчас же отправлюсь к профессору. Пусть выпишет самые сильные таблетки и порошки, чтобы моя голова сделалась чистой. Я — это я, Володя. Вот

мои узловатые колени, стриженный затылок. Шрам на левом бедре. Упал в детстве с велосипеда. Я — только я, и никто другой.

Ошибаешься. Нас слишком сильно контузило. Я — Маша. Вот толстая коса, за которой я ежедневно ухаживаю. Вот родинка на ключице. Вот длинные ногти. Обычно их подстригаю, но за неделю, пока лежала в беспамятстве, отросли до неприличия.

И всё-таки я Бурмин.

Нет, Сорокина.

Нет, Бурмин.

Нет, Сорокина.

Бурмин.

Сорокина.

Бурмин.

Сорокина.

Да что же такое — я уже не знаю, кто я.

Что со мной происходит?

Какой навязчивый голос. Как называется эта болезнь? Раздвоение личности, шизофрения. Значит, вот что со мной произошло.

Меня нужно лечить.

Я ещё такая молодая, а уже сумасшедшая. Мама, если бы она знала... Прекрати ныть, Сорокина!

Я прямо сейчас же иду к доктору. Пусть выпишет лекарства.

Невыносимо. Почему голос в голове диктует, командует. Не нужны никакие лекарства, я совершенно здорова.

Нет, я болен.

Здорова, здорова. Наверно, что-то временное. Побочный эффект лечения.

Болен. Сейчас же иду. Нужно прекратить чужие мысли.

А может быть, сначала навестить Сорокину? Вдруг у ней тоже побочные эффекты?

А что, замечательная идея. Схожу, навешу Бурмина, поблагодарю за помощь. Заодно проверю, правда ли это он лежит тут. Не свихнулась ли я окончательно.

Доктору будет интересно услышать побольше конкретики о голосах. Так что говори, говори, Сорокина. Да и вообще почему именно Машка?

Почему именно Володя? Может быть, потому, что я до сих пор испытываю к нему сильное чувство?

Как испытываешь сильное чувство? Не может быть. Я убеждён, что Сорокина равнодушна ко мне. А вот я, наоборот, все бы отдал за один только её ласковый взгляд. Не смотрит, в работу погружена. Ну и правильно. Больше пользы принесёт стране, чем я.

Голос Володи, какой ты смешной и глупый. Ты так самоуверенно судишь о том, о чем совершенно ничего не знаешь.

Вот ещё, не знаю! Я столько страдал и терпел, что знаю обо всём досконально. Это ты ничего не понимаешь, голос Сорокиной. Тебе хорошо, ты взялся из ниоткуда и скоро под воздействием лекарств уйдёшь в никуда. А мне жить и думать о ней.

Да ведь я — Сорокина.

Я, я, я. Мы, кажется, пошли на второй круг. Хватит. Отказываюсь обсуждать тему «кто из нас реален», пока доктор не выпишет лекарства. Тогда будет ясно наверняка. Понимаешь, призрак, дым, туман?

Скорее к Сорокиной, убедиться, что её нет.

Это не временное помешательство, я определённо сошла с ума. Да лучше бы умерла. Не хочу жить полоумной.

Перестань, замолчи. Ты действуешь мне на нервы, голос.

Ты сам — голос.

Всё, иду к Бурмину.

Всё, иду к Сорокиной.

Быстро выхожу из палаты, начинаю искать женское отделение. И тут понимаю — больница огромная, и шансов попасть туда у меня немного. Кто же пустит больного, да ещё на женскую половину.

На мужскую.

Нет, на женскую.

Ладно, потом, сперва к доктору. Коридоры пустуют. Я уже отчаялся встретить хоть одного живого человека. Брожу по лестницам минут пятнадцать.

И вдруг табличка зелёная: «женское отделение». У меня будто крылья вырастают. Распахиваю двери.

И чуть с ног не сшибает Сорокина. Бежала, судя по запыхавшимся виду.

Она удивлённо смотрит.

Он удивлённо смотрит.

Она.

Нет, он. Он, он стоит напротив меня.

Она смотрит, она. Вот прямо сейчас вижу её лицо. Похудела-то как. Надо сказать что-то, поздороваться хотя бы. Да не могу, оробел чего-то.

Прекрати надо мной издеваться, голос, не оробел, а оробела. И правда оробела. Вижу его до боли знакомые глаза, такие родные, такие красивые. И с места не могу сдвинуться. Володя, Володенька...

Ну почему она так странно смотрит. Я ведь, можно сказать, не самый плохой. Пытался помочь, когда Сорокина предохранитель держала. Выхватил, выбросил.

Прекрати, пожалуйста.

— Маша...

— Володя...

Произносим мы одновременно.

И как же дальше... Что ему сказать, как бы начать, какими словами?

— Рад, что ты в порядке!

Он рад, вот хорошо.

Затихни, голос. Что теперь... поинтересоваться, как она себя чувствует.

— Как твоё здоровье, Маша?

Почему он повторяет за голосом в моей голове? Мне это не нравится. Скорей к доктору.

— Здоровье моё отличное, спасибо. А сам ты как?

— И я ничего. Но что же с нами произошло? Мы, кажется, попали в аварию.

Рискну спросить про странности.

— Маша, не замечаешь ли ты что-то странное?

Снова повторил. Невыносимо. Я сумасшедшая, сумасшедшая. Такого не может быть в душе советского человека. Как же хочется просто лечь, заснуть и не слышать голос.

Вот-вот, голос, я бы тоже хотел тебя не слышать. Таблетку, скорее таблетку.

— А что же странного я должна заметить?

— Ну, например...

Если уж говорить — так начистоту, бросаться — так в омут.

— Меня после аварии — стыдно сказать, вот прямо сейчас — мучают голоса в голове. Один голос мой. А второй, Машенька, вроде бы твой. Странно и страшно. Я тронулся умом?

Почему она побледнела?

Почему он это сказал? Что происходит? Наверно, сон, сон. Сплю и не просыпаюсь. Такого не может быть на самом деле.

— Представь себе, Володя, у меня тоже в голове постоянно звучит чей-то голос. И, скорее всего, твой. Правда смешно?

— Ничего смешного тут нет. Нужно не поддаваться панике, а трезво и последовательно во всём разобраться. Что с нами произошло, мы знаем. Нас ударило высоковольтным током. Врачи считают, что мы выздоравливаем, уже практически выздоровели, хотя поначалу находились в крайне плохом состоянии. Однако разряд всё-таки повлиял на наши мыслительные способности.

Мы слышим голоса. И самое странное, что мы слышим голоса друг друга, а не чужих людей. Нужно как можно быстрее обратиться к профессору. Он назначит лечение.

— Я боюсь.

Маша Сорокина внезапно кладёт голову мне на плечо и плачет.

Не надо бояться, наша медицина лучшая в мире.

— Наша медицина лучшая в мире.

— Володя, мне страшно. Вот ты сейчас про медицину сказал, а перед этим голос в моей голове то же самое повторил.

— Странно, — хмурюсь я. — Давай проведём опыт. Я сейчас что-нибудь подумаю, а ты произнесёшь вслух мысль, которую думал голос.

«Допустим... О чем бы мне подумать? Ничего не приходит на ум. В Голландии голодают дети».

— Я всё.

— Так, Володенька. Сперва голос посетовал, что ему ничего не приходит на ум, а потом неожиданно произнёс: «В Голландии голодают дети».

Подскакиваю в ужасе.

— Верно! А ну-ка ещё раз.

«Столица день ото дня краше и краше».

— Столица день ото дня краше и краше.

«Руки прочь от народного достояния».

— Руки прочь от народного достояние.

«К борьбе за дело Ленина–Сталина будь готов».

— К борьбе за дело Ленина–Сталина будь готов.

«Голосуйте за мир и счастье, завоеванные в Октябре».

— Голосуйте за мир и счастье, завоеванные в Октябре.

— Ну и ну! Полное совпадение. А если наоборот? Давай, Машка, думай ты, а я буду угадывать.

«Мир, труд, май».

— Мир, труд, май.

«Слава КПСС».

— Слава КПСС.

«Родина-мать зовёт».

— Родина-мать зовёт.

— Как это происходит, Володенька? Почему? Ты умный, ты знаешь разгадку.

— Нет, не знаю. Да и кто может знать? Это выше человеческого разума. Могу лишь предположить, что в результате удара током наши сознания объединились. Звучит дико, но иного объяснения, иного разумного объяснения найти не могу.

Маша плачет. А я закрываю глаза. «Теперь, понимаешь, мы с тобой как бы один человек. Все, что думаю я, тут же слышишь ты. И наоборот».

«Мне страшно», — звучит в голове голос Маши.

«Не бойся, — успокаиваю я товарища. — Эффект, конечно, очень странный, но уверен — для учёных нет ничего непонятного. Они сумеют выяснить, почему так произошло, и дадут логичное объяснение связи умов».

— Нет, — вдруг решительно говорит Маша, — ни к каким учёным я не пойду!

— Почему? — удивляюсь я.

— Не хочу быть подопытной свинкой. У нас в школе в седьмом классе был живой уголок с кроликом, морскими свинками, хомячками и белыми мышами. И мою любимую свинку забрали в медицинский кружок для опытов. Я тогда ничего не понимала и радостно позволила её взять. Она не вернулась.

— Да, Сорокина, я представляю, что ты пережила, однако советской науке и медицине нужно доверять.

— Я доверяю, но понимаешь... А если мы не больны? Я вовсе не чувствую себя больной. Напротив, мне легко, как никогда.

— А голоса?

— Твой голос, Володя, меня не беспокоит. Просто немного необычно.

Странно, страшно.

— Если это не отклонение, а вариация нормального состояния? Возможности мозга до сих пор не изучены. Кто знает, на что способно серое вещество?

— Ты говоришь, как ученая. Мне нравятся твои слова. Определённая доля истины в них есть. Однако не сообщать докторам о нашей проблеме было бы опасно и даже преступно. Давай сделаем так. Понаблюдаем. Подождём день-два. Через неделю посмотрим, не проявится ли ещё каких-нибудь изменений. И тогда со всеми подробностями сообщим профессору. Я буду вести тетрадь наблюдений.

— Отличная идея! Я тоже буду вести такую тетрадь. А может быть, Володенька, это и есть настоящий коммунизм, когда мысли сливаются, когда нет тайн друг от друга?

— В таком случае, — замаялся я, — Должен тебе сказать... давно хотел признаться...

— Ну не томи, говори.

Я отворачиваюсь и глухим голосом медленно произношу:

— Знаю, что теперь отношения между нами испортятся, но за твою неукротимую волю к жизни, за твою пытливость, за то, что сверкает в тебе, не угасая, огонь любви к Родине, за твою искренность и простоту полюбил я тебя. Прости.

Голос в голове как будто исчезает, а потом с жаром шепчет:

«Не за что извиняться! Неужели я кажусь такой злой? — Она смеется. — Такой неприступной и холодной? Неужели в моих глазах ты видишь лёд? Посмотри на меня, Володенька».

Я смотрю в ее красивые русские глаза.

«Нет, ты совершенно не прав. Я давно уже тебя полюбила за доброту, за силу, за пытливый ум. Я искала с тобой встречи, хотела признаться. И когда настало время откровенного разговора, все испортил негодяй Валентин».

— Как? — вскрикиваю.

— Это произошло в коридоре столовой. Он набросился на меня из-за угла.

— Вот гад!

— Ты пронесся мимо. Стало ясно — все кончено, ты думаешь, будто я хожу с ним. От обиды и горя я закатила Валентину такую оплеуху, что надолго запомнит, и выбежала во двор. Тебя нигде не было.

— Да, Маша, признаться, я почувствовал сильную досаду. Спать не мог в тот день, так переживал. А потом просто ушел в работу.

— И я тоже нашла в работе удовлетворение. Однако не до конца. Верила, когда-нибудь судьба нас столкнет, потому что мы...

— Созданы друг для друга. Звучит банально, но в нашем-то случае получилось так, что мы созданы друг для друга в прямом смысле. Наши сознания стали единым. И ты правильно заметила про коммунизм. Ведь что такое коммунизм? Равенство. Равенство всех людей. Как бы такая, понимаешь, константа, то есть изменяющаяся величина, некая принципиально недостижимая вершина, которая потому является константой, что постоянно движется, ускользает, поэтому она становится мерилем всех вещей. Я не слишком заумно говорю?

— Нет, Володенька, продолжай.

— Думаю, ты права. Коммунизма достичь очень трудно. Несмотря на то что наша страна идёт к нему семимильными шагами, путь ещё очень и очень долгий. Мы с тобой, получается, преодолели этот запредельно долгий путь за долю секунды, когда нас ударило током. И наши раздельные сознания образовали единство. Такой и должна быть любовь. Таким и должен быть коммунизм.

— Рано делать столь серьезные выводы. Давай подождём. Я чувствую, не могу сказать, почему, но определённо чувствую, что изменения не полностью закончились. Твоя идея о самонаблюдениях представляется наиболее важной и необходимой сейчас.

— Ты права. Извини, я заволновался, и меня занесло в философские дебри.

— Ну что ты! Все предельно чётко и ясно, мы близки к константе. Может быть, и уже являемся ею. Время покажет.

— Время покажет.

В дальнем конце коридора звучат гулкие шаги. К нам подходит массивная фигура в медицинском халате. Одышливый и тучный доктор.

— Вот вы где! — строго говорит он. — Вас уже весь персонал потерял. Почему из палат убежали?

— Хотел убедиться, что с Машей все в порядке.

— Похвальная заботливость, — кивает доктор. — Живо ко мне в кабинет. Многое нужно вам рассказать.

Поднимаемся на два этажа и попадаем в стерильно чистый кабинет. Белые стены, белый потолок, белая кушетка. Только стол черный. Тяжелый, старинный. И на нём стопка документов. Профессор предлагает садиться на кушетку. Достает рентгеновские снимки, внимательно разглядывает. Потрясённо разводит руками и снова разглядывает.

Начинает задавать вопросы. Как самочувствие, как голова, не болит ли.

Мы мысленно переговариваемся с Машей. Обсуждаем, как бы полнее ответить. Это так весело, что я изо всех сил стараюсь не рассмеяться.

Доктор меряет давление, щупает пульс. И наконец в полном восторге откидывается на стуле.

— Ну, ребята, чудо подтвердилось. Повреждений нет. А те, что были, куда-то пропали. Когда вас привезли неделю назад, врачи, признаться, думали уже вскрытие делать. Понимаете? Но нашёлся умный человек. Вызвали меня. А я на консилиуме был. Дело, говорят, интересное с точки зрения нейрохирургии.

Все бросил и поехал. Приезжаю, сразу снимочки приносят. И точно: лобные доли повреждены полностью. И у девушки, и у юноши. Задеты оба полушария, а также средний мозг и мозжечок. Тут, как говорится, не до жиру — были бы живы. Что удивительно, вы были живы. И даже не в коме, а как будто в тяжёлом сне. Я ввел вам простейший препарат, какой обычно используется в таких случаях. И буквально на следующий день снимки радикально изменились. Вот посмотрите. Старая рентгенография и новая.

Он протягивает два снимка.

— Видите чёрные точки? Это тотальные, необратимые по мнению медицины изменения. А вот тут никаких точек нет, чистый, целиком восстановившийся мозг. Как это произошло, нам предстоит выяснить.

— Нет, — вскрикивает Маша, — не надо выяснений. Мы не подопытные свинки. У нас нет ни времени, ни желания участвовать в ваших опытах. Единственное, что нам сейчас нужно, — работа. Мы хотим работать во благо Родины, во благо отсталого народа. Помогать возводить гидроэлектростанцию.

Доктор вздыхает.

— Вы же ещё ничего не знаете. Строительство ГЭС будет свёрнуто в кратчайшие сроки.

— Как свёрнуто?! — одновременно спрашиваем мы с Машкой.

— Могу поделиться слухами. На стройке произошли две серьезные аварии. В центральном узле и на втором перекрёстке. Строительству нанесён серьёзный урон. Матвея Тихоновича будут увольнять с поста руководителя. А кандидатуры на его место нету.

— Как увольнять? Почему нету? — снова принимаемся мы задавать вопросы.

— А я откуда знаю? — недовольно отвечает доктор, затем перевёл взгляд на будильник. — Через полтора часа заседание в комитете. Там проблемы и решатся.

— Бежим туда! — восклицаю я.

— Вы ещё не вполне здоровы, — произносит профессор.

— Да вы же только что говорили — мы в прекрасном состоянии.

— После болезни нужно восстанавливаться. Организм ослаблен.

— Нет, мы пойдём прямо сейчас, — твёрдо произнёс я.

— Хорошо, — понурился доктор, — задерживать вас не имею права. Однако прошу, не откажите в просьбе. Право, незначительной. После того как разберетесь со всеми рабочими делами, приходите сюда. Ещё пару снимочков сделаем.

У него на лице появляется такое униженно-просительное выражение, что мы с Машкой хохочем.

— Ладно, — говорит Сорокина, — два снимка, и не больше.

Зал заседания полон. Тут и начальники, и простые рабочие, и важные лица из министерства за длинным столом сидят в комиссии. Матвей Тихонович внизу, в зале. Смотреть на него страшно: мрачный, желваки поигрывают. В глазах явное переутомление. Наверное, не спал всю ночь. Никогда в таком виде не приходилось мне встречать нашего директора, ироничного, степенного, всезнающего, осторожного. А тут — на тебе! — сидит не шелохнётся.

Мы опоздали. Обсуждение в полном разгаре. Садимся на свободные места в конце кресельных рядов и слушаем. Ответственные работники выступают с пронзительными речами, и все как один критикуют деятельность Матвея Тихоновича. Дескать, не сумел, не справился, подвёл коллектив, поставил под удар социалистическое хозяйство.

— Ой-ой-ой, что будет, — думаю я.

Маша держит меня за руку и сильно переживает за директора. Сердце девушки бьется учащенно.

Важные толстяки слушают внимательно, кивают головами. Осуждение Матвея Тихоновича ясно читается в их позах, едких репликах, поджатых губах.

Последним слово берет председатель комиссии, седовласый старичок.

— Приветствую вас, товарищи, борцы за народное счастье! Сегодня вам предстоит принять важное решение о судьбе огромной незаконченной стройки. Партия вверила строительство в руки человека, который сидит перед нами. Сидит и в ус не дует. Не заметно по нему, что волнуется и переживает. Подумаешь, миллиардное строительство под хвост коту пустил! Подумаешь, надежд страны не оправдал! Как вы считаете, Матвей Тихонович, да?

Лоб директора, кажется, покрыт бисеринками пота.

— Две аварии, — голос докладчика звучит громче, — за одну ночь. На втором перекрёстке снесено все подчистую. На центральном узле необратимые изменения. Конечно, вам проще всего винить мелких исполнителей, рабочих. А сами отсидеться надеетесь. Так вот, не удастся вам отсидеться! Документы подписывали, пункты обязались выполнять. А на деле ни туда, ни сюда. Месяцы кропотливой работы пошли прахом. Думали о светлом будущем, надеялись войти в коммунизм. А что получилось? Что получилось, я вас спрашиваю?!

Директор что-то бормочет с опущенным взором.

— Вот именно, не знаете. А вас назначили, чтоб знать! Ему прекрасно известно, какая ответственность на его плечах лежит, лежала и будет лежать. Это по-социалистически — так подставлять партию, так предавать людей, которые доверили вам? Куда мы придём такими темпами? Куда угодно, только не в коммунизм. И я считаю, хватит быть добренькими, хватит попускать вредителям. Если у нас нет средств на восстановление стройки, давайте закроем объект. Виновника передадим в соответствующие органы.

Матвей Тихонович издает глухой стон и прячет лицо в ладонях.

— Я не вредитель, — отчётливо произносит он.

— А вот этот вопрос, — с места говорит женщина в военном кителе, — будут решать специально обученные люди. И уж до правды доберутся, уверяю вас. Верно, товарищи? — обращается она в зал.

— Верно, верно! — раздаются отдельные выкрики.

А потом почти все нестройным хором кричат:

— Судить!!!

Маша крепко сжимает мою руку. Она негодует. Голос в голове возмущенно говорит: «За что они его, добрейшего Матвея Тихоновича? Ну, разве можно так поступать с человеком. Он же ничего предосудительного не совершил. Я тебе не все рассказала, но почти полностью уверена, что виновником аварии на центральном узле был Валентин. Он целенаправленно установил испорченные предохранители. Вот кто саботажник и вредитель! Вполне вероятно, что и на втором перекрёстке тоже он поработал. Значит есть шанс обелить директора. Сейчас бы выступить и обрисовать ситуацию, но кто же даст мне слово?»

Будто услышав меня, женщина в кителе говорит:

— Так, товарищи, единогласным решением принято передать вредителя органам власти, а стройку заморозить до соответствующего распоряжения. Или у кого-то есть возражения?

В зале висит тишина.

Я поднимаюсь.

Удивлённая женщина восклицает:

— Что-то имеете сказать, юноша?

На меня устремляются сотни глаз. От неловкости хочется провалиться сквозь пол. Я прочищаю горло и неуверенно говорю:

— Уважаемые члены комитета, а также дорогие рабочие гидроэлектростанции, я хочу обратиться ко всем вам. Я такой же, как вы, и на этой стройке где-то с полгода. Успел хорошо узнать Матвея Тихоновича. Сейчас с этой трибуны раздавалось много нелицеприятных слов в его адрес. И справедливых, и несправедливых, обидных.

Да, Матвей Тихонович виноват. Не уследил, не предупредил. Но разве же реально за всем уследить в таком огромном производстве? За все то время, что я знал директора, он раскрылся мне исключительно с положительной стороны: добрый человек, щедрый, ответственный, умный, истинный патриот страны. Все мысли, все чаяния у него об одном — чтобы росла, крепла ГЭС. Он мечтал принести свет разума отсталому народу. Вы несправедливо называете его вредителем.

В зале зашикали, зашумели. Председатель комиссии, подняв бровь, спрашивает:

— Почему несправедливо? Доказательства имеются. Отчётности, справки.

— Эти доказательства не подразумевают прямую вину, — говорю я, — мне кажется, вы хотите найти крайнего, имеющего косвенное отношение к произошедшему, и свалить на него все проблемы.

— Договаривайте, — жёстко произносит председатель, — что значит, не подразумевает прямую вину?

— Мне известен мерзавец, который осознанно, с преступным умыслом, устроил обе аварии. Вот его и надо в первую очередь наказывать. А Матвей Тихонович тут совершенно ни при чём.

Председатель потрясённо застывает. Женщина в кителе не может выговорить ни слова.

Зал взрывается. Рабочие кричат, спорят.

— Тихо! — бьет кулаком по столу старичок. — Мы советские люди, давайте вести себя цивилизованно. Как вас зовут?

— Владимир Бурмин, — отвечаю я.

— То, что вы сейчас нам сообщили, Володя, меняет в корне всю ситуацию. Вы утверждаете, что среди рабочих есть настоящий враг. Так назовите его.

Я побледнел, только теперь ясно осознав, что твёрдых доказательств вины Валентина у меня нет.

— Я не готов назвать имя преступника, потому что пока не обладаю стопроцентными доказательствами его причастности к авариям. Но если уважаемый комитет даст мне хотя бы неделю или лучше две, я соберу необходимые улики.

Старичок разочарованно выдыхает:

— Эх вы! А с таким гонором начали. Я чувствую в вас юношеский максимализм и похвальное желание защитить своего начальника. А вот фантазии о враге...

— Это не фантазии, — яростно вскричал я, — дайте только две недели, и я вам предоставлю доказательства.

Старичок с интересом смотрит на меня.

— Две недели не такой уж большой срок. Однако от меня мало что зависит. В нашей стране решения принимает народ.

Он обращается к залу:

— Ну что, товарищи, версия Бурмина мне представляется любопытный. Если среди рабочих завёлся враг, его нужно обязательно искоренить. Дадим парню возможность собрать доказательства?

— Дадим! — гудит зал. — Пускай собирает.

И вдруг поднимается Валентин.

— Нет у него ничего, и собрать ничего не сможет! Просто время тянет, вот его выгораживает, — Валентин тыкает в сторону Матвея Тихоновича, — и себя. Милиции предстоит еще установить, что они с Сорокиной делали ночью в ангаре.

Председатель кивает.

— Не волнуйтесь, виновные понесут наказание. Народ у нас добрый и доверчивый, но обмана никому не прощает. Если через две недели Владимир не предоставит фактов, то в любом случае спросим с него. За сутяжничество. Спросим так, что мало не покажется.

— Пожалуйста, спрашивайте, — отвечаю я дрогнувшим голосом. — А только будьте уверены, доказательства я соберу и вредителя к ногтю прижму.

— Как же, прижмешь, — недовольно ворчит Валентин и садится.

Итог совещания ошеломительный для меня и для Маши. Матвей Тихонович временно освобождён. Мы должны в кратчайшие сроки найти убедительные доказательства вины Валентина. Но нужно с ужасом признаться самим себе: нет никакой уверенности в том, что у нас это получится.

Кто я? Что я? Почему я? Зачем нужно это нелепое местоимение? Буду называть себя «мы». Мы с каждым днем все больше теряем границу, где кончается «я» и начинается другой. Телесные различия остаются, но внутренних меньше и меньше. Сложно различить, кто конкретно произносит мысли в голове, Маша или Владимир. Внешне обычные советские люди, парень и девушка, а внутри одно существо. И нам сейчас не кажется это удивительным. Ведь такой и должна быть любовь. Целокупное слияние, полное взаимопроникновение.

Кто мы? Что мы? Мы не задаемся такими вопросами. Нас переполняет великая радость объединения. Несмотря на то, что в новом состоянии мы пребываем всего несколько дней, оно кажется естественным и абсолютно нормальным. Никаких тайн и секретов друг от друга, быть одним целым — наверно, к этому подспудно стремятся люди испокон веков.

Мы думали, что Валентин после моего выступления постарается скрыться или начнёт лихорадочно замечать следы и тем самым вызовет подозрения у всех. Но тут мы просчитались. Валентин ведёт себя как ни в чем не бывало. Демонстративно обнимается с девушками, ходит на работу. И посматривает на меня с вызовом. Считает, что у нас нет ни одной зацепки.

Мы продолжаем изменяться. Буквально на следующий день после совещания мы проснулись с весьма странным ощущением. Что-то произошло глубоко внутри нас. Мы лежали в разных комнатах, но мыслили и чувствовали одинаково. Помимо дополнительного голоса мы начали слышать отдалённый, смутный, хаотичный гул тысяч чужих голосов.

Это было чистое безумие. Но мы-то уже не были простыми людьми. Решили не пугаться и не паниковать, а разобраться, что означает эта новая особенность организма.

Сквозь занавески пробивались лучи рассвета. Но они не могли разогнать сумрак в комнате. Мы лежали неподвижно. Мы полностью сосредоточились,

прислушиваясь к плотной массе неразборчивых голосов. Вскоре мы сделали открытие: голоса принадлежали окружающим людям. Лёгким усилием, напряжением в голове, можно увеличивать отдельные области с гулом до тех пор, пока голос не станет отчётливым.

Вот ворчит техничка, возя шваброй: «На лестнице опять, ироды, наследили. И кто их просит опосля двенадцати приходить. Их не пускают — они в окно. Не пускают — в окно. Ходят к девкам, совести не имут».

Чуть ближе к центру мысленного голосового полотна был расположен голос Орлова. Сосед давно проснулся и сейчас стоял в душе, намыливаясь и размышляя: «Приеду домой, сына первым делом обниму. Или всё-таки жену? Да, дилемма... Обниму сына — жена скажет, разлюбил. Обниму жену, сын обидится. Так все запутано, хоть никого не обнимай».

Немного выше кастелянша: «Снова подушки рваные. Наволочку порвали, и тут пух лезет. А мне зашивай. В прошлом году одеяло сожгли, а мне штраф плати».

И тысячи незнакомых сознаний мы слышали. И понимали: они не чувят, предположить не могут, что их подслушивают. Было немного стыдно от того, что мы слышим все.

Но какие у людей мысли интересные! Иной раз смотришь на человека, и сразу выяснить нельзя, кто он, что он — энигма. Лица у многих невыразительные.

Довольно быстро мы освоились с полотном из сознаний. Научились выделять и слушать нужное. И вечером того знаменательного дня придумали лучший способ прищучить Валентина: погрузиться в его мысли.

Мы сосредоточились, пытаюсь выделить из общего хора сознание Валентина. Не тут-то было, сколько мы ни пытались его услышать, ничего не выходило. Словно Валентин не думал совсем или был огражден от нашей новой способности какой-то стеной, был непроницаем.

Может быть, Валентин далеко уехал и его не слышно. Но ведь он никуда не уехал. То и дело мерзавец появлялся в поле нашего зрения. Мысли в таком случае должны усиливаться, звучать громче. Совершенно ничего не звучало, будто перед нами не человек, а неодушевлённый предмет.

Мы стали думать о том, почему так, почему другие люди постоянно думают, обсуждают что-то, мысленно спорят сами с собой, волнуются, о чем-то мечтают, а у Валентина полностью пустая голова. Странно и непонятно!

Мы долго думали и в конце концов пришли к такому выводу: есть люди, которые живут, ни о чем не думая, не испытывая угрызений совести, не терзаясь моральными дилеммами.

Как быть дальше? Как вывести подлеца на чистую воду? Добрейшему Матвею Тихоновичу грозит тюрьма. И в наших силах его спасти. Пусть он иногда перегибал палку, но со временем сделалось очевидно, что директор действовал в интересах ГЭС, а мы поверхностно оценивали производственные процессы.

Вспоминай, Маша, вспоминай, Володя, — говорили мы друг другу. За что-то нужно зацепиться и доказать его причастность к авариям.

Неоднократно обсуждали ночной эпизод в ангаре. Не разобрал я в темноте, кто тогда выбежал. А Маша уверена: это и был Валентин. Негодяй точно знал, что девушка пойдёт искать предохранители, и нарочно старые вставил в пазы, а новые, видимо, спрятал. Вот бы их найти. Тогда и прищучить его несложно.

А ведь он убить меня хотел, говорила Маша, и преступницей сделать по-смертно. К счастью, следственные органы установили, что я ни в чем не виновата. Предохранители заменили до нашего появления на центральном узле. Значит, виноват кто-то третий, тот тип, прятавшийся во мраке. Как доказать, что это — Валентин? В идеале — найти у него предохранитель. А как быть, если он успел их продать на сторону или уничтожить? В таком случае зацепок не остается. Думать об этом не хотелось.

Для начала нужно проверить самую логичную версию. Для спасения Матвея Тихоновича пришлось прибегнуть к не совсем законным методам. Обы-

скать койко-место Валентина, его рабочий стол и гараж. Нечестные обязанности мы разделили таким образом: за Владимиром закрепили гараж и завод. За Машей — комнату.

Вечером Сорокина сообщила бригадиру, что завтра немного опоздает. Надо сходить на почту, получить письмо от матери. Петр Семенович поворчал, но всё-таки позволил на пару часов припоздниться.

На следующее утро, когда общежитие опустело, она спустилась к стенду с ключами и спокойно взяла ключ от комнаты Валентина. Пожилой вахтёр мельком поздоровался с ней и опять погрузился в газету.

В комнате мерзавца царил идеальная чистота. Ни пылинки, ни соринки. Койка тщательно заправлена. Разглядывая постельное белье, Маша удивилась тому, что на нём не было ни складочки, ни пятнышка. Очень странно, зашептал в моей голове ее голос, если человек использует постель по назначению, то есть спит в ней, рано или поздно на подушке, на одеяле появятся складки. А тут всё новое, идеальное, будто из магазина. Конечно, нельзя отбрасывать вероятность того, что Валентин недавно получил у кастелянши свежее белье. Но кастелянша выдавала белье только по вторникам, а сегодня пятница. Что-то не клеилось, не собиралась в одну картину.

Осмотр комнаты ничего не дал. Пустой шкафчик. В комодe лишь одежда. Нет подозрительных свёртков под койкой или ещё где-нибудь.

Он как будто никогда не спит, ещё раз отметила странность Маша, выходя из комнаты. Глупости, возразил Владимир, наверно, мы не все учли. Могут быть сотни причин для такого состояния постельного белья. Ты предполагаешь наиболее абсурдную.

После смены Владимир задержался и на всякий случай обыскал станок, на котором раньше работал Валентин. Станок был чист, предохранителей там, естественно, не оказалось. Остался последний вариант: исследовать гараж.

Длинный гаражный барак располагался в конце заводской территории. Низенький, коренастый Фомич ещё копался под днищем «Чайки», стучал ключом и время от времени произносил отборные ругательства. Больше в гараже никого не было.

— Здорово, Фомич! — произнёс Владимир.

— И тебе того же, — басом ответил Фомич.

— Зачем ругаешься?

— А как не ругаться?! Тут подтекает, там резьбу сорвало. Ремонт, когда нужно, не делают, а потом: Фомич, помоги! Фомич, на тебя надежда одна осталась! Ещё неделя такой езды, и никакой Фомич не поможет. На свалку выбрасывать придется. А ты чего, просто так явился или с делом?

— Я папочку, понимаешь, оставил с кое-какими бумагами. Ерунда, формальность. Но забрать надо.

— Так проходи, чего в дверях топчешься.

Владимир протиснулся в узкую щель в железных воротах и быстро зашагал в глубь помещения. Пахло бензином и машинным маслом. Повсюду валялись остовы автомобилей, лежали различные детали, аккумуляторы, каркасы. Нравилось Владимиру это место. С детства он испытывал интерес к технике.

Назначили бы лучше в гараж, иногда думал Бурмин. Впрочем, и на станке неплохо. Всё-таки в каждой профессии своя романтика.

Мы добрались до нужного места и начали осматриваться. Даже здесь, среди хлама, Валентин каким-то образом умудрился навести чистоту. На соседнем столе лежали огрызки яблок, смятые папиросы, втулки, огромные болты и серебристая фара с торчащими проводками. Стол Валентина — чистый, да ещё и протёртый тряпочкой.

Шансы найти предохранители стремительно падали. Мы посмотрели во всех закоулках. Безрезультатно.

Напоследок решили заглянуть в шкафчик, где Валентин хранил спецодежду. Владимир легонько дёрнул дверцу. То, что мы увидели, повергло нас в шок. Испугались мы отнюдь не предохранителей. Они лежали внизу в прозрачном пакете.

Скрючившись, как детская кукла-марионетка и нелепо сложив руки по швам, в шкафу стоял Валентин. Глаза его были абсолютно пустые. Казалось, он даже не дышал. Застыл в одном положении и не шевелился. Мы побледнели, отшатнулись, вскрикнули. Услышав наш голос, он очнулся от глубокого морока и, неторопливо выйдя из добровольного заточения, стал отряхиваться. Не обращал внимания на Владимира.

Наверно, это и было самое страшное.

Он приводил себя в порядок. Владимир стоял рядом, не зная, что сказать, как отреагировать. И наконец решился.

— Ты что это в шкафу делал? С ума сошел?

— Так, кое-что, — пробормотал Валентин и тут же перешел в наступление: — А ты почему за мной шпионишь? Проблем себе нажать хочешь? Считай, ты их уже нажил.

— Ты сам их нажил, — зло ответил Владимир и показал на предохранители: — Вот доказательство того, что ты виноват в двух крупных авариях. Из-за тебя невинного человека судить собираются. Ничего, скоро за всё ответишь.

Валентин неожиданно спокойно отнёсся к этому заявлению. Он поднял пакет и высыпал предохранители на верстак.

— Думаешь, что сможешь навредить мне? Твои потуги жалки и бессмысленны. Нет предохранителей — нет доказательств. Верно?

Он схватил одну деталь и поднял. Только теперь мы заметили, какие у него массивные и крепкие кулаки. Он сжал кулачище. Хрупкая оболочка лопнула, и предохранитель, сделанный из хромированной стали, затрещал, захрустел и согнулся. Валентин, улыбаясь, продолжал сжимать ладонь. Металл слипся в бесформенную массу и уже походил скорее на отработанный мусор, чем на предохранитель.

Мы знали, что предохранитель невозможно сломать и молотком. Какая же нечеловеческая сила скрыта в его руках! Или здесь какой-то подвох?

Потом он таким же манером расправился со вторым, с третьим, с четвёртым предохранителем. Бурмин, оторопев, смотрел. И вдруг, осознав, что Валентин сейчас уничтожит последнее доказательство, выхватил у него предохранитель и попятился.

— Пстой, постой, — зловеще прошипел Валентин, — а ну отдай.

— А ты попробуй отбери, — насмешливо произнесли мы и приготовились драться.

Но никакой драки не последовало. Валентин просто взял Бурмина за плечо, как пушинку, поднял и швырнул в сторону на несколько метров. Мы больно ударились о стену и упали. В голове помутнело.

Мерзавец неспешно подошел и склонился над лежащим в прострации Владимиром.

— Как вы себя чувствуете, токарь Бурмин? — издевательски произнес. — Разрешите, помогу вам подняться.

Протянул руку. Владимир механически подал ладонь. Невероятная, нечеловеческая сила схватила за руку и стала сдавливать.

Несмотря на то что находилась в комнате, я ощутила боль Владимира. Непроизвольно потекли слёзы. Ещё немного, и кости будут раздроблены в мелкие крошки.

Затем легко, без усилий, он поднял нас и швырнул через всю комнату. Владимир упал рядом с верстаком и уже не шевелился. Я поняла, что мой друг потерял сознание, но сквозь его приоткрытые веки видела: преступник подходит, склоняется, берёт из ослабевших пальцев предохранитель и уничтожает его тем же способом, каким только что расправился с остальными. Потом сметает железный мусор в пакет и уходит.

Владимир провалялся в беспамятстве около получаса, пока его не пришел проведать Фомич.

— А ты чего лежишь. Аль перепил? — забеспокоился старик. — А ну-ка, вот так.

Механик побрызгал на него водой. Владимир зашевелился и застонал.

— Али упал? — спросил Фомич.

— Где он?

— Кто?

— Валентин.

— Не было его тут. Давно ушел, — отрезал механик.

— Да это же ведь он со мной... — начал было Владимир и тут же осекся. Доказательств-то нет. Сочтут сумасшедшим. Скажут: электричество на мозги повлияло. Лишних проблем ещё не хватало.

— Показалось, кто-то заходил, может, крысы шуруют. А я после болезни слаб. Голова иногда кружится. Вот теперь закружилась, упал.

— Да ты никак в крови, — забеспокоился Фомич, — вон на локте и на темечке.

— Это ничего, стукнулся о кирпич.

— Как же ничего! Кирпич. Да ты вообще убиться мог. Живо в медпункт отправляйся.

Владимир вздохнул.

— Хорошо, Фомич.

Доктор, пузатый великан с чеховской бородкой, долго удивлялся.

— Где же вы, товарищ Бурмин, такие повреждения получить могли?

— Поскользнулся, упал.

— А такое ощущение, будто вас бешеный вихрь носил и по стенам швырял. Странно, что вы переломов не получили, одни гематомы.

— Счастливое стечение обстоятельств, — побормотали мы.

— Да уж, всякое случается в Советском Союзе, но такого ещё не видел.

Поздно ночью перебинтованный, пахнувший йодом, добирался Владимир до общежития.

В кромешной темноте печально пела неизвестная ночная птица. Луна скрылась за густыми чернильными тучами. Маша ждала, поминутно выглядывая в окно. Едва показалась фигура Владимира, бросилась его встречать.

Мы обнялись.

— Я по тебе скучала.

— Я по тебе скучал.

— Не смог, — глухо произнёс Владимир — не сдержал слово. Доказательства уничтожены. И мы бессильны. Не спасём Матвея Тихоновича.

— Нет, нет, ничего не говори. Я всё знаю, видела твоими глазами. Произошло что-то непонятное. Мы потом обсудим. Главное, ты живой. Тебе нужно как следует отдохнуть, выспаться, прийти в себя.

Владимир с наслаждением упал в постель и лишь теперь понял, как устал за этот трудный день. Правда, заснуть толком не удалось. Раны саднили, поднялась температура. Маша сидела рядом, давала таблетки, делала влажный компресс на лоб. Под утро удалось провалиться в глубокое забытье.

Всё-таки до чего же странная вещь электричество. Сама невидимая, а влияет на жизнь человека очень сильно. Вот пользуемся мы электрическими приборами, а как они действуют, что внутри заложено, большинство людей не понимают. Да и понимать не хотят, лишь бы работало. А вот как столкнутся с неведомой силой, как ударит их током, так и задумываться начнут. Вот мы, например, про электричество совсем не думали. А теперь, когда начались странные и, по всей видимости, необратимые изменения, думаем постоянно.

Ранним утром в постели мы ощутили, что изменения продолжают. Раньше мы слышали только многоголосие окружающих людей, с каждым часом оно усиливалось. А теперь не только слышали голос, но каким-то невероятным образом понимали, какому человеку принадлежит он — хорошему или плохому. Мы будто видели всех насквозь. Добрых и злых, честных и лживых, трусов и храбрецов, мошенников и честных. Эта новая возможность сначала нас ошарашила, а потом привела в восторг. За что нам такое? Почему именно мы обрели странные способности, каких, пожалуй, ни у кого никогда не было?

И всё-таки это было прекрасно. Мы моментально видели, плохой человек перед нами или хороший. К счастью, в нашем окружении плохих людей не было вовсе, зато имелось много обычных людей с незначительными отрицательными качествами. Трусливые, пугливые, самолюбивые. В Советском Союзе можно жить и работать спокойно, решили мы.

И только Валентин по-прежнему оставался тёмной лошадкой. Сколько мы ни пытались приблизиться к нему, понять его внутреннюю суть, нас снова и снова встречала каменная стена. Как будто внутри у него не было ничего. Ни мыслей, ни стремлений, ни личности. Раз за разом пробовали проникнуть за эту стену, но даже совместные усилия не помогли.

И тогда один из нас, сложно вспомнить, кто — Маша или Владимир, сделал предположение: а что, если Валентин не человек из плоти и крови, а робот-вредитель, посланный иностранной державой, чтобы уничтожить стройку?

Дикое, нелепое предположение. Однако, едва мы его высказали, обсудили, стало ясно — оно не может быть ошибочным.

Почти всё указывало на нечеловеческую природу Валентина. Мы ни разу его не замечали в столовой. Он отшучивался, что ест домашние пирожки, посланные бабушкой. Не видели Владимира и в душевой. Хотя мерзавец ходил всегда идеально чистым. И главное, эта странная непроницаемость. Скорей всего, мы не могли проникнуть в его голову потому, что в ней действительно ничего не было, кроме механизмов, подшипников, микросхем. Сердце его нам было недоступно по той же причине. Оно попросту отсутствовало.

Самым веским доводом в пользу гипотезы робота была сцена в гараже. Владимир на самом себе испытал несокрушимую мощь Валентина. Человек не может мять сталь, словно это кусок масла. Когда он меня поднял, в его лице ничего не дрогнуло. Он сделал это с такой лёгкостью, точно я был пушинкой. А я ведь отнюдь не пушинка, во мне семьдесят килограмм веса.

Единственное, что нас смущало, — его отношения с девушками. Коли он робот, железный болван, то зачем настойчиво и постоянно ищет новых подружек. Роботы не способны на эмоции.

Владимир быстро нашел ответ: донжуанство являлось отвлекающим моментом. Неразборчивость в связях и постоянная смена подруг были запрограммированы, защиты в микросхемы иностранными инженерами в качестве отвлекающего манёвра. Разве можно заподозрить бездушный механизм в юбочнике? Естественно, женщинами он интересовался так же мало, как и работой. Исполнялся определённый программный цикл, и он переходил к следующей девушке. Мгновенно менял поведение, ни с кем не поддерживал прочных, долгих отношений. Например, несколько раз пробовал подкатывать к Маше, делая вид, что сильно интересуется ею. Когда зафиксированное в его системе количество попыток подката закончилось, обратился к другой монтировщице. На Сорокину внимания уже не обращал, точно она перестала для него существовать.

Но если это правда, если на самом деле среди рабочих затесался железный робот, наделённый огромной силой и запрограммированный на разрушение производства, нужно немедленно остановить его. Кто знает, какая окончательная задача ему поставлена. Стройку он парализовал. Что робот будет делать дальше? Отправится на другую стройку, там совершит диверсию? А может быть, — и тут мы внутренне похолодели, — а может быть, поедет в Москву, проникнет в Центральный Комитет партии и навредит вождю. Мы даже испугались представить, что он там натворит. Валентина надо устранить, как

угодно, любым способом. И нашим первым побуждением, конечно, было отправиться в милицию.

Однако, хорошенько поразмыслив, мы отложили этот вариант. Твердых доказательств у нас нет. Максимум, чего мы добьемся у органов правопорядка, — того, что нас посчитают сумасшедшими. Любой адекватный милиционер вызовет психиатрическую бригаду, если ему кто-нибудь станет говорить о роботе-шпионе. Но раз Валентин не робот, тогда кто? Непроницаемый, странный, обладающий нечеловеческой силой. Кем он может быть ещё? Необходимо раздобыть конкретные факты, на основании которых получится доказать его машинное происхождение. Для этого прежде всего нужно его поймать и самим убедиться в том, что под кожей у него не кости и не кровь, а сталь и провода.

Прежде чем мы продолжим и расскажем, каким образом собрались ловить мерзавца, прежде чем раскроем простой, но эффективный способ заманить его в ловушку, нам нужно признаться кое в чём. Изменения не закончились. Да они, пожалуй, никогда не заканчивались с того момента, как нас ударило током. И не все из них мы чувствовали и воспринимали. Некоторые проходили скрытно, в глубине наших сознаний. Но рано или поздно результаты тайных метаморфоз давали о себе знать.

Мы уже не только слышали голоса и души людей, но стали ощущать сумбурное копошение инстинктов диких животных. Все вокруг было наполнено жизнью. Мы слышали, как осторожно крадутся мыши, как чутко спит и дышит во сне сова, как в поисках еды рыщет бездомный пёс. Мы чувствовали материнский инстинкт медведицы, безрассудную храбрость белок, нежность дождевых червей и отчаяние мухи, увязнувшей в осенней паутине. И вскоре — не сразу, но всё-таки — мы начали чувствовать и сами вещи. Колебания паутины, дрожание сосновых иголок, волны, расходящиеся по озеру утром от упавшего листка, тяжесть валуна на дороге. Мы чувствовали мир, как если бы он был частью наших организмов. Мы были бесстрастными наблюдателями. Мы следили за малейшими изменениями его структуры. И радовались, и огорчались вместе с ним.

Получив телесный доступ к вещам, мы стали следить за Валентином. Сразу же обнаружили странности, подтверждавшие нашу идею о том, что он робот. Большую часть времени шофёр проводил в одиночестве. При этом стоял неподвижно, словно отключался от всего. И вдруг встрепенувшись, бежал знакомиться с очередной девушкой. В общем, программа у него была нехитрая, и работала она безотказно.

Мы решили поймать и обезвредить робота, используя его слабость к женскому полу. Маша притворится, что делается благосклонна к нему и заманит Валентина туда, откуда он уже не вернётся.

Мы долго думали, где лучше всего провести эту операцию, и наконец решили, что идеально подойдёт закуток за ангаром, куда обычно сваливают бытовые отходы. Вверху на недостроенном стальном отсеке уже несколько дней стояла бочка с бензином. Если получится подвести его под отсек, а у меня хватит сил скатить бочку на голову бездушной машине, то мы и обезвредим врага, и легко докажем всем, что он робот. Из разбитой макушки посыплется шестерёнки и болтики.

Реализовать план нужно было как можно скорее. Бочку в любой момент могли увезти, а Валентин мог в любую минуту уволиться и уехать на другую стройку.

Маша подумала: «Хорошо, я это сделаю. А ты знай, что он мне противен. Нет никого отвратительней в целом свете».

В конце рабочей смены она крутилась возле Валентина. Когда прогудел отбой, подошла и сказала:

— А ты чего не здороваешься? Знакомых уже не замечаешь.

— Ну, здравствуй, — сказал он, окинув девушку мрачным взглядом.

Она подошла ближе и приветливо улыбнулась.

— Ты сегодня хорошо выглядишь. Я и не замечала раньше, какой ты всё-таки симпатичный.

— Спасибо, — отстраненно произнёс он.

И неожиданно весь преобразился, точно в его микросхемах заново включилась программа соблазна.

Валентин положил руку Маше на плечо и зашептал на ухо приятные комплименты. Она притворно захихикала от удовольствия. Через полчаса непринуждённой беседы робот предложил сходить с ним завтра на танцы.

— Нет, — возразила Маша, — танцы слишком мелко. С таким приятным мужчиной хочется уединённого свидания.

— Ого, — присвистнул Валентин. — Уединенного! Это мы всегда горазды. И где же мы уединимся, мадемуазель?

Сорокина изобразила думающий вид. Наморщила лоб, завела глаза к небу.

— Есть одно уютное местечко.

Наступило чудесное утро. Вчера выпал первый снег, и мир, преобразенный, блестел в солнечных лучах. Было белым-бело, так что Владимир даже зажмурился, выйдя в поле. Снег похрустывал под ногами. Ветер поднимал лёгкую поземку.

Добравшись до ангара, мы стряхнули плотные снежные крупы, обильно усыпавшие рукава. Затем прыгнули на лестницу, подтянулись и быстро добрались до нужного этажа. Бочка с бензином по-прежнему находилась у входа. Какой-то заботливый рабочий зачем-то прикрыл ее куском рогожи. Мы откинули рогожу и с трудом перетасили бочку на козырёк, поближе к краю. Владимир спрятался на недостроенных лесах и стал ждать Машу. Мысленно видел, как девушка приближается к месту встречи. Но где же её незадачливый поклонник, почему не явился? Время подходило.

Обычно романтические воздыхатели приходят на свидания гораздо раньше своих пассий. И только отъявленные циники позволяют себе плевать на условности. Будучи роботом, Валентин оказался крайне пунктуальным. Он пришел точно в срок.

Маша уже ждала. Она нервничала. Никак не получалось успокоиться. С тоской и со страхом глядела в заснеженную муть, откуда должен появиться робот. Вот возникла его фигура, слишком щегольски для рабочего разодетая.

Валентин шёл стремительно, не обращая внимания на сильный ветер, бьющий со всех сторон. Хищно ухмыльнувшись, он протянул Маше букет цветов. Неизвестно, где их раздобыл в такое время года.

— Ой, какие милые. Это мне? Мои любимые, — робко произнесла.

И с осторожностью взяла букет.

Задача заключалась в том, чтобы заманить робота под козырёк, что Сорокина с успехом и делала. Валентин смотрел властно и страшно. Никто и никогда на неё так не смотрел. Маша внутренне затрепетала. Я скомандовал: «Не паникуй, скоро все кончится. Продолжай его охмурять».

— Красиво! Знаешь, мне ещё никогда не дарили цветы.

— Может быть, тебя никто не оценил по заслугам, — надвинулся Валентин.

— Разве у меня есть заслуги? — несмело произнесла Сорокина, отступая.

— А как же! — осклабился робот. — У тебя очень красивые глаза и чистая кожа.

— И это все мои заслуги? — засмеялась Маша.

— Нет, не все, — тяжело покачал головой Валентин.

— Что же ещё?

Он подошел совсем близко. Они стояли прямо под козырьком. Владимир упёрся изо всех сил в бочку. Валентин притянул Машу к себе и зашептал:

— Не догадываешься?

Сорокина не сдержалась и закричала:

— Ах вот ты какой!

Она оттолкнула его и замахнулась для пощечины.

В этот момент я сбросил бочку. Железная громада буквально припечатала робота к стьлой земле. Он не шевелился, не издавал ни звука. Мы подумали: все кончено. Из рваной пробоины на боку железного сосуда в снег медленно вытекал бензин. Нога Валентина несколько раз конвульсивно дернулась. А потом робот встал, без малейших усилий поднял бочку, отшвырнул её на сорок метров.

Бочка хорошенько придавила его голову, и на мгновение мне показалось, что под содранной кожей видны кровь и мягкие человеческие ткани. Я замер в ужасе. Нет, всё-таки померещилось. Стальная махина разорвала ему щеку и помяла череп. Из дыры торчали проводки. Он был весь облит бензином и оттого блестел на солнце. Распахнул рот, собираясь что-то сказать, но, видимо, механизмы речи были нарушены, и вместо слов раздался глухой стрекот, похожий на работу швейной машинки.

Маша вскрикнула, бросилась бежать, но поскользнулась и нелепо растянута на первом ледке. Он шел к ней. С невероятной яркостью я ощущал её боль, ее страх. Иду, иду, мысленно кричал я.

Чтобы хоть как-то отвлечь робота, Владимир прыгнул с козырька и больно приземлился.

— Эй ты, тупая железяка!

Валентин не повел и бровью. Продолжал двигаться к Маше. Сама собой возникла спасительная идея. На вершине лестницы стояла пепельница. Я побежал, забрался. К моему счастью, в ней была расплющенная спичечная коробка с парой сломанных спичек. Лишь бы не отсырели, взмолился я.

Опять пришлось прыгать.

Железный болван не обращал внимания на то, что я делаю. Загнал Машу в глухой тупичок и приближался к ней. Девушка металась, не находя выхода, и плакала.

Я догонял робота, пытаюсь на бегу зажечь спичку. С первой ничего не вышло, рассыпалась головка. Вторая сразу вспыхнула. Чтобы она не погасла, мы перешли на шаг, закрыли её от ветра ладонью. И, добравшись до мерзавца, который по-прежнему ничего не замечал, кроме Сорокиной, бросили спичку ему на ботинок.

Тот моментально вспыхнул. Потом занялась вторая нога. И все выше, выше пламя двигалась, росло, шевелилось и крепло. Через несколько секунд робот превратился в полыхающий костер. Тогда-то он и заметил, что сзади кто-то есть. Валентин не спеша развернулся, с удивлением поглядел на меня и сделал несколько шагов вперёд, как будто ещё не до конца понимая, что объят пламенем. Затем упал на колени, как рыцарь, собирающийся поднести подарок прекрасной даме. Взметнулась снежная пыль. Он больше не двигался.

Я взял Машу за руку. Мы отбежали на безопасное расстояние. Неизвестно, что произойдёт с механизмом из-за возгорания.

Я был прав. Через несколько минут раздался взрыв. В стороны полетели стальные осколки. Чёрный дым повалил в небо из разорванного остова того, кто совсем недавно предлагал Маше цветы и любовь.

Прибежал испуганный сторож с огнетушителем, но понял, что тушить уже нечего. И помчался к заместителю директора докладывать о происшествии.

Мы стояли, обнявшись, и заворожённо смотрели на стальное чудовище. Кожа с него окончательно слезла, голова лопнула, из разорванного брюха торчали странные механизмы. Там же плавилась ряды микросхем.

Постепенно собрались рабочие и начали нас расспрашивать. Мы подробно, обстоятельно рассказали обо всём, что произошло, обо всём, что знали, утаив, впрочем, нашу способность слышать мир.

Несколько раз пришлось этот рассказ повторить в отделении милиции, где к нам отнеслись с недоверчивостью. Капитан милиции разводил руками, вздыхал, говорил:

— Если бы вы пришли ко мне с такой чушью — и слушать бы не стал, психушку бы вызвал из города. А теперь просто не знаю, что делать. Механизм, так

сказать, наличествует в природе. Тут надо КГБ подключать и выяснять, каким образом вражеский железный элемент попал в нашу страну. Нужно уведомить ЦК партии, вдруг ещё такие есть, вдруг врагов среди нас уже много, а мы не осведомлены о них.

— Не волнуйтесь, — твердо сказали мы, — больше таких нет.

— Откуда ж вы знаете?

— Да так, шестое чувство.

— Шестое чувство, — усмехнулся милиционер, — все бы вам шуточки шутить, а у меня вон какие сложности нарисовались.

В тот же день приехали две чёрные «Волги» с работниками из высшего эшелона советской безопасности. Заводчан не подпускали к объекту, как его теперь называли. Территорию огородили, поставили своего охранника. Местность тщательно обыскали. Все части робота упаковали в мешки и погрузили в багажник.

Несмотря на беспокойное утро, мы с Машей приступили к выполнению привычных обязанностей. Я точил детали. Она занималась наладкой электрического прибора. Все уже знали, что мы сделали. Рабочие перешептывались, бросали в нашу сторону восторженные взгляды. А мне было стыдно, я совсем не заслужил такого внимания. Ну и что, робота обезвредил. Любой на моем месте поступил бы так же. Еремеев и Орлов хлопали меня по плечу, поздравляли. Михалыч подошел в середине смены и сказал:

— Сходи-ка, брат, к замдиректора. Ждут тебя.

— Кто ждёт? — спросил я.

— Они, — со значением ответил инженер.

В кабинете меня дожидался коротко стриженный мужчина в чёрном кожаном плаще с уймой хлястиков. Маша находилась уже там. Он пожал мне руку, а потом громко произнёс:

— Молодец! Такие люди нам нужны. Начальник КГБ лично уполномочил меня вручить вам ордена.

— Да за что же нам ордена? — удивились мы.

— За гражданское мужество, — произнёс комиссар.

И протянул две корбочки. Я открыл. На золоченом ордене сияющими буквами было написано: «За гражданское мужество».

Высокий гость завода рассказал, что орден можно получить не только на войне. Бывают гражданские награды. И выдаются они в исключительно случаях. Таких, например, как наш.

— Большое вам спасибо, — пробормотали мы.

— Меня благодарить не за что. Благодарите самих себя за то, что не растерялись, придумали план, подготовились, выдержали.

— От завода будет вручён ещё один маленький презент, — сказал находящийся здесь же Михалыч, — вы узнаете о нем завтра на торжественном собрании.

Владимир спускался в цех. В кармане у него, будто спрятанное солнце, лежало самое драгоценное в мире сокровище — правительственная награда. Было страшно к нему прикоснуться, брать в руки, доставать. А вдруг сверкнёт так, что ослепит. Хотя на самом деле ослепить оно может лишь врагов советского строя.

В общезитии к нам сразу подскочил вахтёр.

— Наслышан о вашем подвиге, молодые люди.

— Да каком подвиге, ну что вы.

Отмахнувшись, вахтёр продолжил:

— Я всегда знал, что-то с ним не так, чудной он какой-то, Валентин этот. Все люди как люди, а он... Единоличник, одним словом. Вас, между прочим, ждут, — вспомнив, воскликнул вахтер.

— Кто? — спросили мы.
— Узнаете, — понизив голос, произнёс он и загадочно улыбнулся. — И к тебе, Маша, пришли. И к тебе, Владимир.
Да кто же может к нам прийти? — рассуждали мы, расходясь по этажам. Наверно, снова милиция. Забыли где-нибудь в документе расписаться.
Но это была не милиция.

На моей кровати кто-то лежал. Длинные ноги, стрижка ёжиком, вытянутый нос. Да это же брат.

— Женька! — закричал я.

Он проснулся и, ничего не понимая, уставился на меня.

— Володька! — тряхнув головой, произнес он.

Мы обнялись.

— Ты прости, — стал оправдываться гость. — Не выспался. А тут постель мягкая, удобная. Думал, пять минут подремлю. А лёг — и в сон провалился.

— Да чего ж ты передо мной оправдываешься, — оборвал я, — спи хоть всю ночь, мне не жалко.

— Ну, уж нет, — сказал брат, — теперь я ни за что не засну. Давно с тобой не виделась. Поговорить хочется.

И мне хотелось поговорить. Полночи мы обсуждали наш город, старых знакомых, стройку. А ещё я поведал о работе, чем очень удивил и взволновал брата.

И он меня огоршил не меньше, сказав:

— А помнишь дружка своего, Эдуарда?

— Как же, помню. Но не друг он мне, а так.

— В тюрьму он попал, — угрюмо произнёс собеседник.

— Как в тюрьму? За что?

— За торговлю ворованными вещичками. Был в компании один, клетчатые рубашки в порту подворовывал. И Эдика попросил поторговать. Конечно, не объяснив, что вещи-то краденые. Незнание, как известно, не освобождает от ответственности. Шайку накрыли за неделю. Эдуард получил год колонии.

— Да уж, — вздохнул я, — парень-то неплохой был, только запущенный. Может быть, ему посидеть и полезно. Выбьет из него тюрьма всю иностранную дурь. Глядишь, и своим человеком выйдет, советским, делом займётся.

Почти до утра беседовали мы с братом. В то же самое время в своей комнате на другом этаже беседовали Маша Сорокина с мамой. О чем я уже давно знал. Мама и брат приехали вместе. Товарищ Сорокина к нему позвонила по соседски поинтересоваться, как там Володя. Разговорились и решили проведать близких.

Сорокина-старшая восхищалась тем, как чисто и уютно в комнате.

— Ну, Маша, ты настоящая хозяйка. И подметено, и самовар на столе. Как ты выросла у меня, как похорошела.

— Да ну уж, мама, что ты говоришь, похорошела.

— А ведь вправду похорошела! Вон как глаза блестят, и коса какая стала, чай, не голодаешь тут. Нашла уже, поди, себе кого-нибудь?

— Ну что ты, мне об этом думать рано. Работа прежде всего. Но вообще-то есть один человек на примете.

— А хороший он?

— Хороший, ещё какой. Настоящий советский честный человек.

— Ну, так познакомь нас.

— Ещё не пришло время.

— Вот ты какая, загадками говоришь.

Пожурила мама дочку и о своём житье-бытье рассказывать стала. Из нашей беседы с братом Маша уже знала о судьбе Эдика, поэтому не сильно удивилась, когда мать, понизив голос, эмоционально рассказала обо всём этом.

— Ты ведь с Эдиком дружила?

— Если и дружила, то наша дружба быстро распалась. Я давно раскусила его натуру.

Мама принесла любимое Машей малиновое варенье и большую пачку рассыпчатой халвы.

— Соскучилась, поди, по халве? Попробуй, какая. Тает на зубах!

— А что ж вы, девчата, уши навострили. Думаете, не замечаю? А ну-ка живо взяли кружки, будем все вместе пить чай с вареньем. И халвы попробуйте.

Началось позднее чаепитие. А потом мама рассматривала орден, восхищалась дочерью и журила её.

— И почему на тебя, Машка, сплошные приключения сыплются. В детстве в пещеру полезла, чуть не утонула. Сейчас вот жертвой робота стала. Обливается моё сердечко кровью.

— И вовсе не сплошные. Наоборот, я очень скучно живу. А если что-то и происходит, то раз в пять лет, не чаще.

— Да лучше бы никогда не происходило! Не дай боже, что-то с тобой случится.

— Тогда я со скуки умру, — засмеялась Маша.

— Напротив, скука жизнь продлевает.

Так они весело спорили и пререкались ещё долго. А утром мы, получив кучу наставлений от родственников, сонные, с больной головой, поплелись на собрание.

В зале яблоку было негде упасть. Рабочие, шумно переговариваясь, ждали нас. Едва мы вошли, раздались бурные аплодисменты. Кто-то закричал: «Молодцы!»

Меня, надо сказать, такой прием смутил. Я потупился и, стараясь не обращать ни на кого внимания, сел на свободное место. Маша, испытывая точно такое же смятение, опустилась рядом.

Слово взял грузный старик, председатель комиссии.

— А ведь и правда молодцы! — воскликнул он, обращаясь к замершей аудитории. — Кто бы мог подумать, что в наши ряды затесался враг. Пока ещё не всё мне ясно в этой истории, пока ещё не поставлена последняя точка, но знайте, — он повысил голос, — если есть здесь те, кто причастен ко внедрению на завод железного чудовища, то на свободе вы гуляете последние деньки.

— Органы разберутся, — сказала сидящая рядом с ним пухлая женщина, — никто безнаказанным не уйдёт.

— И всё-таки, — продолжил старик, голос его смягчился, — собрались мы здесь для того, чтобы чествовать двух замечательных рабочих, которые помогли выявить и обезвредить кошмарного, беспрецедентного шпиона. Володя Бурмин, Маша Сорокина. Я прошу вас встать.

Мы поднялись. Рабочие ещё сильнее зарукоплескали. Старик некоторое время молча, с улыбкой смотрел на нас, словно любуясь.

— Сознаете ли вы, — наконец произнёс он, — какое великое дело совершили?

Я пожал плечами.

— На прошлом собрании я, признаться, не поверил тебе. Думал, обманываешь, выгораживаешь директора, личной выгоды ищешь. А оно вон как обернулось. Но ты и меня пойми. Мы от руководства нагоняй получили. Не знали, что делать, — виновато закончил он.

— Я вас ни в чем не виню и никогда не винил, — твёрдо сказал я, — вы действовали согласно инструкциям. Наоборот, это я невесть что возомнил о себе. И если все же сумел найти вредителя, то лишь по случайности.

— Не принижай себя, Бурмин, — сказал старик. — Ты и Маша достойны самой высокой награды.

— Нам не нужно наград, — слабо произнесла Сорокина, — нам достаточно того, что мы совершили доброе дело, принесли пользу Родине.

— Родина никогда не остается в долгу, — жестко ответил председатель. — Награду вам вручит ваш хороший знакомый.

Открылись входные двери, и в переполненный зал медленно вошёл Матвей Тихонович. Он был в нарядном костюме. На груди висели медали. Вместо того чтобы занять пустующий стул среди высоких чинов, директор подошел к нам и без единого слова обнял меня. Потом горячо пожал мне руку и потряс её. Затем обнял Машу и пожал её ладошку.

— Дети мои, родные мои... — пробормотал он.

От избытка чувств у него не нашлось слов. Он вздохнул.

Я заметил, как директор украдкой стёр слезу.

— Век буду вам благодарен, — дрожащим голосом произнёс он.

— Ну что вы, Матвей Тихонович, — сказал Володя, — мы поступили так, как нам велела гражданская совесть.

— Далеко не у всех она есть, — парировал директор. — Я был на войне. Я командовал ротой. И с полной уверенностью заявляю: на вас в бою положиться можно.

Краска бросилось мне в лицо. Положиться в бою! Это самая высокая похвала, какую только может человек высказать другому человеку.

— Теперь стройка будет продолжена, — произнес Матвей Тихонович, — и доведена до конца. И всё это благодаря вам. В знак признательности мы решили сделать вам скромный подарок. Но не материальный, ведь что такое вещи — они не долговечные, бессмысленны и не нужны строителям коммунизма. Нет, награда получше. В общем, мы решили назвать стройку в вашу честь: «Бурмин-Сорокина».

Хлынули бешеные аплодисменты. Я стоял, как оглушенный, но я и в самом деле был немного оглушен от громких хлопков. Внутренний голос Маши ликовал. Она светилась от счастья. От счастья светился и я.

Я видел её глазами свое восхищенное лицо.

Той ночью Маше приснился сон

Часы и дни, недели и месяцы. Пройдут, проплывут, пролетят, промелькнут. И мы будем меняться. Неумолимо и неостановимо. Мы будем видеть во всех временах одновременно. И будущее для нас перестанет быть загадкой, и прошлое никогда не спрячет от нас что-то важное и значительное. Найдут мерзавцев, внедривших экспериментального американского шпиона в социалистическое производство. Ими окажутся два крупных чина из строительного комитета. Приговоренные к высшей мере, они не раскаются и не признают своей вины.

А мир будет стремительно меняться, стройка расти, и линии электропередачи вытянутся над полями и дорогами Чемала.

Ты будешь сидеть над чертежами и готовиться к поступлению на вечернее отделение института. Я буду приносить тебе горячий чай с малиновым вареньем и ерошить твои жёсткие, непослушные волосы. А по вечерам мы будем гулять и удивляться тому, как быстро изменилась дикая природа Алтая под обновляющим воздействием советского человека.

В один из таких вечеров ты станешь читать стихи Есенина. И я буду слушать и кивать, соглашаясь с каждым словом великого поэта.

На тёмно-синем небе выступают крупные звезды. И мы остановимся под фонарным столбом. И я посмотрю вверх: фонарь не излучает свет. И тихо спрошу: когда? И ты улыбнешься и ответишь: может быть, сейчас.

Ты сильно прижмешь меня к себе. Я не увижу, нет, почувствую, как ты губами ищешь мои губы, потому что мои глаза будут закрыты. Даже сквозь закрытые веки я замечу небывалую яркость и вдруг, открыв глаза, оцепенею в немом изумлении.

Цепочкой, один за другим, начнут загораться фонари и лампы. И тёмный вечерний мир преобразится.

ГЭС запустили, скажешь ты. А я ничего не отвечу, я буду молчать и любоваться огнями. Ты скажешь, помнишь, я говорил про константу, о том, что это изменяющееся начало, мерило всех вещей, о том, как мы близки к ней, потому что мы советские люди. Так вот, скажи, Машиа, чувствуешь ли ты, что после запуска ГЭС в СССР стало что-то происходить?

Я отвечу: чувствую какие-то смутные, неотчётливые движения. Может быть, люди радуются тому, что пришел свет к отсталому народу.

Ты прижмешь меня к себе и скажешь: возможно, честные трудящиеся переходят в константу. И громким шепотом добавишь: Машиа, я хочу тебя поцеловать. А я рассмеюсь и просто возьму тебя за руки.

И в этот момент мы начнём отделяться от земли и подниматься наверх, не ощущая ветров, не зная расстояний.

Тебе не холодно? Нет. Почему мы летим, куда летим? Не знаю, мне кажется, мы изменяемся.

И я взгляну вниз и не увижу ног и тел. Мы станем потоками света. Я потеряю свой поток в твоём потоке и забуду, где кончаешься ты и где начинаюсь я. И тогда я увижу, что отовсюду поднимаются искристые лучики.

Советские граждане, пойму я, гидроэлектростанция ускорила какой-то процесс, идущий в организмах.

И теперь мы все превратились в свет.

Мы чисты и прозрачны друг для друга. Для нас нет ни времени, ни расстояния, ни формы, ни образа. И только звезды выше нас. Значит, нам есть к чему стремиться.

На Земле мы обрели свободу и счастье. Что держит нас здесь? Что мешает нам собраться в огромный сверкающий световой луч и ринуться к звёздам?

Любовь к Родине и ненависть к буржуазному строю.

Мы верим, мы знаем, что рано или поздно буржуазия будет сметена и раздавлена. И преображенное человечество, собравшись в гигантский световой поток, хлынет к звёздам.

Иван Плотников

Картошка ложится в горячую землю...

На честном молчании держится слово,
и честный порядок хранит алфавит.
И рыба поет на крючке рыболова,
когда рыболов словно рыба молчит.

Молчанием полые движутся волны,
строфа подгоняет другую строфу.
Плывет рыболов и, отточием полный,
подумает честно: «Куда ж я плыву...»

Я помню измененья окончаний,
с которыми основы не нужны.

Огонь идет потухшими свечами,
и в воздухе невидимые швы
стальным порезом распускает сокол
на цвет и тень прозрачную земли,
так тишина террариумных стекол
ломается о взгляд немой змеи.

Ты слышишь, новолунными ночами
горит оттенок, потерявший цвет.

Я помню измененья окончаний
пернатого молчания в листе.

Иван Плотников (1993) — окончил институт иностранных языков Уральского государственного педагогического университета (специальность — английский язык). Аспирант УрГПУ. Работает учителем в школе. Печатался в журнале «Урал». В 2021 г. стал лауреатом премии им. Александра Верникова «За молодую зрелость». Живет в Екатеринбурге.

Непривычен звук природный,
оттого звенит в ушах.
Дождик утренний холодный
катит серебристый шар.
И едва бежит по коже
электрический мороз,
а гроза начнется позже,
утром не бывает гроз.

Лес

I

Каплю стряхнет ветка,
рвется дождя накидка.
Рек неподвижных сетка,
тихой реки нитка.

Гербарий живых растений
с ниткой земных ветров,
пишешь на расстоянии
двух слов.

II

Листьев немая дрожь,
ветки пустой размах.
Молча погоды ждешь,
только темно в глазах.
Долгий застывший дождь
ниткою соберешь.

III

Целятся хвойные дротики
в яблоко бледной руки,
медленные вертолетики,
листьев сухие звонки.

Так тишина грозовая,
сетку ветров бросая,
землю делит на языки —
места и времени позвонки.

Словно ветер твоими руками
изменил фотоснимок простой.
Находя незаточенный камень,
разбивается банка с водой.

Собираются в рамку осколки.
На лице не порез, но излом
высыхающей маленькой волги,
и вода утекает в стекло.

Так в палитре обратной подводка мерцает на ватке,
золотой отпечаток беспечно прошедшего дня,
завершается лето, и солнце вбирает остатки
светоносных картин, сохранив натюрморты огня.

На деревьях уже созревает спрессованный воздух,
вот еще одно яблоко с ветки готово упасть.
Небеса, темнотой умываясь, уходят и в звездах
оставляют от света всего невесомую часть.

ночь подступает волнами смотрит во все глаза
я не увидел молнии слышно идет гроза

словно одежду новую носит небесный грипп
листья ложатся на воду и превращаются в рыб

переведи дыхание на алфавит угля
темное отражение носит в себе земля

как не свое безумие как незаметный свет
вечное новолуние в небе прозрачный след

словно помехи радиации в слух перелитый блеск
это галлюцинации от перемены мест

времени цвета воздуха вечно пустая сеть
эти слова беспочвенны как и другие
все

Где осень таится, желает грибник
узнать в лабиринте закопанных книг:

картошка ложится в горячую землю,
и дождик течет по наклонному стеблю

в холодные листья. В пространстве одни
грибник и земля этой музыке внемлют

и переплетают обратный родник.

И чернила невидимы,
если пишешь на весу.

Я не люблю выбирать слова,
Но, заканчивая книгу
«я познаю мир»,
замечаешь бумажный порез
как последнюю метку познания.
Разрывается связь меж тобой
и миром, что ты познавал,

чтоб выбирать не слова,
но какие писать на весу.

Зима

1

Проводишь кистью так,
чтобы цвета
пространства чистые
на остальном листе
покрыли белым цветом.

2

Вот хочешь сказать, что снег —
это звезды,
но получается третье слово,
что-то вроде звездного снега
или снежной звезды.

3

или дневная луна,
чья ненужность рябит в глазах,
что едва поднимаешь в мороз.
Видишь: стихи —
такой же оксюморон.

4

Снег становится белым цветом,
листом, проступающим под рисунком,
двумерным воздухом
и оболочкой для всех предметов,
что в слове можно уместить.

и вот слова,
не помня о своем значении,
смотрят недоверчиво друг на друга,
собранные в стихи.

как животные разных частей света
в одном зоопарке,
обнаружив соседство,
молчат.

и воздух тогда тяжелее,
чем крик или щебет,
и пробелы длиннее,
чем выученный алфавит.

Пусть говорящий за двоих
всё время начеку,
но мертвой бабочкою стих
приколот к языку,

другой неслышим, невесом,
подобен журавлю.
Привидится увидеть сон,
в котором я не сплю,

где птица тихая сидит
в несомкнутых руках,
и мой лунатик говорит
на разных языках.

Константин Абаев

Параллельный монтаж

Рассказы

Атрофия воли

...В первое своё утро в Нью-Йорке — где-то около восьми — я неверными шагами направляюсь из номера к лифту отеля и ощущаю, как глаза чуть-чуть не успевают за поворотами головы, потрескивающей от восьми коктейлей «Кровавая Мэри», выпитых накануне в компании коллег — журналистов в культовом стейкхаусе «Smith & Wollensky», что на углу Третьей авеню и 49-й улицы.

В лифте, почти упираясь коротко стриженной головой в потолок, стоит здоровенный негр в сиреновой униформе, словно брат-близнец актёра Фореста Уитакера, успевшего на тот момент сыграть и во «Взводе», и в «Кровавом спорте», и в «Дневнике наёмного убийцы», и, само собой, в байопике «Птица» — о гениальном джазовом саксофонисте Чарли Паркере.

Мой взгляд не без усилий фокусируется на матовом лице служащего отеля, я вежливо киваю.

— Господь в помощь! — по-русски приветствует меня «Уитакер», расплывается в добродушной, ожидаемо белозубой улыбке и с достоинством отвешивает полупоклон.

— Благодарю... — бормочу я, вытаращив глаза. — So, it turns out, that you speak Russian? (Выходит, вы говорите по-русски?)

— Чут-чут, — он хитро прищуривается и продолжает уже по-английски: — And let me tell you something, sir! И вот что я вам скажу, сэр! Так вышло, что меня, можно сказать, воспитала пожилая добрая русская женщина, её звали Полина Петровна. Она была дочерью офицера русской царской армии, так-то! — Он со значением причмокивает губами, взгляд становится мягким, веко как-то тяжело нависает над левым глазом, делая его ещё более похожим на актёра Уитакера.

Мы выходим из лифта в холл.

— Ваш английский хорош, вы говорите без акцента.

— С раннего детства слушал радиопередачи о джазе на английском...

— Вы ребёнком интересовались джазом?! Ничего себе!

— Так вышло, с лёгкой руки маминого дяди...

— Он был музыкантом? Был одержим джазом?

— В каком-то смысле. Я хотел сказать, и джазом тоже. Он был, знаете ли... сумасшедшим. Натурально.

Константин Абаев — советский и российский журналист, режиссёр, сценарист, художник и продюсер. Родился в 1965 году в Тбилиси. Окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал на «Первом канале» корреспондентом, комментатором и ведущим с 1987 по 2000 год. Автор и режиссер фильмов «Черная кошка» (1990), «Горячие дни в октябре» (1993), «Спиридон» (2016) и «Соло» (2018).

...В молодости Боря был жгучим брюнетом: стильно, на пробор, зачёсанные волосы, аристократические черты лица, «греческий» нос. Бабушка Лиза, старшая сестра моего деда Григола, не упускала случая с видимым удовольствием провозгласить:

— Мы, Парастаевы, красивая фамилия!

— А Абаевы? Абаевы что, некрасивые?! — неизменно встревал я лет до семи.

— Абаевы — они разные бывают: и красивые, и не очень... Как и любые другие фамилии. Другое дело — мы, Парастаевы, — гордо возвышала голос бабушка Лиза. — Парастаевы хороши собой все без исключения!

— Зато мах уæздан мыггагæй ‘стæм!, — не сдавался я. — Зато Абаевы — благородная фамилия!

— Ну, а что вам ещё остаётся, кроме как быть благородными? — снисходительно пожимала она плечами.

Ну, так вот, Боря был средним братом: он был младше дедушки Григола на двенадцать лет, но на пару лет старше Шуры, Александра.

Впрочем, у них были ещё сестры-близняшки Тамара и Дина, но... Но они грудничками погибли в 1920-м от голода и холода и были похоронены прямо на перевале, когда тысячи осетин-южан, старики, женщины и дети, спасаясь от резни и погромов, учинённых грузинскими меньшевиками, уходили на север... Моему деду тогда было восемь лет, бабушке Лизе — тринадцать.

Когда Советская власть победила, семья моего деда покинула родное разорённое Кашиата в поисках лучшей доли, за сутки добравшись до Тифлиса на повозке, запряженной парой быков.

Позже мой прадед Алекси устроится стрелочником на железной дороге и получит тесную двухкомнатную квартиру в кирпичном трёхэтажном бывшем доходном доме на Потийской улице в Дидубе. Там они и будут жить все вместе, пока в 1938-м круглый отличник и надежда семьи Боря не заболит: учёба в русской школе, влюбленность в красавицу-одноклассницу Ирину Кобзеву, которую он будет вспоминать до конца своих дней, останутся в прошлой жизни навсегда, а он с мамой, моей прабабушкой Джиеовой Нино, переедут в Дзау.

От колхоза ей дадут участок на равнине, откуда в ясную погоду будет виден покинутое Кашиата, стоящее на горе с вековыми священными дубами над каменными надгробьями родового кладбища...

Если честно, в детстве я считал Борю самым нормальным из всех знакомых мне взрослых: с ним можно было разговаривать о чём угодно на понятном мне языке.

Ну, например, с кем, как не с ним, в Дзау можно было поговорить о вампирах и нечистой силе, которыми с наступлением темноты кишмя кишели окрестные леса и огороды?

— Кося, — начинал Боря, лёжа в тени грецкого ореха в летних, персикового цвета, штанах и белых парусиновых туфлях. — Вот ты читал «Вия» и Проспера Мериме о вампиризме — это похвально. Но всё это — детский сад по сравнению с рассказом «Семья вурдалака» графа Алексея Константиновича Толстого! Вот это правда страшно, послушай...

И он по памяти, покачивая ногой в туфле на босу ногу, читал отрывок, от которого у меня шевелились волосы на макушке:

— «Тысячи безумных и ужасных образов, кривляющихся личин преследовали меня. Сперва Георгий и брат его Пётр неслись по краям дороги и пытались перерезать мне путь... Горча, опираясь на свой кол, делал прыжки, подобно тирольцам, что у себя в горах таким путём переносятся через пропасть...»

— Боря, — цепенел я от сладкого ужаса, — а кто такие тирольцы? Тоже вурдалаки?

— Ну, наверняка среди них и вурдалаки встречаются, куда же без них? — веселился Боря. — Это народ такой есть, живут в Италии, говорят по-немецки...

— Боря, а у нас, в Джаве, — есть вурдалаки?

— Конечно, есть, — Боря принимал серьезный вид.

— Кто?

Он выдерживал долгую паузу, делал мне знак приблизиться и шептал на ухо, оглянувшись по сторонам:

— Писыра жену-старуху знаешь?

— Кто же её не знает? Но она же грузинская княжна... — У меня перехватывало дыхание от страшной тайны.

— А что, разве княжна не может быть вурдалачкой? — деловито осведомлялся книгочей Боря. — Ну, а если честно, дела обстоят совсем плохо, — ты удивишься, когда узнаешь, сколько у нас вампиров и упырей...

— Сколько, сколько, Боря?

— Каждый второй! — Он хохотал так, что поднимали лай все соседские собаки.

Приступы случались трижды-четырежды за год. Им предшествовали периоды активности и эмоционального подъёма: Боря живо общался, много гулял, бродил в окрестных лесах, ходил к родственникам в Хвце, ездил в Цхинвал, в Тбилиси.

Мама вспоминала, что как-то раз, когда ей было лет 12, он заявился к ним на Потийскую с утра пораньше и разбудил весь дом, исполнив во дворе под окнами неаполитанскую песню «Скажите, девушки, подружке вашей...». Пел он очень красиво, обладая лирическим тенором.

Спустя год-другой, уже в Дзау, Боря познакомился с весьма привлекательной пионервожатой в лагере 31-го Тбилисского авиационного завода имени Г. Димитрова и пригласил на танцы в санатории, что располагался неподалёку. Случилось так, что красивая пионервожатая, очарованная брюнетом, читавшим ей стихи безостановочно в течение многих вдохновенных минут, поделилась этим с пионеркой, моей мамой...

— Кажется, я знаю молодого человека, назначившего тебе свидание, — догадалась мама. — Не ходите, Валя... Это мой дядя...

— Но почему, Жанна?!

— Он очень хороший, добрый, красивый, начитанный и умный... Он может произвести впечатление. Но он болен, Валя...

Бедное сердце пионервожатой было разбито. Весь вечер она просидела в палате, украдкой наблюдая из-за занавески за волейбольной площадкой, где её ждал и курил папиросу за папиросой жгучий брюнет, как всегда, одетый с иголочки...

Дни подъёма неизбежно сменяли две-три недели глубокой депрессии: Борис сутками лежал неподвижно на своей железной кровати, не произнося ни слова, как правило, с закрытыми глазами. А когда он изредка вдруг распахивал их, в них, медовых, отражались то нестерпимая душевная боль, то ему одному ведомый ужас...

Как-то раз, незадолго до очередного приступа, путешествуя, Борис оказался в Тбилиси и на Мейдане познакомился с армянином Гариком, студентом Тбилисской консерватории. Пропустив по стаканчику вина в хинкальной, отправились к Гарику в Соллаки в гости.

У Гарика дома был раритетный альт-саксофон 22-й модели Henry Selmer Paris, и владел им студент весьма недурно.

— Как называется эта вещь, что ты сыграл?

— «Autumn in New York», «Осень в Нью-Йорке»... Слышал бы ты, Борикджан, как её играет Чарли «Птица» Паркер, э-э-э...

— А где ты мог слышать, как он играет, Гарик?

— Почти каждую ночь слушаю «Голос Америки», «The Jazz Hour», «Час джаза», с Уиллисом Коновером, там у него — весь джазовый мир, ахпер... Давай сегодня послушаем, оставайся.

— Слушай... А трудно научиться играть на саксофоне?

Борис зачастил в Тбилиси. Он учился очень быстро. Но после каждого нового приступа приходилось начинать чуть ли не сначала: играя разученную было «Осень в Нью-Йорке», он вдруг как бы спотыкался, а то и вовсе впадал в ступор, понимая, что навык за время обострения словно стирается в памяти. Это было невыносимо...

Боря сапожничал, зарабатывая не великие, но какие-то деньги. Помогал дед. Появился радиоприёмник, и теперь шесть раз в неделю в маленькой комнатке с белеными стенами поздним вечером раздавались позывные, неизменная «Take The «А» Train» Билли Стрейхорна, и неповторимый голос Уиллиса Коновера: «Time for Jazz! Willis Conover in Washington, DC, with «The Voice of America», Jazz Hour...»

Помню, как весной, кажется, в апреле, к нам пришла бабушка Лиза, угостилась мамиными пирогами и цъади, чуреком из кукурузной муки, по обыкновению своему обещая в следующий раз уж точно принести цъади с сыром («Без сыра суховато получается, Жанна»), и сообщила, что Боре сделали операцию на мочевом пузыре, но не слишком удачно вырезали опухоль.

Спустя какое-то время пришёл и Борис, осунувшийся и какой-то... маленький, что ли. Долго о чём-то беседовал с мамой, сидя за столом на веранде. Потом, когда она вышла ненадолго, вдруг сказал мне:

— Жалко всё-таки, Кося, что мне не пришлось побывать в Нью-Йорке. Я бы прогулялся по Центральному парку. Осенью. Осенью там, должно быть, живописно. Посидел бы на скамейке, посмотрел бы на красивых женщин. Особенно на мулаток и чёрных! Кося, тебе нравятся мулатки и чёрные? И очень жаль, что давно закрылся «Бёрдлэнд». Клуб был такой на Манхэттене джазовый, знаешь? Нет? Его так называли в честь Чарли Паркера. Ну, так он закрылся в год твоего рождения, да... А я толком не смог выучить даже одну вещь на саксофоне. И знаешь почему? Я недавно узнал, как это называется. Атрофия воли. Атрофия воли, Кося...

Он стал прощаться, и я точно помню его последнюю фразу: «Ну, до нового прибытия в Джаву! Будем с тобой слушать джаз по ночам!»

На стуле, где он сидел, в самом его центре, в углублении, осталась маленькая лужица мочи. Последствия неудачной операции, знаете ли. Мама сказала, мол, надо бы, наверное, вынести стул. Но я вызвался отмыть его во дворе под краном. Я мыл этот чёртов стул, и почему-то щипало в носу.

...Я вернулся в отель глубокой ночью.

У лифта меня встретил «Уитакер».

— Как провели время, сэр? Насыщенно?

— Прогулялся по Центральному парку. Сидел на скамье и глазел на красивых женщин. На чёрных и на мулаток — в особенности.

— Вам нравятся чёрные женщины?

— Очень. А потом отправился в джаз-клуб «Birdland». Сумасшедший мамин дядя, которого я упомянул утром, сокрушался, что его закрыли в 1965-м. Он умер в 77-ом и не мог знать, что в 1986-м клуб откроют снова... Слушайте, я тоже сейчас умру, если не скажу этого: вы так похожи...

— О, да! На Фореста Уитакера, сэр! Я устал отнекиваться и теперь всем говорю, что он мой брат-близнец...

Параллельный монтаж

— Как ты узнал меня?

— Сначала — по голосу. Потом — по родинке...

— Но ведь столько лет прошло!

— Пять лет.

— Ты же был совсем ребёнком! Тебе и теперь-то семнадцать, пацан совсем...

— Я тогда, на сеновале, пялился на звёздное небо, когда вы туда с Хасиком завалились...

— Что?! Ты всё видел?!

— Слышал. И музыку помню из магнитофона твоего, из «Филипса».

— Слышал он, ёлы-палы... И что же? Что потом?

— Потом вы ушли спать, а я...

— Ну?

— Ну, это... произошло впервые. Как землетрясение.

— Где-то я уже встречала эту метафору. Примни, пожалуйста, подушку, я не вижу твоего лица...

— У Маркеса, наверно, читала, в «Сто лет одиночества». Только там — о реальном сексе, а не о первой подростковой мастурбации.

— Точно! Диалог Аурелиано и Хосе Аркадио! Слушай, анекдот вспомнила. Пожилая дама — подростку: «— И сколько тебе, Ваня, годков-то? — Двенадцать. — Хм-м... И что же ты, Ваня, дроишь? — Угу. — Ну, да, трахаться тебе, Вань, пока рановато!» Что, не смешно?

— Так, не очень.

— Да, хорошо там было тогда, в Джаве, красиво: горы, речка прозрачная с форелью, кукуруза жареная на берегу, ночи тёмные-тёмные! И светлячки... Джа-ва... Джа-ва... Джава! Костя!

— Что?

— Поцелуй меня...

...В трамвае я задремал и проехал не только свою, но и следующие три остановки. Или даже четыре?.. Словом, проснулся, когда объявили психбольницу имени Кашенко. Выскочил, и — повезло, пошёл колючий осенний дождик, — успел запрыгнуть в 26-й, идущий от Шаболовки в обратную сторону, к ДАСу. Дом аспиранта и стажёра МГУ на улице Шверника — это наш дом родной, двухкорпусный «катамаран», соединенный культурно-развлекательным блоком: кинозал, «тренажёрка», бассейн, столовая, кофейня, в общем, экспериментальный проект, жильё светлого будущего — уже сегодня лучшая общага в Европе! И, кстати, каждому зайцу в лесу известно, что как раз мимо нашего ДАСа проходит похмельный Мягков — Лукашин в «Иронии судьбы...», читая за кадром «Балладу о прокуренном вагоне». Ну, это — «...с любимыми не расставайтесь...» и всё такое.

В вагоне по рыжей гриве сразу замечаю красотку то ли с факультета почвоведения, то ли с биофака: сидит всем физическим законам вопреки, лианами переплела свои точёные длиннющие ноги под короткой чёрной кожаной юбкой. У неё нынче не слишком свойственное ей затяжное — аж двухмесячное — увлечение ревнивым шкафоподобным аспирантом-сибиряком. Время от времени у них случаются бурные выяснения отношений, которые завершаются ещё более бурными ночными примирениями. Наутро она появляется в кофейне в огромных солнцезащитных очках и остаётся в них на людях при любой погоде в течение нескольких дней. Затем очки теряют свою актуальность — до очередной ночной сцены после дискотеки, и всё повторяется снова...

На следующей остановке в вагон заходят мои сокурсники — высоченный добряк Серёга Лукьяненко, он же — Балтика, следом Крупа — Олежек Крупица с Вовой Кирсановым. Все трое в мрачном подпитии.

— Здравствуй. Из пивняка мы, Константин, — сдержанно сообщает Крупа.
— Ты чего это схуднул так? — озабоченно оглядывает меня Кирсан. — Как велосипед... Круги под глазами, опять же.

— Это бабы всё, — театрально изгибает бровь Крупа.

— Лёху мы поминали, Кость, — почти шепчет обычно шумный и весёлый Балтика. — Лёху Герасимова. Сожрал его рак все-таки.

— Как это, поминали? — не сразу доходит до меня. — Мы же на днях его навещали дома, на Рафовых «Жигулях», все вместе. Он ничего так, весёлый был. Бледный очень только...

Мы выходим под дождь и почему-то молча стоим какое-то время и мокнем, пока Крупа наконец не предлагает, словно очнувшись, произнося «т» как «ц», на белорусский манер:

— Ну, пошли уже, что ли? Приехали, ё...ная цёця...

— Алло, привет!

— Привет, дружок! Слу-у-ушай, помнишь, ты всё спрашивал про музыку? Ну, ту, на которую ты в Джаве так запал в своём глубоком детстве.

— Ты вспомнила?! Ты вспомнила её?!

— Мало того, я нашла их, эти две кассеты. Мне тогда их Миша, брат мой, привёз из Австралии, он на торговом судне боцманом ходил! Сейчас уже не ходит, в Москве сидит. Чувака того, музыканта, зовут Родригес.

— Как?

— Сиксто Родригес, он о-очень клёвый! Там вся Австралия от него фанатела, Мишка рассказывал!

— Не слышал ни разу. Когда увидимся?

— Давай на будущей неделе? Я тут материал один сняла, вот смонтирую, а в эфире вместе посмотрим, ладно? Мне важно, что ты скажешь: я хочу параллельным монтажом очерк решить, так драматичнее будет... Только ты звони мне, ладно?

— Когда?

— Завтра и каждый день!

...Этой ночью я сплю плохо. Около трёх проваливаюсь-таки в причудливый сон, в котором вижу Джаву. Как ловим с Русланом форель на Чьимасе, потом там же, спустившись вниз по руслу речки, накуриваюсь до рвоты сигарет «Мзиури», потом переходим через наш висячий мост, и я долго стою на нём, глядя на бурный поток, и кажется, что это мы с мостом несёмся вдоль реки, разбегаемся и вот-вот взлетим... Потом вдруг появляется мамин двоюродный брат Хасик с незнакомой девушкой. У неё огромные голубые глаза и родинка над верхней губой слева.

— Знакомьтесь, — говорит Хасик. — Это — наша гостя.

Она протягивает руку, насмешливо улыбается и что-то говорит.

— Кот, ты что, оглох? — хохочет Хасик, и я чувствую, как краснеют мои уши.

— Здорово, Кот! — У неё неожиданно хриловатый голос. Она наклоняется ко мне и целует меня в лоб. У неё сухие горячие губы, очень-очень горячие...

...Я просыпаюсь в начале шести и понимаю, что у меня жар. Ребята, ясен пень, спят. Встаю, подхожу к окну и чуть приоткрываю его, душно. Вижу, как кто-то высовывается по пояс в окне первого корпуса, что напротив, и радостно орёт:

— Лю-у-уди-и!!! Ско-о-олько вре-е-мя-а-а?

— А не пошё-о-ол бы ты на-а-а х...? — резонно вопрошает кто-то из нашего, второго корпуса, но пару мгновений спустя всё-таки смягчается: — Полови-и-ина шесто-о-ого!

— Благодарю-у-у!

Всё-таки приятно жить среди интеллигентных людей, особенно когда заболеешь, думаю я, закутываясь в одеяло...

— Орэзе, детка, — констатирует похожая на большую добрую пчелу участковый доктор Ступникова. — Лечись, через три дня — в поликлинику.

К обеду я сбиваю температуру таблетками до 37 и спускаюсь в столовую. О! Как же это пленительно — болеть в ДАСе! Почти как детстве, а возможно, даже приятней: все девчонки немедленно узнают об этом и несут тебе лечебные варенье, блинчики и котлетки с жареной картошкой. Но всё это будет вечером, когда народ вернётся с факультета, а пока, по дороге в столовую, я встречаю лишь однокурсницу Лену и ловлю себя на мысли, что никогда не видел её в каком-нибудь домашнем халатике и тапочках, что позволяют себе практически все девчонки. Не-ет, не такова Лена! Дико похожая внешне на валлийскую певицу Бонни Тайлер, всегда выглядит элегантно, *comme il faut*, вытянута как струна, и эта походка танцовщицы, силы небесные! И эта манера смеяться, оценив удачную твою шутку, прерывисто, на три такта: «Ах! — Ах! — Ах!» Богиня. Или полубогиня, что, в принципе, одно и то же.

В столовой встречаю Нодара с бутылочкой домашнего ткемали, присланного мамой. Мы с ним не только из одного города — мы оба учились во 2-й школе, только, когда я пошёл в первый класс, он заканчивал десятый. Но я его запомнил: он был обладателем заметной, невероятно густой шевелюры, как у Пьера Ришара времён «Игрушки». Теперь от шевелюры мало что осталось, но это его не портит: мой земляк харизматичен, практичен и мудр.

— Не торопись, надо подождать пару минут, — шепчет Нодар перед раздачей. — Скоро вынесут отличные отбивные...

— А жареные цыплята как же?

— Цыплята будут завтра!

И точно, минут через пять мы уже уминаем отбивные с ткемали.

— Завтра дискотека, — сообщает старший товарищ. — Как там однокурсницы твои? Симпатичные есть?

— Ты их всех уже знаешь.

— Пойдёшь?

— Вряд ли, чувствую себя неважно. К тому же у меня девушка.

— Да ты что?! Кто такая? Почему не знаю?

— Она не из наших. Познакомлю.

— Москвичка?

— Ну, да. Ей 27 лет, она работает на телевидении.

— Ничего себе, она моя ровесница, ты не слишком молод для неё? — веселеет Нодар от обеда и моей новости. — Пойдём отлакируем отбивную кофейком, расскажешь о своей пассии!

Вечером выхожу звонить в холл на этаже каждые полчаса. Не дозвонился, автомат при этом проглотил две двушки. К ночи поднимается температура и першит в горле. Опять снится Джава. И во сне явственно звучат песни из её магнитофона «Филипс», как тогда, целую вечность назад. Готов поклясться, что это именно те песни. Правда, наутро не могу вспомнить ни ноты, как ни пытаюсь.

Весь день читаю «Игру в классики» Кортасара, потом, ближе к вечеру, с Лёнчиком Махкамовым идём в кинозал на «Андрея Рублёва».

— Давай кино снимем, Кость, — вдруг предлагает Лёнчик, прервав молчание после просмотра.

— Шутишь? — улыбаюсь я.

— Нет, не шучу.

К восьми приходит однокурсница N.

— Салют, аульный мужчина, — приветствует она, передавая баночку малинового варенья.

— Я не аульный, мы христиане, у нас сёла, знаешь ли.

— А-а, — тянет N. — Температура есть?
— Нет.
— Пойдём тогда прогуляемся к пруду за Кащенко. Подышим свежим воздухом.

— Давай подышим.

Через полтора часа возвращаемся. На N. красивое сиреневое платье.

— Пойдём потанцуем?

— Пойдём. Позвонить только сначала надо.

Длинные гудки.

На первом этаже, где дискотека, почти нечем дышать. Все потные и возбуждённые.

— А сейча-а-ас, — вступает диджей, — ваша любимая Lipps, Inc.! «Designer Music»!!!!

Через полчаса мы выходим с N. подышать, совершенно мокрые.

— У нас с девчонками осталось немного вина в комнате, давай добьём?

Мы пьем «Рислинг» и идём в холл покурить.

— Сейчас покурим, и мне надо позвонить, — затягиваюсь я сигаретой.

— Как скажешь, первый парень на селе.

Мы плюхаемся в кресла.

— Хорошо пахнешь.

— Это «Анаис-Анаис», — говорит N., берёт мою руку и заводит себе под платье...

Когда ко мне возвращается способность соображать, удивляет какое-то незнакомое ощущение пустоты внутри.

— У тебя очень красивое платье, — слышу я свой голос, заправляя в джинсы ремень.

— Мне его папа подарил, — как-то смущённо и беззащитно улыбается N. Отчего-то от этой её фразы становится невыносимо неловко, почти стыдно за себя, за этот чёртов холл в общаге, лучшей, бл...дь, в Европе — с казёнными креслами и телефоном-автоматом.

«Позвонить», — вспыхивает и тут же гаснет мысль. Уже поздно, завтра.

— Как ты себя чувствуешь? — задаёт N. спасительный вопрос, и я с готовностью жалуясь на болезненный упадок сил...

Во сне опять приходит та самая музыка.

Едва дождавшись девяти, я бросаюсь в холл к телефону. Трубку берут почти сразу, и я начинаю говорить, что чуть с ума не сошёл, что соскучился, что приеду сейчас же. Молчание в трубке заставляет заткнуться и меня.

— Это Костя? — слышу я низкий спокойный мужской голос. — Костя, это Миша, её брат. Всё произошло мгновенно, когда она монтировала материал. Врачи говорят, что лопнул сосуд в голове. Приезжайте, на столе лежат две аудиокассеты для вас. С Родригесом...

...Прошло сорок лет. А память, безжалостная и бесстрастная сука, продолжает монтировать события давно минувшие с нынешними, сплетая новые смыслы, лишая сна, заставляя искать оправдания и презирать себя. И не давая стареть...

Анастасия Волкова

Говорит с ними тихо как спичка

Чертить лицо поверх цветущей лилии

«Да что мне с вами — жить, в конце концов?
Когда без разницы, в какой лежать могиле, —
Нет воздуха и дна в земле отцов.
Ну, так зачем лесные партсобрания,
Где все животные хотят друг друга съесть?»

Чертить по воздуху сплошные придыхания
Передавая крестик или крест
Своей проекции в другом цветущем теле
И просто жить и просто умереть
И просто говорить в какой-то мере
И просто создавать сплошную сеть
Для вещества для кокона сиротства
Дышать водой и мёрзнуть на огне
Испытывать сияние уродства
Порезом на создательной руке
Как много слов не лучше ли молчать
Но всё равно перед землёй и богом
Блаженные не выберут печать
Цветы не выбирают слишком много
Но с неохотой поцелуют лютики
Такие же как мы таких как мы
Что пальцами пыльцу катают в жгутики
Чтоб пережить последствия зимы

Я молоко и слава богу
— Давай-ка жалостней чуть-чуть —
Такую скверную дорогу
Нашла что затемно плетусь

Анастасия Волкова — печаталась в журнале «Плавучий мост», альманахе «Балкон». Постоянный автор журнала «Урал». В 2020 г. стала первым лауреатом премии им. Александра Верникова «За молодую зрелость». Живет в Екатеринбурге.

Как сеточка чтобы всех птичек
И насекомых и людей
Поймать и выбросить вторично
Как смерть но после всех смертей
— О боже мой какие штампы
Ты мажешь маслом по лицу —
Новонебесные тираны
Терзают голову мою
И хорошо что я тупица
Приятнее лежать в лесу
И ждать пока придет лисица
С любовью в маленьком носу

Ты греешь суп который мы варили
Пятнадцать лет семнадцать долгих лет
Из корешков из раковин моллюсков
Из пихты чёрной что росла в Сибири
Испуганно глядит на серый свет
Совёнок чьи глаза как человечьи
Пусть не боится

На конфорке тускло
Мерцает вся проветренная жизнь
Серьезным паром крылья расправляет речь
Мы ждали монотонными курили
Совёнок знал любые голоса
Но говорить не мог в проклятом мире
Совёнкам не придумали слова

Говорит с ними тихо как спичка
В полутёмном горит планетарии
Мы чего-то там вроде искали
Вроде кличку какую-то кличку
Назовешь ее громко в окошко
И все станет нормально нормально
Вместо звёздочек были сережки
Вместо космоса был планетарий

Ты сельский врач среди зимы
Стоишь сощурившись от света
Недалеко твоя планета
Для сердца или головы
Но не для целости твой дом
Мелькает правдой за бураном
И ни луны ни звёзд не надо
Под болью и под фонарем

Устал замёрз сгорели руки
Невидимый под снежной тьмой
Ты думаешь что ты другой
И улыбаешься от скуки
Без слов зайти метели в душу
Чтобы зажечь на кухне жизнь
Как будто бог сказал держись
Или послышалось на стуже
Все инструменты при тебе
Важны ли эти инструменты?
Мир обжигается от ветра
И холодеет на заре

I

Минусы быть тенью

Капают и растекаются на полу
Даже не кляксами просто не светом
Трудно запомнить черты вспоминая по приметам
Белое зарево воздуха в яме в лесу
В левом виске происходит смещение тока с простого на сильное
Только не видно не золото не пересечь
Эту безлюдную серость и проникание в вещь
Плоскостью чувствовать воду но не погружаться как с кинофильмами
Но никогда не удостовериться и не постичь

II

Плюсы быть тенью

Не просыпаться
Быть на границе всех
На границе слов отражением мяса
Бестелесное не болит и не человек
Входить во тьму как домой
Умываться мглой
Ложиться на вещи
Видеть под углом падения
Погружаться в трещины
Земли не испытывать тление
Оставлять равнодушными
Оставлять поцелуи растениям
Что ещё в принципе нужно
Да ведь? застилать глаза
Спасать от лучей отделаться от предметов
Прощупывать до мелочей
Становиться секретом
Оставаться наполненным как слеза

III Итоги

Точки
Соединялись в дыму
И держаться за руки
Значит выжить
Стоим двое
Вокруг затмения
Отбрасываем
Свет

Мм, провинция.
Ничего нет болезненнее и милее глазам.
К маленькому облаку обращаются тысяча лиц
И один деревянный храм.
Такое — ну, вы понимаете, — в снегу и с надрывом,
Любимое до презрения, ужасное до щенячьего счастья.
Домик смотрит печным огоньком, за оградкой криво
Лежат дровишки. А волчонок щёлкает пастью.
Тебе в детстве пели, предупреждали —
Волчок укусит тебя за бочок,
Так что плети себе золотой венок
И оставайся в нашей большой стране,
Которую мы собирали сами.
Ее, в принципе, и не существует —
Придумали место, чтобы сойти с ума
От радости, от пчелящей грусти, от бога — не поминайте всуе.
Сегодня у нас пчелиное греется лето,
А потом надолго, на несколько вечностей, — темнота, зима.
Просто смотри, почувствуй всю эту землю, не получая ответа.
Новые зерна появятся из одного зерна.

Как твои дела в больнице
Расскажи мне посильнее
Расскажи что плачут птицы
За окном тебя жалеют
Или что в лекарствах ток
Чистый теплый точный белый
Врач сказал «не ваше дело»
Или выстрелил в висок
«Может полетаем с горки»
Говорит сосед беззубый
Трогает температура
Ощущением сиротки
Расскажи что снова снова
Снова проливались речки
Или ты бежал по встрече
На свидание с Крысоловом

Повторяется кассета
«Вот бы выкурить морозы»
Поздно — наступает лето
Бежевое от неврозоз

Я поняла со считалкой что-то идёт не так
Водишь пальцем и говоришь наугад
Людей и они падают из гнезда
И у них во рту появляется береста
Изнутри они наливаются как слеза
И теперь навсегда теперь навсегда всегда
Это плохое слово его говорить нельзя
Но тебе все равно и ты говоришь «ВСЕГДА»
И нисколько не легче мы выворачиваемся во сне
Лес растет в животе и кому это нужно мне
Это нужно мне только я выбрана наугад
Солнце трогает снег любовь собирает сад

Нужно сказать что это рунические письма
Этого недостаточно нужно легче
Легче чем точка в глазу посередине сна
Легче чем бабочкино увечье
Нанесенное наличием крыльев
Ты понимаешь легче
Прилагаемых сил
Пыли и легче прикосновения синих
Волнистых волокон или рождения свечкой
Огонька не хочу чтобы он светил
Я не хочу чтобы мне показывали кого бог больше любил
Потому что ничего нет хорошего в высоте
Только земля только растения только в земле
Главное но все это тоже почти тяжело
Если даже маленькая иголка тянет тебя на дно
Выражения даже любой убивает вас
Ничего не совершается и огонек погас
Не изменяя линию вычерченную другими
Для тех кто летает ползает говорит танцует
Мне тяжело ему тяжело им тяжело в земле и в мире
Нужно ещё легче давайте ещё легче как тишина перед бурей
Почти так же легко как на смертельном пире
«Я пить хочу» — так же легко что почти не-выдох
Где же истлевший в прах неприкасаемый свиток
Лепесток пепел наружность ветер взгляд пустота
Или попытка не говорить застывшая на уголке рта
Нужно сказать чего-то и я говорю —

милая милая сила
ломала все и крутила
воронки ветров (у виска пальцем)
так что не стало дверей
или там были стекла?
сила взглядом Софокла
сталкивала и заставляла кричать
и впадать в звериные танцы
людей
все-таки не было там дверей
а стекол нет только теперь
сила (да)
дверь (нет)
стекло (нет)
и античные старцы
дело в том что верь не верь
не получится отказаться от моря
а значит от шторма тоже
чтобы смеяться нужно немного горя (?)
когда ты знаешь то на Еврипида похожа
когда сила приходит то начинается зверь

Да на реке одни осколки от ракет
Наверное пора домой потом поймаем
Серьезных рыб и поцелуем их в глаза
Крючок достанем и обратно в небеса
Закинем рыб во рту почуем свет
Но это завтра где же наша стая
Идем домой и возвращаться страшно
Как будто никого там не найдем
Как будто все нас бросили но нет
Сидят довольные пьют темноту в жемчужной башне
Гадают по оливковым ветвям
Что будет и не сбудется потом
Из носа кровь пойдет у нас или меня —
Земля напоминает о холодном
Из живота протянутая нить
До нас до них до бежевой зари
В лесу звучат предснежия как бомбы
«Что плачешь? Выпей чаю, закури»
Да только дайте мне договорить
Вон в поле за окном в простой рубахе
Стоит один безмозглый и прекрасный
Как будто перед бурей и войной
Руками в воздухе записывает знаки
И только у него во рту огонь
Живой
И знаете он ничего не скажет

I

у меня был старший близнец мы были близнецы
он старше на двадцать лет или на двадцать тысяч
лет я потерял его я не узнал его
он меня не дождался он погрузился в лёд
он думал что он один и хорошо наверное
что он меня не видел я по сравнению с ним
затертая карточка библиотечная
скомканная в кармане и непонятно чья

II

Спасибо что был у него спасибо что есть у нас
Спасибо что есть у всех маленькая ракушка
Свечка глядит в метель тайна идет из глаз
Если расскажешь всем или шепнешь на ушко
Если молчи умри а потом выйди в лес
Словно такой и был словно не потерялся
Значит любить людей это трудный процесс
Трогаешь высоту и небо бежит из пальца

III

Ничего не нужно все и так хорошо

Вот теперь твоя семья — мы и облака и речка и горы и море и дерево старое
на пригорке и чистый воздух и даже он...

Пройдемся по лесу пешком
Послушаем призрачный магнитофон
На нем записи — кричат птицы падают вещи сердце стучит
Когда мы смотрим на солнце у тебя расстроенный вид
Когда едим суп из цветов у тебя расслабленный вид
Когда мы поем и танцуем мне кажется что у тебя радостный вид

IV

Такой вопрос точнее вечер
Точнее мы идём навзрыд
Ты слишком зол очеловечен
Под деревом огонь зарыт
Над гнездами летят сонеты
И ты не любишь ничего
Стоишь над вечностью с пакетом
И морщишь бледное лицо

Евгений Омуль

Монтана

*Роман**

Часть 2

В городе

В языке индейцев племени хопи есть выражение «*koyaanisqatsi*», что значит «жизнь, выведенная из равновесия». Именно такая выведенная из равновесия жизнь началась у нас в городе.

Мама устроилась учетчицей на оптовый склад продуктов. Ерофея оформили в детский сад, а я пошла в школу, седьмой класс.

Городская жизнь мне не нравилась. Не нравилось буквально все: промозглая, грязная зима, воздух, пропитанный выхлопными газами и вонью талых помоек, ободранные деревья, обшарпанные дома, нервные, замученные бытом и городским стрессом люди.

Не нравилась квартира в панельной девятиэтажке, едва теплые батареи и потому ощущение постоянного липкого холода. Обогреватель в квартире практически не выключался.

Как же хорошо и тепло было в нашем деревенском доме! Закутавшись в плед, я согревалась горячим какао и вспоминала пахнущие лесом и морозом дрова, жар огня в печи и обволакивающее, уютное чувство тепла.

Постоянно хотелось тишины, ночами спалось плохо, под окнами то и дело орала пьяные идиоты или балбесы-гонщики гоняли на машинах, днем в какой-нибудь квартире обязательно делали ремонт, и тогда надсадно воющий звук перфоратора накрывал весь подъезд.

Перед домом располагался небольшой вещевого рынок. Когда-то папа и мама работали там, будучи челноками. Из окна на четвертом этаже я смотрела на суетящихся торговков в пуховиках и ярких рейтузах, на их огромные полосатые сумки с товаром и вспоминала нашу ферму, затерянный мир болот, багровые по осени жесткие листья черничника, бронзовеющие кусты багульника, фиолетовую, словно заиндевшую, голубику. Закрывала глаза и видела, как во дворе под навесом сочится теплом и дымом мангал, накрывая ароматом жареного мяса всю округу. Папа кочергой ворошит угли. Рядом лежит Разгон, давится слюнями.

Вспоминала пахнущий дымом вкус запеченной в костре горячей картошки, запах мокрого леса, прощальные крики птиц в промытом дождями блеклом осеннем небе. Вспоминала, как с городскими девчонками подваливали над костром веточки с гроздьями ягод черемухи, тогда у нее был совсем другой вкус. Как ловили на лесных полянах жуков и сажали их в спичечный коробок, и обязательно клали березовый лист, чтобы жук не умер с голоду.

* Окончание. Начало см. «Урал», 2023, № 6.

Вспоминала Даурию. Белое пламя цветущих яблонь и черемухи, густой смоляной запах таежных хребтов, жаркое летнее марево над холмистой степью, головокружительные ароматы трав и цветов, огромного орла, патрулирующего землю, упитанных тарбаганов, застывших толстыми сторожевыми столбиками возле своих нор.

Когда виден с хребта за хребтом перевал
Там, вдали,
Дальней синей каймою,
Свежий ветер гудит по расщелинам скал
И родоновой пахнет водою...¹

Зажмурив глаза, я изо всех сил старалась не плакать и все время думала, неужели у нас не будет будущего и останутся одни воспоминания? Невозможно было в это поверить.

Чтобы хоть как-то отвлечься, вырваться из атмосферы тоски и безнадёги, я часто танцевала. Доставала из тайника ствол, по настроению это мог быть «повелитель болотных равнин», или «итальянец», или старик «бодсон», включала музыку и кружила-кружила перед окном, как какой-нибудь танцующий дервиш, и Мишель Гуревич пела и успокаивала меня, будь что будет, ведь музыка заводит нас, девочки².

На лестничной площадке по соседству с нами жила семья, Людмила Алексеевна, две дочери и муж, Иван Викторович, мелкий начальник на экскаваторном заводе. Дочери были взрослые, старшая Аня уже сходилась замуж, родила сына, развелась и трудилась бухгалтером в компании по продаже упаковки; младшая сестра Наташа сошлась с каким-то парнем и проживала отдельно. Два года назад она получила диплом в Тверском университете по специальности «международные экономические отношения» и сейчас работала продавцом обуви на вещевом рынке. И зачем было в университет поступать? Модно, престижно, мама настояла или подружки посоветовали? Чтобы после окончания университета кроссовками на рынке торговать или со Вшивой горки на Арбат слепых переводить?³

Еще был сосед, некий Виталик, тощий, хронически безработный, трижды женатый сорокалетний оболтус. С третьей женой он, по его словам, в последнее время «имеет кардинальные разногласия», и их отношения на данный момент находятся «над пропастью». И где такое чудо находит женщин, согласных с ним жить? Впрочем, среди женщин столько слабохарактерных, безумных дур, склонных к необдуманному и фатальным поступкам, что калькулятор взорвется, их пересчитывая, это я вам как девушка говорю. И с алкашами готовы жить, и с уголовниками переписываться и замуж выходить, и в интернете знакомиться с кем ни попадя, а потом с выбитыми зубами в милицию бежать спасаться, и это еще в лучшем случае.

— У нас в офисе работала девушка, — рассказывала мне соседка Аня, — так ее муж зарезал. Ревнивый был жутко.

— Что ж она за него замуж вышла, не видела, что он за человек?

¹ Стихи Олега Дементьева.

² Имеется в виду песня Music Gets You Girls в исполнении Michelle Gurevich.

³ Две нищия старушки А. и Б. по давном несвидании, встретясь на Красной площади, поздоровались, и старуха А. спросила: выдала ли, мой друг, свою дочку? Б. Выдала матушка. А. За кого, голубушка? Б. За переводчика, мой свет. А. Ну, щастливо сестрица; а где он у места? Б. Он, друг, из места в место, а наверно, со Вшивой горки на Арбат слепых переводит. (с) Кургановский Письмовник: Краткия Повести — 4.

— Ну, он ухаживал хорошо, цветы дарил, в кафе приглашал, сам из себя видный, кудрявый.

— Да, бывают мужчины — сволочи по жизни. Охмуряют девушек, их обмануть нетрудно. Умная женщина за пять минут поставит таких мушкетеров на место, а девчонки летят на свет свечи, как мотыльки, и гибнут. Любви им хочется, а потом, поняв, какой идиот им достался, остаются с разбитым сердцем и ненавистью к миру.

Аня посмотрела на меня с удивлением и явным уважением, наверное, ей было странно слушать такие рассуждения от семиклассницы.

Я усмехнулась.

— Ну, согласись, Ань, разве можно любить за внешность? Когда смотришь и оцениваешь в первую очередь кудри, уши, руки, букеты цветов и все прочее, у женщины отключается интуиция, и она попадает в беду. Оценивать следует ум, способность трудиться, а не на диване лежать. Дети-то пусть лучше от умного будут, чем от кудрявого дурака и лоботряса.

— Ну, не знаю, она, видимо, за кудрями ничего не заметила.

С Аней мы иногда пересекались, болтали по-соседски. Она часто выходила на лестничную клетку, где сидела на картонке, положенной на ступени, и курила, стряхивая пепел в кофейную банку.

— Понимаешь, Ника, — поведала она мне на третий день знакомства, — уж год, как развелась, а до сих пор понять не могу, то ли я — дура, то ли он — козел.

Мне довелось видеть ее мужа, на вид нормальный парень, работал токарем на экскаваторном заводе, неплохо зарабатывал, не пил, с ребенком регулярно во дворе гулял, но Аня была им недовольна, и свое недовольство она выражала так, что слышал весь подъезд. Мне было неловко сказать ей, что она — типичная мирская, городская женщина, которой вечно чего-то не хватает, и более того, ее женская ненасытность связана с широко распространенным женским лицемерием, в том смысле, что деньги есть — милый мой, денег нет — иди домой. И когда вдруг мужчина уходит, то вся бабья блажь внезапно спадает, и женщина понимает, что это в ней многого не хватало, а не в мужчине.

— И познакомиться негде, — продолжала жаловаться Аня. — На улице сейчас никто никого не видит, все в компьютерах, телефонах... По барам и ночникам нормальные мужики не ходят. На сайтах знакомств или придурки озабоченные, или маньяки. Вот как реально встретить свою половину?

— Кому бог дал, кого и обнес, — ответила я. — Люди вокруг, и человек среди людей идет, как сквозь проливной дождь, мокрый, а пить хочется.

— Скажи, Ника, вот вы — староверы...

— Старообрядцы.

— У вас в семьях разводятся?

— Нет.

— Почему?

— Потому что сказано нам: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии»⁴. Наши мужчины и женщины из одного мира, в котором есть свои правила. Наши женщины знают свое место в жизни, а вы, мирские, запутались в своем природном предназначении. Для нас главное — любовь к богу, чистота помыслов и доверие, семья для нас — основа основ, мы смотрим в одну сторону, а не друг на друга, мы твердо знаем, мужчина — голова, женщина — шея, а вы, мирские женщины, потеряли берега в поисках неземной любви, которая позволит вам отдохнуть на Мальдивах и бесконечно

⁴ Апостола Павла 1-е послание к Тимофею, гл. 2.

шопиться, и в семье вы хотите быть и шеей, и головой, и горлом одновременно. Потому вы часто одинокие даже в замужестве, и счастья у вас нет.

— Что же делать?

— Для начала попробуй смирить гордыню, попробуй понять один раз и навсегда, мужчина — небо, женщина — земля, и все наладится. Не кричи, не спорь, опусти глаза и промолчи, а если хочешь сделать по-своему, то делай это по-тихому, мужики — это те же лоси, за дерево встанешь — не заметят.

— Ну, я не знаю... Все как-то сложно...

— Сложно — это когда ты думаешь одно, говоришь другое и хочешь совсем иного, такой образ жизни разрывает тебя на куски, и ты думаешь, что живешь, а на самом деле просто существуешь.

— Ты на Виталика с пятьдесят четвертой квартиры взгляни, какое там небо? Одни понты дешевые, пиво и лень-матушка.

— Лучше быть, чем казаться. Мне папа говорил, что при рождении каждый мужчина получает от бога парус. И этот парус несет мужчин на великие дела. Самые разные. Одни под парусами пересекают океан и открывают Америку, другие двести лет идут от Урала на восток — «встречь солнцу», создают огромную страну, строят дома, мосты, дороги, космические корабли, пишут великие картины, книги или музыку.

Я помолчала и добавила:

— Проблема в том, что в течение жизни многие мужчины этот парус спускают, пропивают, продают, разменивают на всякие малозначительные вещи. И тогда им только и остается грести до смерти на веслах.

Вот и Виталик такой.

Школа

В новой школе я вписалась в коллектив легко и практически незаметно, видимо, потому, что в первые дни моего прихода случилась трагедия: в нашем классе погибли двое мальчиков. Они ездили в Москву и там катались в метро на вагонах. Сорвались и погибли. Все скорбели, фотографии пацанов висели на школьной доске объявлений, девчонки плакали, мальчишки хмурились. У меня погибшие вызывали недоумение. Такая глупая смерть. Оказывается, и в прошлом году в нашей школе уже был похожий случай. Девятиклассник поехал в Москву в компании таких же, как он, фанатов лазить по высотным зданиям. И что вы думаете? Сорвался и разбился, можно сказать, в лепешку. Я узнала, что тех, кто цепляется за вагоны, называют «зацеперами», а те, кто прыгает по крышам, — это «руферы». Ну, не знаю, насколько мне известно, и тех и других испокон веков на Руси называли придурками.

В школе все знали причину нашего переезда в город, слухи, они как степной пожар расходятся. Некоторые одноклассники меня недолго любили, я была новенькой, а к новеньким всегда отношение настороженное, и они презирали деревенских. Были и такие, которые в лицо мне улыбались, а в спину кидали словечки типа «фермерская дочка», «деревня» и все такое.

Ну и меня побаивались, и было с чего, поскольку через пару недель после моего прихода в школу у меня случилась драка с девчонками из старших классов.

В восьмом классе учились Карина Салтыкина и Надя Васькина. Похожие друг на друга, как сестры-близнецы: коренастые, коротконогие, белобрысые. Лица круглые, с явными признаками потомственной тупости. Такие девчонки книг не читают, можете поверить мне на слово.

В школе они были известны как Салтычиха и Васёк. Обе занимались борьбой самбо, но без фанатизма, больше понтов, чем реальных достижений. Учились так себе, интересы примитивные: чипсы, пицца, шмотки, мо-

бильники, музон попсовый и мальчишки такие, чтобы вокруг них вертелись. Вокруг них и крутились пацаны, которые своего мнения-то никогда не имели, как ослики, шли на поводу у этих «заев».

Думаю, в каждой школе есть свои Салтычихи и Васьки. Курят, «ягу» бухают с пацанами, обжимаются с ними по подъездам, как шалавы, и, грязно ругаясь, стреляют деньги у младших и тех, кто слабее.

Они меня невзлюбили, бывает и такое.

Как-то застали меня в туалете. Я сделала свои дела, стою, руки мою. Зашла Салтычиха, следом Васек. Простучали каблукми по кафельной плитке, в кабинки зашли, даже двери не закрыли. Помочились, вышли, Салтычиха со спущенными джинсами и задранной кофтой, хорошо, хоть трусы натянула. Подошла к зеркалу и давай крутиться, хлопать себя по животу, приговаривая:

— Пресс-то, а? Пресс-то какой? Зацени, Надь. Кубики!

Пресс на животе у нее действительно был впечатляющим, вполне себе мужской пресс. Кому как, конечно, но мне девушки с мускулатурой парней кажутся странными.

— Слышь, ты, малая! — повернулась она ко мне. — Как тебе мой животик?

Не такая уж я малая была, немного ниже Салтычихи и одного роста с ее подругой.

Мне не хотелось с ними связываться, они были старше и сильнее и явно искали повод придраться.

— Нормальный пресс, — говорю.

Она окинула меня оценивающим взглядом.

— Ты новенькая из деревни? Это у тебя отца убили? А его как, насовсем убили?

Я зубы стиснула, ничего не ответила.

— Хорошо в деревне летом, пахнет сеном и говном! — глумливым тоном принялась декламировать Васёк. — А много ль корова дает молока?!

— Не выдоишь за день, устанет рука! — подхватила Салтычиха.

Васёк шумно высморкалась в раковину. Никто из них после туалета руки не помыл. Неряхи. Можно жить в городе и быть неряхой, подумала я.

— Слышь, мелочь есть? — внезапно спросила Салтычиха.

— Есть, — ответила я.

Они рты раскрыли в недоумении. Видимо, ожидали привычного для них жалостливого беканья испуганной жертвы.

— Ну, ты это... — Салтычиха соображала, что сказать, я прямо видела, как скрипят мозговые извилины в ее неандертальской голове.

— У нас мальчишки недавно погибли, — сказала Васёк. — Надо бы помочь финансово.

Врала она, конечно, как сивая кобыла. Зацеперов похоронили две недели назад, и деньги уже давно были собраны. Сдавали все, и я тоже. Ну а сейчас-то с какого перепугу? Я поняла, что закрывать вопрос с подругами-самбистками придется здесь и сейчас. Иного выхода нет.

— Вы сдавали? — спросила я.

— Конечно, — ответила Салтычиха.

— И я сдавала. А сейчас не буду. Так что катитесь колбаской.

Они аж позеленели.

— Что?! Ты че, ссыкуха?! Ты че гонишь?! Ты на кого батон крошишь, корова?! — заорала Васёк.

Салтычиха же поступила так, как привыкла действовать на ковре в спортивном зале. Провела ногой резкую боковую подсечку, пытаясь сбить меня с ног. Попытка не пытка, подумала я, отскакивая назад. С другой стороны на меня бросилась Васёк. Я повернулась к ней, и тут же сзади на меня навали-

лась Салтычиха. Она накинула мне на горло ремень от сумки и принялась душить. Я лягнула ботинком в голень ее подскочившую подругу. Васёк ойкнула, схватилась за ногу и зашипела от боли. Ремень стиснул мне горло, воздуха не хватало, я задыхалась. Когда тебя душат сзади удавкой, вырваться бесполезно, учил меня папа. Есть два способа борьбы, надо либо ткнуть пальцами в лицо противника, либо, нагнув голову, попытаться увидеть ноги нападающего и со всей дури вмазать каблуком по ступне или внутренней стороне голени. Я выбрала первый вариант — растопыренной пятерней ударила за голову в лицо Салтычихи. И надо же, угодила ей пальцем в глаз. Как же она заорала! Схватилась за лицо, орет и кроет матом страшно. Я же время не теряла, изо всех сил саданула ей каблуком по ноге, сверху вниз, точно по носку туфли. Затем, не оборачиваясь, схватила руками за джемпер, резко нагнулась и перебросила Салтычиху через спину. Она так и полетела фейсом на кафель. Плашмя хряпнулась, плотно так приложилась, перевернулась на спину, а сама лицо ладонями закрывает. Я испугалась, неужели глаз выбила? Васёк к ней подскочила, помогла подняться.

Я отбежала к стене, выхватила из кармана нож, щелчком выкинула лезвие.

Они нож заметили и сразу в лице переменялись.

— Ты че, че? — заполошилась Васёк. — Уходим мы, уходим!

— Валите, — сказала я. — И по ветру, от вас воняет.

Они подошли к умывальнику, осторожно так, на меня оглядываясь. Салтычиха глаз промыла, высморкалась и, заметно прихрамывая, побрела к выходу. Васёк тоже вспомнила, что надо бы руки помыть. Пока плескались, на меня всё косились. Не ожидали, ага.

— Мы тебя еще встретим... — пообещала Салтычиха на выходе.

— Велкам бэк, подруги — улыбнулась я.

Никаких встреч не было. А в школе вскоре все узнали, как я сцепилась с хабалками-самбистками, и поняли, что с этой сумасшедшей новенькой с жесткой черной челкой и косой до пояса, диким полуазиатским разрезом глаз и странным, округлым восьмиконечным крестом⁵ на шее лучше не связываться.

Моей соседкой за партой была девочка Маша с необычной фамилией — Лапа. Симпатичная, чуть полноватая блондинка с асимметричной челкой, томными серыми глазищами и миндалевидными ухоженными ногтями на длинных пальцах, вся такая сура́жая⁶ из себя.

Лишний вес вгонял Машу в жуткую депрессию. Жизнь у нее проходила в борьбе противоположностей, с одной стороны, она могла есть булочки и колбасу в промышленных масштабах, с другой, постоянно сидела на каких-то мудреных диетах.

— Представляешь, мне колбаса даже снится, — жаловалась она мне. — Особенно когда долго на диете сидишь, ночью просыпаешься, встаешь и, как зомби, бредешь к холодильнику грабить корованы. Глядь, уже нажралась.

— Ужас, — сочувствовала я.

В изучении популярных диет-технологий Маша, что называется, съела даже не собаку, но более того — собачий питомник. За несколько лет она прошла четыре этапа по диете Дюкана. Следом последовали диета для космонавтов, кремлевская, голливудская, по группе крови, японская, кефирно-яблочная, конфетная леденцовая, диета «каменного века», авторские диеты Ксении Бородиной, Ларисы Долиной, Маргариты Королевой, Кима Прота-

⁵ Женский нательный старообрядческий крест имеет более сглаженную, округлую форму, без острых углов.

⁶ Сура́жая — красивая, привлекательная (*тверск.*).

сова, Магги, Кенлехнера, Монтиньяка и какого-то Притыкина. По интернет-советам опытных подруг похудения Маша испытала на себе все известные биологически активные добавки, мегалитрами хлестала фиточай «Летающая ласточка», глотала блокаторы калорий, капсулы «Мей Ли», «Жуйдемен», турбослим, на молодую луну при свече на сельдерее кровью клялась ни колбасу, ни булочки не есть и даже прикупила по совету знатоков волшебную серьгу для похудения, воздействующую на организм через биоактивные точки в ушах.

На какое-то время жиртрест в панике отступал, но затем проводил мобилизацию ресурсов, концентрировал направление удара, стремительно контратаковал и возвращался на утерянные позиции с еще большей прибавкой. Впрочем, на волшебную серьгу он вообще никак не отреагировал. Однако Маша не сдавалась.

— Слышала новость? Есть специальный тайский глист в капсуле. Глотаешь капсулу, она растворяется, и глист начинает жрать калории. Сделал дело — вышел смело.

— Боян, — отрезала я. — Глисты уже не в тренде. Да и проблем от них больше, чем пользы.

Мы сдружились на любви к чтению и лошадям. Маша любила читать, а в свободное время подрабатывала волонтером на городском ипподроме, помогала кормить лошадей, убирала в конюшне. По ее рекомендации и меня туда приняли.

На ипподроме волонтерили одни девчонки, и, когда я пришла, они решили меня проверить. Вывели в загон гнедого жеребца по кличке Ратмир и предложили сделать круг по ипподрому. А сами прямо так и уставились во все глаза, как я себя поведу. Как же, нашли простушку! Уж я-то знала, как к лошади подходить. Лошади — животные нервные и пугливые, сзади к ним лучше не приближаться. Копытом могут так влупить — зубы через попенгаген вылетят. Но не все знают, что и спереди к ним тоже не стоит подходить, они будут нервничать. Подходить к лошадям следует сбоку, не делая резких движений. Затем для начала знакомства надо подставить ладонь, дать обнюхать руку и, когда лошадь убедится, что все в порядке и вы не представляете для нее опасности, вот тогда можно ее погладить. И самое главное, ни в коем случае не следует дергать лошадь за хвост, уши и нижнюю губу. Не надо этого делать.

После знакомства с Ратмиром я подтянула стремяна под себя и одним рывком прыгнула в седло. Ратмир сразу понял, ху из ху, лошади, они чувствуют человека, бояливый он или нет, чувствуют, крепка ли рука, что держит поводья.

Для начала прошли рысью круг, затем я гикнула, и мы помчались, а девчонки захлопали в ладоши.

— Сразу видно, опыт есть, умеешь к лошади подойти, — похвалила меня старшая из волонтеров, студентка Настя.

Я пакет яблок Ратмиру скормила, и он сразу проникся ко мне неземной любовью, слюни пустил, полез целоваться. Смешной такой.

Маша же, хоть и ухаживала за лошадьми, ездить на них боялась, и я сразу поставила вопрос ребром.

— Хочешь похудеть? Спроси меня как, — сказала я.

— Ты чего это? — с подозрением спросила Маша. — Гербалайфом торгуешь?

— Нет.

— Ну и как похудеть? — осторожно, словно боясь спугнуть удачу, спросила она.

— Знаешь, чем кавалерия от пехоты отличается?

— Чем они отличаются? У кавалеристов лошади.

— Телом. По своим физическим качествам конники превосходят пехоту, потому как лошади тренируют и формируют тело человека. Так что начнем с верховой езды.

— Не-не, я не смогу, у меня не получится, — замотала головой Маша.

— Все у тебя получится.

Для тренировки мы выбрали Мафика, в почтенном возрасте жеребца, тремя копытами прописанного в категории «одёр». Полностью кличка его была — Мафусаил, библейский конь прямо-таки. Спокойный, пофигистичный, он умудрялся спать даже во время прогулок.

В общем, закинули мы седло на Мафика, затянули подпругу, подогнали стремена.

— Вот так, — сказала я. — В стременах держись носками обуви, иначе, если упадешь, можешь зацепиться каблуками, и лошадь начнет таскать тебя по земле. Лучше всего для верховой езды подходят сапоги, в случае чего всегда можно ногу выдернуть.

— Ой, ужас какой! Я упаду!

— Упадешь, если будешь дрожать, как пескарь премудрый, — жестко ответила я. — С чего бы тебе падать?

Мы вывели Мафика на площадку.

— Теперьходишь слева, и только слева.

Маша подошла к лошади и замерла, как тарбаган возле норы.

— Ну, чего ты?

— Садиться?

— Хватайся за переднюю луку седла. Затем поднимайся рывком, так, словно собираешься нырнуть на другую сторону, и сразу ногу задирай, садись в седло.

Маша схватилась за луку седла и попыталась подняться. Я подтолкнула ее под попу.

— Центр тяжести тебе надо бы уменьшить.

— Сама знаю, — огрызнулась Маша, перекидывая ногу на другую сторону седла.

— А теперь что?

— Сейчас горячий джигит Мафик тебя сбрасывать будет.

— Ника!

— Шучу я. Руки держи на холке, повод по сторонам не дергай, только вперед — назад, плавно. Сиди прямо, не горбись. Повод берется вот так, между мизинцем и большим пальцем. Локти прижми к бокам, бедра, колени прижми к седлу.

— Я поняла. А держаться-то как?

— Запомни, повод, он для управления, держаться на лошади надо коленями, можно за гриву хвататься и седло.

— Черт, я уже вспотела напрочь.

— А ты думала? Это тебе не на трамвае кататься.

Придерживая Мафика под уздцы, я повела его по площадке.

— Ну как? — спросила я.

— Нормально вроде.

— Чуть прибавим ход, а то Мафик заснул уже.

Я ладонью хлопнула конька-горбунка по крупу, и он легкой трусцой изобразил охрнительную физическую активность.

Маша мешком картошки колбасилась в седле, кряхтела и ойкала. Я едва сдерживалась, чтобы не заржать. Фишка в том, что если вы никогда не ездили верхом, то по первости в седле как поплавок будете телепаться.

Через десять минут Маша взмолилась.

— У меня все тело, как студень, трясется и спина болит.

— Это потому, что вот прямо сейчас у тебя формируется тело всадника, мышцы в тонус приходят. Мало просто похудеть, худая корова еще не газель.

— А правда говорят, что если на лошади будешь ездить, то ноги колесом будут?

— Для этого надо в седле родиться и сутками с лошади не слезать.

Спустя несколько тренировок Маша чувствовала себя в седле гораздо увереннее и даже понукала Мафика, чем тот был явно недоволен, в самом деле, нашли на ком кататься, думал он, закатывая глаза и пуская слюни, изо всех сил изображая из себя жертву геноцида. Следом за тренировками настала очередь правильного питания, само собой, под моим руководством.

— Маша, проблема худеющих в том, что они страдают. Нельзя страдать от плохо приготовленной еды, — сказала я. — Нельзя себя ограничивать. Ну сколько можно сидеть на сырой, кипятком запаренной овсянке или гречке без соли? Три, пять, десять дней? Месяц? Сбросишь вес, перейдешь на обычное питание и начнешь сдобные булки в три горла хватать, как потерпевшая. Ограничения приводят к срыву. И соль нам нужна, для организма она, как электролит для аккумулятора, из-за соли люди воевали.

— А дробное питание?

— Забудь, — отрезала я.

— Мне утром вообще есть не хочется.

— Это потому что ты в десять вечера пельменей налопалась и спать завалилась. Для начала начни питаться рыбой и гречневой кашей, сваренной как положено, с поджаркой из лука и моркови. Надоела гречка, вари перловку, чечевицу, овсянку или горох, делай салат из овощей. На завтрак вари овсянку, гречневую кашу с курицей, яичницу жарь, да что захочется, только без хлеба и сладостей, в обед съедай гость урюка с водой, ужин в 16–17 часов, ешь курицу или рыбу с овощами. Никакого хлеба и тем более сдобы. Да, это трудно, но кто малым доволен, тот у бога не забыт.

— Все как-то сложно... — заныла Маша.

— Сложно — это когда ты руками коров в загон заталкиваешь.

— В смысле, коров?!

— Актер Мэттью Макконахи, чтобы похудеть, на своем ранчо каждый день бегал по шесть километров и руками заталкивал коров в загон, целое стадо. Так что ты еще легко отделалась.

— А рыбу можно жарить? — с недоверием спросила Маша.

— И рыбу, и курицу можно жарить, парить, варить, на гриле запекать, — как хочешь, только без хлеба. Тридцать дней на такой диете.

— А что будет через тридцать дней?

— Привыкнешь. Как лошадь у цыгана.

— Это как? — наморщила лоб Маша.

— Жил-был цыган, и была у него лошадь, которую надо было кормить, то есть тратить деньги на ее содержание, чего цыгану очень не хотелось. И вот как-то раз снится цыгану сон, в котором его цыганский бог советует ему лошадь не кормить месяц, а через месяц она-де привыкнет, и будет ему большая экономия. Обрадовался цыган, не кормит лошадь день-второй, смотрит, она ходит, все нормально. Не кормит неделю, лошадь на вид ослабла, но все еще ходит. И наконец через двадцать девять дней лошадь сдохла. «Ну и дура, — сказал цыган. — Еще день, и привыкла бы...»

— Это что, юмор такой? — обиделась Маша.

— Ладно, не дуйся, это я к тому, что за месяц реально можно привыкнуть есть немного и потом просто поддерживать себя в форме.

— А с холодильником что делать? Он меня вечером, как вампир, к себе манит. Иди ко мне, Маша, у меня много вкусняшек, есть колбаса, пицца, мороженое, иди ко мне, оттопырится, гульнем по полной!..

— Если хочется именно пиццы или колбасы — ты не голодная, это тревогодие тебя грызет, библейский грех. Голод — это когда хлеб-соль поесть — уже счастье.

Я посоветовала Маше, чтобы не сорваться, написать цифру «1» на маленьком листке и прикрепить на гвоздик. На следующее утро, при условии, что предыдущий день прошел без налетов на холодильник и еды после шести вечера, приклеить к первому листку — второй, с цифрой «2», и так далее.

— Если сорвалась, все обнуляется, как президентский срок, и листки клеются заново. Чем больше листков, тем длиннее лента, и через какое-то время тебе чисто психологически будет трудно обнулить свои достижения. Ну если уж совсем неважнота станет, то часов в семь-восемь вечера заточи огурец или штуки три-четыре урюка съешь и раз в две недели, так и быть, устраивай себе праздник живота с пиццей и мороженым. И еще вот...

Я достала из кармана камень, тот самый, что мне удалось найти в каменных россыпях Драконовой Стены в Забайкалье.

— Вот, это тебе.

— Ух ты! Какой красивый! — восторженно закричала Маша. — Блин, его как будто от солнца отломили! Ты смотри, как сияет и переливается!

Я улыбнулась.

Маша подняла камень над головой и в хронически пасмурном тверском небе словно засверкал кусочек солнца.

— Спасибо, Ника!

— Это тебе в помощь будет. Как только холодильник тебя позовет, ты сожми камень в кулаке, вот так, изо всех сил, и скажи: «Я — девочка-кремень».

— И что?

— Камень тебя удержит.

Когда выдавалось свободное время, мы отдыхали в каптерке для конюхов, болтали на разные темы, обсуждали прочитанные книги. Маша любила читать фэнтези, про драконов, магические академии, неземную любовь, на мой взгляд самую ерунду. Ну, я уже говорила, какие книги мне нравятся.

— Слышала новость? — как-то раз спросила меня Маша.

Мы сидели у входа в конюшню, пили горячий шоколад, грея ладони о бока кружек.

— Что за новость?

— Девчонка сиганула с «рюмки».

— Да ладно!

— Семиклассница из восемнадцатой школы.

— Ничего себе!

«Рюмкой» в Твери именовали высотное здание в Смоленском переулке, бывшую гостиницу.

— Синий кит, наверное, накрыл, — предположила Маша.

— Нет. Это Сатана.

— Да ладно тебе!

— Ты когда-нибудь слышала, чтобы в деревне девчонки самовыпиливались?

— В деревне и прыгать не с чего.

— Поверь, при желании можно найти элеватор там или водонапорную башню, ну или в город приехать по такому случаю. Почему этот вонючий синий кит накрывает только городских?

— Ну... Не знаю... А что, в деревне вообще самоубийц нет?

— Почему же, есть, но редко.

— Отчего так?

— Маша, я жила на ферме, а жизнь на ферме приводит тебя к простому пониманию: надо ценить жизнь, быть усердной и терпеливой, сдаваться нельзя.

Маша скептически фыркнула.

— Видала я деревенских алкашей, что-то не похожи они на терпеливых и усердных.

— Они давно сдались бутылке и уже находятся на крыше и висят вниз головой.

— В смысле?

— В прямом, — ответила я. — Ты курицу ешь?

— Что за вопрос, конечно! Это ты вообще к чему? — осторожно поинтересовалась Маша.

Я помедлила с ответом, соображая, как бы внятнее донести мысль.

— Когда курице приходит время отправляться в суп, это происходит так: ты хватаешь ее за ноги, переворачиваешь вниз головой и держишь две-три минуты. Кровь приливает к голове, и курица как бы отключается и не трепыхается. Затем ты кладешь ее на колоду или там что удобнее, кровь отливает от головы, и курице становится так хорошо, что она млеет, глаза закрывает и сама шею вытягивает. И вот в этот самый момент топором — бац!

— Ой! — вздрогнула Маша.

— И снова за ноги ее вздергиваешь, чтобы кровь стекла.

Я отхлебнула шоколада, выдохнула в морозный воздух длинную струю пара.

— На самом деле все очень просто. Надо один раз и навсегда понять, что многие наши проблемы возникают в голове. Мы не знаем, как их решить, и думаем, что смерть спишет все, решит все проблемы, не понимая, что смерть — это конечная остановка. Нельзя нажать на клавишу и перезагрузиться.

— У моей двоюродной сестры две дочери, одной пятнадцать лет, старшей восемнадцать. В Брянске они живут. Как-то раз пошли они в ночной клуб, танцевали там, ну... выпили martini, с парнем познакомилась, азербайджанец, ну, опять выпили, да так, что обе отключились, не знаю, может, им подбросили какую-нибудь хрень в бокалы. А потом их отвезли на квартиру и изнасиловали. Сняли на мобилу и грозили всем показать, а чтобы никто не узнал, они должны были регулярно приезжать к этим азерботгам и трахаться с ними. Так они и ездили, пока младшая себе вены бритвой не вскрыла. Еле откачали. Скажешь, эти проблемы у них в голове появились?

— А ты как считаешь?

— Они же не виноваты, эти козлы их заставили, изнасиловали, понимаешь? — горячилась Маша.

— В ночной клуб их силой затащили?

— Что ты такое говоришь, теперь и отдохнуть нельзя? Ника, ты прямо как моя мама!

— Маша, пойми, в определенных обстоятельствах надо голову включать, думать наперед и уметь говорить «нет» тогда, когда это необходимо. Ибо сказано нам, невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят⁷... Вспоминай и говори эти слова каждый раз, когда тебя тянет к соблазнам. Думать надо головой, с кем дружить и отдыхать, а если ты к богу равнодушна, ничто не мешает тебе жить, избегая грехов библейских.

— Ника, какие еще грехи? Может, мне еще платок на голову надеть?

— Это уж как ты захочешь. Я только хочу сказать, обходи грехи библейские, их всего семь, представь, не семьдесят семь, не сто пятьдесят семь, Маша, — всего семь! — и твоя жизнь станет совершенно другой, реально лучше и безопаснее. Ну вот давай прикинем. Они пошли в клуб для того, чтобы себя показать, это — гордыня, библейский грех, они пили алкоголь, это — чревоугодие, они были не против поиметь отношения с парнями, это — прелюбодеяние, грех блуда, похоть. Все сложилось, и получилось так, как случилось.

— Ну, я не знаю. Библия, грехи, это как-то далеко.

⁷ Евангелие от Луки, глава 17.

— Ма-ш-ша, — произнесла я едва слышно, смотря ей в глаза прямо и не моргая.

Она отшатнулась, пугливо огляделась по сторонам.

— Что? — спросила дрогнувшим голосом.

— Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить⁸, — прошептала я. — Силен бес: и горами качает, а людьми, что вениками, трясет. Если Бог от тебя далеко, значит, Сатана рядом. Он везде и всюду, он смотрит внимательно, он умеет затаиться, умеет ждать, он умеет ждать долго, и когда кто-то затупит, засомневается, он тут как тут, обнимает, ведет бедолагу на крышу, хватается за ноги, поднимает вниз головой, как курицу. И бросает.

— Считаешь, жить надо по Библии?

— Понимаешь, Маша, Библию нечем заменить. Пытались много раз, не получилось. Библия задает основы основ существования человека, производит духовные ценности из поколения в поколение, и эти ценности принимаются очень многими. Без веры в Бога все расплзется по швам, как расплзлась наша страна в революцию и Гражданскую войну. «...Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда»⁹.

Я помолчала и добавила:

— В конце концов, каждый решает сам. Это как вариант обустроить свою жизнь, самый надежный, поверь, лучше в мире не придумали, ибо сказано нам Иисусом: «Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям Моим! Тогда мир твой был бы как река...»¹⁰ Как река, Маша.

— Послушай, вот вы эти самые... семейные...

— Семейские.

— Ну да, семейские. Верите в Бога и все такое.

— Верим и чтим, так и есть.

— Тогда почему Бог допустил смерть твоего отца? Разве не чтил Бога отец твой?

Я ничего не ответила, пристально смотрела в проем двери, где хмурое, серое зимнее небо словно отражало в себе стылую земную слякоть.

— Ника?

— Что?

— Так почему же?

— Сказано нам, но если он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его¹¹, — ответила я.

— И что?

— Человека убивает грех. Все люди грешны от рождения своего и заслуживают наказания. И только Богу решать, когда это наказание свершится. Начало страданий, начало греха в том, что человек свободен выбирать путь добра или зла. Не Бог за нас решает, а мы сами делаем выбор.

— Значит, твой отец был грешен?

— Возможно, — ответила я, вспоминая поиски трофеев, найденный клад, тайную торговлю монетами и прочие небогоугодные дела. И повторила: — Все люди грешны от рождения своего.

Маша задумалась и после продолжительного молчания неуверенно спросила:

⁸ Первое послание от Петра 5:8.

⁹ Евангелие от Иоанна 6:35.

¹⁰ Исаия 48:17.

¹¹ Иеремия, 18:10.

— Допустим, кто-то из взрослых грешен, но как же тогда умирают маленькие дети, ведь они и нагрешить-то ничего не успели?

— Мы все в этом мире созданы едиными. Грехи одного отражаются на всех остальных.

— Это типа бумеранга, что ли? Что же делать, Ника?

— Стрдание исцеляется страданием.

Мы замолчали, размышляя каждый о своем, потом заварили еще по кружке шоколада и принялись обсуждать школьные дела. Маша достала из пакета пирожки с джемом. Ее мама работала на хлебозаводе и постоянно подогревала нас всякой выпечкой из заводского магазина, для работников продукция там стоила копейки.

Прожевывая пирожок, Маша по секрету сообщила мне, что ей нравится мальчик из параллельного класса. Я видела его, высокий, блондинистый, боксом занимается.

— А тебе кто нравится? — поинтересовалась она.

Что я могла ответить? Что мне нравится «повелитель болотных равнин»?

— Не знаю, не думала как-то... — ответила я.

— У него друг есть, хочешь, познакомлю?

— Маша, моему папе на моих глазах выстрелили в спину. Два раза.

— Это ты к чему?

— Не до знакомств мне сейчас.

— Ты же не собираешься всю жизнь в трауре быть, надо жить, помнить и жить дальше.

Я улыбнулась.

— Стрдание исцеляется страданием. Понимаешь, Машунь, мы — семейские, совсем другие, живем вдаль от людей, много работаем, по-своему отдыхаем, ночных клубов у нас нет и не надо, и парни у нас свои. Вот этот друг, он кто вообще? Что он умеет по жизни? А я скажу, что он умеет. Пыхтеть вейпом, играть на компе, бухать пивас, жрать чипсы и дрочить. Трусы ему мама покупает.

— Ну что трусы... Вырастет, тогда и сам купит. Что ты такая злая, Ника?

— Я не злая, я просто стараюсь реально смотреть на вещи. А реальность, она такая... Ты ее вроде не замечаешь, радуешься жизни, хлопаешь ресницами, и внезапно она тебя накрывает, как... как поток кишок.

— Черт, да что ты такое говоришь? Я, между прочим, ем.

— Извини, — я помолчала, выждала когда она прожует, и продолжила: — На охоте если добыл оленя там или кабана, то надо первым делом перерезать зверю горло, спустить кровь и затем сразу вскрывать брюхо, выпускать внутренности, иначе мясо начнет тухнуть, и неважно, какой мороз, хоть минус пятьдесят, если не вскрыешь тушу, через тридцать минут мясо начнет портиться, через час можно оставить добычу воронам.

Я отхлебнула шоколада, прикрыла глаза, помолчала, вспоминая.

— Мне девять лет было, когда папа взял меня на охоту. Добыли лося. Папа добыл, конечно, я так, рядом ошивалась. Подошла к лося, он лежит на снегу, под головой лужа крови паром курится и снег тает.

— Блин, жуть... — Маша ладонью прикрыла рот и зажмурилась.

— Папа полоснул лося ножом вдоль брюха, и тут же на снег хлынул поток кишок, наверное, целая ванна.

— Ника, хватит, бли-ин... — взмолилась Маша.

— Помню, вокруг елки заснеженные красивые стоят, и воздух морозный, свежий, ты смотришь на всю эту красоту и думаешь, что находишься в сказке, и где-то поблизости Дед Мороз и Снегурочка с мешками подарков для тебя. И тут перед тобой появляется гора кишок, сизых, дымящихся паром, и тебя накрывает запах... Тяжелый, смрадный запах влажного железа и дерьма. И ты вдруг внезапно понимаешь: сказка кончилась, перед тобой — реальность.

Тверские волки

Поздней осенью 2009 года в Твери судили банду убийц, виновных в гибели папы.

Мама на судебный процесс идти отказалась, все время плакала, а я пошла. Там и увидела их.

«Тверские волки» — так они себя называли. Хотя какие там волки... Шакалы чесоточные.

Костяк банды составляли Александр Осипов, Дмитрий Баскаков, Александр Агеев, Юрий Цветков, и еще двух главарей убили до суда в бандитских разборках. Среди тех, кто сидел на скамье подсудимых, был тот самый коротко стриженный, спортивный качок, который стрелял в папу, — Фёдор Дерябин, среди бандитов он был известен как Деряба. У них у всех были клички, как у собак, а считали себя волками.

Бандиты на суде улыбались, шутили и выглядели довольными и счастливыми. До клетки, где их держали, как зверей, было метров двадцать, и я бы не промахнулась, уверяю вас. Я бы не промахнулась. Вот только оружие в суд не пронесешь.

Процесс был долгий, я приходила на каждое заседание суда и смотрела на сидящих в клетке упырей, слушала показания потерпевших, свидетелей.

За дни суда я узнала, как жили бандиты, чем дышали. И вспомнила, что читала, как отец Джо Пистоне, агента ФБР, действовавшего в мафии под именем Донни Браско, сказал сыну: «Это уголовники, и ты должен прижать их всех, потому что настоящие мужчины дерутся один на один, а эти бандиты никогда не выходят один на один».

«Тверские волки» не были мужчинами. Они были обычной бандой пустоголовых нелюдей. Налететь толпой на одного, ограбить, выстрелить в спину, расстрелять безоружных — это все, на что они были способны в своей никчемной жизни.

После того как убили главарей, «волки» превратились в глупых щенят, не смогли продолжить контроль криминального бизнеса и загремели в тюрьму. Из пистолета-то стрелять — ума много не надо.

На счету банды было четырнадцать убийств, разбои, вымогательства. Криминальные дела они проворачивали в Максатихе, Кимрах, Твери и других районах, включая Нелидовский. Это там, где была наша ферма.

Однажды бандиты пробрались в дом директора кимрского рынка Анатолия Башашина и расстреляли всю семью. Четверых спящих человек, не пощадили даже детей.

Сначала предпринимателей убивали, потом стали пожирать друг друга как пауки в банке, библейские грехи — алчность, гнев, тщеславие и гордыня — заставили их убивать, грабить, вымогать, а затем Сатана заботливо собрал всех, кто остался в живых, в одной клетке, ибо широк путь в тюрьму, а из тюрьмы тесен.

На суде выступили десятки свидетелей, присутствовали родственники как потерпевших, так и осужденных, среди них была некая Света, высокая, фигуристая девка, холеная, как породистая лошадь. Но я сразу смекнула, Светка — девка хоть собой и видная, но чванливая и умом недалекая. На бандитов за решеткой она смотрела с овечьим обожанием, и все присутствующие в зале знали, что Света — девушка подсудимого Александра Агеева, красивого темноволосого парня двадцати пяти лет по кличке Роспись, так его звали потому, что он до своей бандитской жизни был человеком и работал художником в иконописной мастерской, а когда Бога предал, его сразу Сатана подобрал и на крышу поволок.

В спортивных штанах и футболке без рукавов, на плече левой руки — татуировка с изображением волка, в клетке Агеев сидел молча, изредка пере-

брасывался с подельниками короткими фразами и смотрел на людей в зале холодным, жестким взглядом.

«Ему бы в кино сниматься, а он в клетке сидит, — думала я. — Экий ты балбес, хоть и красавчик».

Подругу Агеева я сразу раскусила, что она за человек. Такие девушки, как Светка, на скамейках в Городском саду сидели у парней на коленях, ма-нерно курили, кривлялись, визгливо хохотали, считая, что жизнь удалась. Волосы Светки были цвета пакли и распущены по плечам, как после бани, а лицо было настолько коричневым от загара, что казалось грязным. Я так для себя ее и прозвала — Грязнуля. Из солярия она, видимо, не выходила сутками, а ведь солнце для кожи первый враг, и неважно, на пляже загораешь или в солярии. Не верите, снимите трусы и посмотрите на кожу задницы, она никогда не видела солнечных лучей и в любом возрасте выглядит молодой. А есть еще женщины, которые летом ходят с глубоким декольте, так у них кожа на груди, как апельсиновая корка, коричневая и страшная. Мне бабушка в Укыре рассказывала, что в прошлые времена, когда не было косметики, женщины работали в поле, закутав лица платками, оставляя только глаза, и кожа на лице у них была гладкой до преклонных лет, а загар вокруг глаз служил в качестве теней.

Как-то в перерыве заседания суда подошла я к Светке, спрашиваю:

— Значит, не виноватый он совсем, душа моя?

— Ты кто такая? Тебе чего надо? — ощерилась Светка.

— Здесь все знают, кто я такая, — отвечаю.

Она глазами стрельнула по сторонам, взглянула на меня свысока и снисходительно, как на ребенка неразумного.

— Саша — настоящий мужчина, не такой, как другие.

— Какие другие?

— Ну, другие... Которые после восьми вечера из дома в магазин боятся выйти.

Я улыбнулась.

— А твой Саша, настоящий мужчина, с пистолетом в кармане в магазин ходил? Или друзей-бандосов в помощь брал, чтобы макароны купить?

Светка глаза вытаращила, засопела, хотела, видимо, ответить, да слов не нашла, стояла, ногами перебирала, как застоявшаяся лошадь.

— Настоящий мужчина — это мой папа, — чеканила я. — Семью содержал, детей растил. Он без оружия был, и ему твои дружки в спину выстрелили, а попытались бы драться, так сейчас бы передвигались в инвалидных колясках и питались протертым супом через трубочку.

Лицо Светки стало злым и некрасивым.

— Катись отсюда, деревня! Мне твои проблемы по барабану!

Я помолчала и, взглянув ей прямо в глаза, сказала:

— День хвали вечером, лёд — если выдержит, дев — после свадьбы, а твои проблемы впереди.

— Да кто ты такая, а?! — взвизгнула она. — Сучка малолетняя! Вали коров доить, терпила!

В зале на нас стали люди оглядываться, охранник подскочил.

— Все нормально?

— Вполне, — ответила я.

Агеев из-за решетки пристально взглянул на меня, рядом с ним ерзал на скамье Фёдор Дерябин — Деряба, белобрысый качок, тот самый, который стрелял в папу.

Подельник Дерябы — Александр Осипов, «Младший волк», альбинос с глубокими залысинами на вурдалачьем черепе, с налитыми злобой глазами и выражением лица, как у обиженного ребенка. На плече Осипова также про-сматривалась татуировка волка и надпись: «Homo homini lupus est» — «Че-

ловек человеку волк». Время от времени «Младший волк» криво улыбался, не переставая тарашиться в зал тяжелым взглядом восставшего из могилы мертвяка. Ну да, ему корячилось пожизненное, а это значит, всю оставшуюся жизнь он будет гнить в каменном мешке, хлебать баланду, спать при свете лампы и выходить на прогулку в позе прачки, руками назад и пальцами на-растопырку. Жизнь удалась, Сатана сделал свое дело.

Я помахала им средним пальцем, у них аж лица перекосило.

В конце концов Осипову и его ближайшим подручным, Агееву и Баскакову, судья выписал «пыжика»¹², а Дерябу освободили в зале суда якобы за недоказанностью состава преступления. И здесь мне стало понятно, что в нашей стране проблема не только в слабых законах, ведь было сказано нам: «Ещё видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда»¹³.

Если судья судит на глазок, по телефонному звонку или по настроению, — никакого толку не будет от самых продвинутых законов, и прав был папа, когда сказал, что равнодушные, трусоватые, без царя в голове российские судьи — всегда на стороне преступников.

— Уголовники — это те же гитлеровцы, только живут рядом с нами, безнаказанно грабят нас и убивают, — говорил папа.

Деряба через решетку пожал руку адвокату, сдержанно кивнул пухлому блондинистому мужчине лет тридцати, в синем прокурорском кителе, и вышел в зал.

Народ зашумел, послышались крики, кто-то проклинал правосудие, кто-то, наоборот, прославлял, Светка плакала от счастья, по ходу, она уже стремительно забыла Агеева и всем сердцем и телом перекинулась к его освободившемуся подельнику, ну да, она-то на свободе и хочет жить, как прежде, веселой, беззаботной жизнью.

Я сидела, стиснув зубы, смотрела на Дерябу. Он заметил и улыбнулся мне голливудской улыбочкой. Ну, ладно, тварь, подумала я, не все коту творог, будет и жопой о порог.

После суда я проследила за ними. Дружки его подъехали на «меринах», Деряба сел за руль знакомого мне черного «шевроле-тахо», и все вместе они направились в ресторан «Лазурный», где долго там сидели, а я ждала, все хотела проследить, где живет убийца, но замерзла как собака и вернулась домой.

С тех пор как завершился суд, я не находила себе места. Девчонки в классе ходили в кино, сидели в кафешках, влюблялись, болтали обо всем и ни о чем, просто жили и радовались жизни.

Я же, как осатаневшая от голода волчица, бродила по улицам города в поисках черного «шевроле-тахо». Стояла поздняя осень, смесь холодного дождя и снега сбивала с деревьев последние желтые листья, изо рта шел пар, было зябко и стыло, я надевала черные джинсы, пуловер, сверху — куртку с капюшоном, на ноги — всепогодные «гриндерсы», за спину — рюкзак и шагала по мосту через Волгу.

Великая река так же, как пятьсот лет назад, безостановочно несла мимо города свои темные, стылые воды с ледяной шугой.

По улице Советской я шла до ресторана «Лазурный», центрального места всех тверских бандитов. Там вечерами гремела музыка, слышались пьяные крики мужчин и женщин, и певец блатного мира Миша Круг душевно выводил: «Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем...» Только ког-

¹² «Пыжик» — пожизненное заключение.

¹³ Книга Екклесиаста.

да я там бродила, его уже пять лет, как убили так уважаемые им бандиты, «тверские волки», которые вертели воровскими понятиями по принципу: как заднице теплее, так понятия и поворачиваем, и то, что вчера было по уголовным понятиям черным, если сегодня должно быть выгодным, — становилось белым. Ради денег и власти уголовники, как чиновники, — шли на все. Лицемерные мрази, в своих убогих блатных песнях причитающие о мамочке в белом платочке, ждущей непутевого сыночка из тюрьмы, тогда как в реальной жизни сыночек — уголовная сволочь всегда был готов выкинуть мамочку из окна, если она с ним пенсией не поделилась.

От «Лазурного» я возвращалась по Трехсвятской улице, мимо казино к мосту через Волгу. Иногда делала крюк, шла через Городской сад, заходила в пиццерию, что рядом с кинотеатром «Звезда», там грелась, выпивала чашку чая, торопливо съедала кусок пиццы и снова выходила на улицы. Земля круглая, город небольшой, и «шевроле-тах» по-любому должен был где-то мелькнуть.

Когда ходишь по городу, где тебе знакомы места, в которых ты когда-то бывал с друзьями или родителями, то представляешь, что они где-то рядом и вот-вот выйдут к тебе навстречу. Пока у нас не было квартиры, мы, когда приезжали в Тверь, поселялись обычно или в гостинице «Селигер» на улице Советской, или в гостинице «Колос» на Тверской площади. Это сейчас «Селигер» после ремонта выглядит роскошным розовым отелем, а раньше это была обшарпанная уездная гостиница с удобствами в коридоре. Останавливались в ней заезжие туристы, командированные из области, мелкие бизнесмены, а как-то раз в коридоре мне встретились сестры из секты «Белое братство», все в белых платьях-балахонах.

В селигеровских гостиничных номерах с прожженным окурками ковролином на полу и потеками засохшего вина на столах продукты надо было держать плотно закрытыми, потому как везде шустро бегали мыши, по занавескам прямо-таки до потолка добирались, как белки.

Завтракали мы в номере, в обед че-то там перекусывали, а ужинали, как правило, в гриль-баре напротив гостиницы — полуподвальном помещении старинного, наверное, времен Ивана Грозного здания с толстыми, покрытыми капельками влаги каменными стенами и множеством небольших прохладных залов, где располагались столы и стулья. На ужин мы брали курицу-гриль с острейшим соусом, ели и гадали, что, наверное, пятьсот лет назад в этих сумрачных застенках опричники подвешивали людей к потолку и растягивали на дыбе.

Иногда, если в «Селигере» не было мест, мы останавливались в «Колосе», двухэтажном в стиле ампир здании XIX века. Когда-то, еще до революции, в нем размещалось Тверское городское общество, при советской власти — казармы 48-й Ропшинской стрелковой дивизии, ну а потом кто ни попадя: профсоюз общепита, трикотажная фабрика, с середины 1960-х годов там располагался Дом колхозника, который в конце 1980-х рыночно переобулся в гостиницу «Колос». Несмотря на преобразования, удобства были такими же, как в «Селигере, то есть в коридорах. Там я впервые увидела, что такое кран по-английски. Не знаю, кому из руководства гостиницы в голову пришла мысль сделать в умывальнике отдельный кран для горячей воды и отдельный для холодной. Однако ж сделали, и умываться приходилось очень резво, сначала в ладошки холодной воды набираешь, затем под другой кран руки суешь, холодную воду кипятком разбавляешь. Комнаты в «Колосе» были двух типов: либо на двадцать пять коек, либо на двоих в крохотных кельях, в которые надо было забираться по железной винтовой лестнице. Вечером в полумраке поднимаешься в номер и чувствуешь себя, как в замке Дракулы, страшно, и ждешь, что из-за поворота на тебя бросится вампир.



Никаких вампиров я там не видела, а вот с привидением довелось встретиться. Мне десять лет было, приехали мы в Тверь, остановились в «Колосе, и поздним вечером понесла меня нелегкая на первый этаж к администратору, уж не помню за какой надобностью, и как только с лестницы в коридор спустилась, сразу увидела красноармейца в гимнастерке, солдатских бриджах, на ногах ботинки с обмотками, все как в фильмах про Гражданскую войну. Он сидел на корточках возле стены, смотрел в пол и, услышав мои шаги, поднял голову, повернулся ко мне. На голове у него была буденовка, а всей головы было ровно половина, как будто его шашкой рубанули, и как там буденовка держалась, не понять. У меня сердце в пятки так и покатилося, я завизжала, а красноармеец отшатнулся в стену и вмиг исчез, как будто его и не было.

До сих пор понять не могу, привелось мне тогда или нет, но тот за-предельный, первобытный ужас, который я испытала, — не забуду никогда.

И вот как-то, будучи в центре, проходила я мимо «Колоса», глядь, в здании уже не гостиница, а 6-й отдел ОБЭП УМВД по Тверской области, так на табличке было написано, отдел борьбы с экономическими преступлениями, значит. И только я надпись прочитала и в сторону отошла, как к зданию подкатил черный «шевроле-тахо», из которого вышел Деряба. Что ему было надо в ОБЭПе, — это мне неизвестно, может, на допрос вызывали по какому-нибудь эпизоду дела, но в отделе он подзадержался.

Я успела вызвать такси и ждала его в машине. Полный, лет шестидесяти, дядька-таксист спросил меня, почему ему следует ехать за «шевроле-тахо», я ему наврала, что сестра попросила последить за ее парнем, с кем он встречается. Таксист хмыкнул, посмотрел на меня в зеркало заднего вида.

— Интересно девки пляшут... А деньги-то у тебя есть? Похоже, мы тут надолго.

— Деньги есть.

Денег на самом деле было не так уж и много, и я решила, если не хватит, попрошу таксиста подъехать к нашему дому и подождать, пока я вынесу. В общем, ждали мы минут двадцать, в магнитофоне, как назло, Владимир Высоцкий гнусно педалил тему ситуации:

Пусть счетчик щелкает, пусть, все равно
В конце пути придется рассчитаться.

С каждым щелчком счетчика моя оплата такси становилась все больше, и все сильнее мрачнел таксист.

Наконец, Деряба вышел из отдела, сел за руль и рванул с места так, что комья снега полетели из-под колес.

Мы за ним. Вот так я выяснила, где он живет. В Заволжье, где в районе Соминки располагалось несколько улиц, застроенных коттеджами. Тогда у меня все деньги ушли на оплату такси, домой пришлось добираться на трамвае зайцем.

Напротив дерябинского коттеджа раскинулось огромное поле, заставленное хаотичным долгостроем. В 90-х годах некоторые особо ушлые граждане разными способами урвали денег и принялись возводить себе дворцы, люди думали, что будут жить вечно и деньги будут всегда, но деньги, они такие изменчивые и противоречивые, могут внезапно прийти и так же внезапно уйти и не вернуться. И вообще времена-то смутные были, кто сгинул без следа, кто в тюрьму сел, а кто вообще сбежал из страны. Так и остались дома без присмотра на многие годы.

Как правило, это были кирпичные мрачные домины, некоторые весьма странной архитектуры, больше похожие на замки феодалов, с башенками,

флигелями и пугающими провалами оконных проемов. Заборы вокруг повалены, кто угодно ходит, кто угодно живет, костры жжёт.

Один из таких недостроев располагался как раз перед домом Дерябы. В заброшенных развалинах я оборудовала наблюдательный пункт. Бывала там нечасто, поскольку надо было и школьные дела делать, и домашние. Одинажды два раза в неделю вечером, как начинало смеркаться, трамваем доезжала до Соминки и по тропинке шла через поле к дому. Покрутившись поблизости и не заметив никого, кто мог бы меня увидеть, я бегом взлетала по куче песка перед дверным проемом и оказывалась внутри.

Первый этаж представлял собой огромную яму глубиной порядка пятишести метров, на дне которой в беспорядке громоздился разный хлам: доски, куски арматуры, битые кирпичи, батареи отопления. На второй этаж можно было подняться двумя способами: пройти по краю стены по узкому, шириной с полкирпича, неровному карнизу, а затем подтянуться за край бетонного пола. Путь этот был труден и очень опасен, особенно в темноте. Я придумала второй способ. Нашла широкую доску и положила ее над ямой от дверного проема на первом этаже до края бетонного перекрытия на втором. Путь наверх получился с наклоном сверху вниз, и этот способ подъема был тоже непрост, можно было запросто сорваться и полететь вниз, на кирпичи и арматуру, но все же идти по доске было гораздо удобнее, особенно когда пройдешь несколько раз и приноровишься. Первый раз когда поднималась, доска качнулась, и я чуть не свалилась, хорошо, успела упасть на колени и удержаться.

В плане передвижения второй этаж был гораздо удобнее, под ногами надежные бетонные плиты, тут и там кучи битого кирпича, помятые ведра с остатками засохшего раствора. Оконные проемы второго этажа выходили на все четыре стороны, я, конечно, устроилась с видом на дом, где обитал Деряба.

Невыразительный двухэтажный коттедж из белого силикатного кирпича, огороженный высоким забором из металлопрофиля темно-синего цвета. Кутаясь в пуховик с накинутым на голову кашпоном, я в бинокль рассматривала дом. Смотреть в общем-то было не на что. Всегда закрытые плотными шторами окна, забор, скрывающий двор, а веранда, где был вход, находилась с другой стороны дома. Судя по всему, Деряба жил один, его загорелая подруга на хозяйку дома никак не тянула, и то сказать, мало ли таких подруг вокруг бандитов крутится. Время от времени возле дома парковались дорогие машины: «мерсы», «БМВ», сам Деряба ездил на двух машинах — черном «шевроле-тахо» и на такого же цвета «порше кайен». Чаще предпочитал пользоваться «порше», потому-то, видимо, я так долго не могла засечь его в городе.

При свете дня коттедж выглядел нежилым, движуха начиналась ближе к вечеру, когда возле ворот парковались машины приятелей Дерябы. Спустя некоторое время они разъезжались, по всему видать, к ресторану «Лазурный», жизнь бандитов, она ведь по большому счету убогая и неказистая: украл, убил, поел, выпил и — или в яму в лесу, или в тюрьму.

От моего наблюдательного пункта до ворот громовского жилища было где-то триста метров по прямой, а прицельная дальность «повелителя болотных равнин» позволяла контролировать пространство на дистанции тысяча двести метров, хорошая оптика и пуля весом солидных тринадцать грамм могли бы взять на себя все огрехи российского правосудия.

Но я не решалась. Думала, спорила сама с собой. Могу ли я застрелить человека? Имею ли я право? Не убий, сказано нам в Священном Писании, но разве также не говорится, что «кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию»¹⁴. И что

¹⁴ Ветхий завет. Бытие. Глава 9:6.

«всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь»¹⁵. И разве не воздастся каждому по делам его?¹⁶

Каких добрых плодов можно ждать от бандита?

Я закрывала глаза, и передо мной снова и снова возникал пронзительной зелени летний луг, весь в клочьях утреннего тумана, и черный «шевроле-тахо», и Деряба, раз за разом нажимающий на спусковой крючок пистолета, и папа, падающий ничком на мокрую от росы траву.

Я все помнила и понимала, что мой выстрел решит одну проблему и добавит множество других. По гильзотеке следяки легко вычислят, из какого оружия был произведен выстрел и за кем числится ствол. И тогда мама с Ерофеем останутся одни, а я сяду в тюрьму и уже никогда не смогу быть прежней Никой Гантимуровой, ибо сказано нам: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими»¹⁷.

— Тесны врата, и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их¹⁸, — говорила я, соглашалась, и сомневалась, и так без конца.

В январе я забросила наблюдательный пункт, и тому была веская причина.

В нашем классе учился пацан, Влад Краснобоев. Высокий, дрищеватого телосложения, весь какой-то из себя нескладный, с длинными сальными блондинистыми прядями волос до плеч и выбритыми висками.

В учебе Влад был снулым троечником, такие, как он, живут мнением, что лучше съехать жопой с тёрки, чем учиться на пятёрки. По жизни откровенно тупил, в школе с ним особо никто не дружил, скорее всего, потому что от него исходила аура чудовищной внутренней пустоты и одиночества, он был, что называется, «днищером» — обитал на дне.

В городе таких парней — много. Избалованным комфортной, полной соблазнов городской жизнью, им было страшно становиться взрослыми, потому что во взрослом мире принято самому защищать себя и заботиться о других. Влад был типичным инфантилом, боялся взрослеть и дико трусил жить.

Все его существование было заточено под центровые интересы «днищеров»: от заката до рассвета безудержный онанизм, видеоигры Doom, Manhunt и DotA, общение все больше в интернете на уровне фоточек и двух-трех фраз с такими же соплежухами по жизни, на большее у них не хватало ума.

Его страница «ВКонтакте» была забита фотками оружия, окровавленными трупами, а музыкальный хит-парад возглавляла песня «Тела» группы Drowning Pool. И совсем неудивительно, что с таким убогим образом жизни и тухлой помойкой в голове Влад был фанатом «колумбайнеров» — двух трусливых американских «днищеров» и не скрывал, что мечтает стать таким же, как они. Таким же трусом. Человек, убивающий безоружных, не может быть смелым, да и человеком его назвать нельзя.

Мне со стороны было видно и понятно, что все «днищеры» по жизни ползут под грузом библейских грехов — зависть к успешным, уныние, скука, страх, тщеславие, гордыня и гнев пожирают их изнутри, как раковая опухоль. Ненависть к людям стала основой души Влада. Он считал людей трусливыми, злыми и сгнившими, хотя на самом деле это он был трусливым, злым и давно уже сгнил изнутри.

Все «днищеры» очень любили разговоры о смерти, а ведь известно, греховное тело, лишенное разума, стремится к небытию, а гордыня, грех самого Сатаны, начавшись с тщеславия, может довести грешника до глубин ада.

¹⁵ Евангелие от Матвея, 7:19.

¹⁶ Евангелие от Матфея, 16:27.

¹⁷ Евангелие от Матфея, 7:13.

¹⁸ Евангелие от Матфея, 7:14.

Дохловатая внешность Влада была под стать его нервной, дерганой походке, еще он любил украдкой щипать девчонок, да так, чтобы вскрикнули, а он при этом кривил губы в мерзкой ухмылочке. Также, бывало, учеников младших классов пинал втихаря, когда никто не видел, но мне довелось заметить несколько раз.

Ко мне как-то подкатил на перемене, щипнул за руку повыше локтя, так стиснул, что у меня в ушах зазвенело. Я рванулась в сторону, а он улыбается, как будто ни при чем, сволочь. Другой раз стояла в коридоре, смотрела в окно на школьный двор, он тихо так подкрался, встал рядом.

— Вчера щенка сбросил с девятого этажа. Ну и видосик был, скажу я тебе... — Он облизнул губы. — Башка оторвалась, хе-хе.

— Твоя башка, — сказала я и стиснула зубы.

— Не понял?

— Твоя башка оторвалась. Тебя, видимо, младенцем с крыши сбросили.

— А ты че такая дерзкая? — ощерился он.

— Отвали, придурок.

— Щеночка жалко? — ухмыльнулся он.

Я не ответила и отошла в сторону.

И вот как-то вечером, когда я сошла с трамвая на Соминке и знакомым маршрутом направилась к наблюдательному пункту, я заметила Влада. Если точнее, увидела его еще в трамвае, но вида не подала, вышла и быстрым шагом рванула по тропе к недострою. Перемахнула через кучу смерзшегося строительного мусора, юркнула в провал в стене, по доске метнулась на второй этаж и, скрываясь за стеной, осторожно выглянула.

Влад стоял в тени кустов возле трамвайной остановки и смотрел на дом, видимо, размышляя, что я здесь делаю. Прошло пять, десять минут, а он все стоял за кустами, переминаясь с ноги на ногу, мороз был хоть и слабый, но все же поджимал. Ждет, когда выйду из дома и пойду назад? И внезапно я поняла, он ждет темноты. И точно, спустя полчаса, когда сумерки скрыли тропу, в соседних домах в окнах зажглись огни, а к остановке ярким ламповым пятном подкатил, дребезжа металлическим грохотом, обшарпанный трамвай, по тропе к дому метнулась тень.

К этому времени я уже была готова. Собственно говоря, мне и готовить особо нечего было, как говорится, все свое ношу с собой. В карманах у меня были перцовый баллончик и складной нож, в том, что он мне пригодится при случае, я нисколько не сомневалась. И вот этот случай настал.

Я хладнокровно смотрела, как Влад крался по тропе, как какой-нибудь чикатила, оглядываясь по сторонам и прячась за кустами на обочине.

Последние десяток метров он преодолел короткой пробежкой и остановился в проеме двери, переминаясь с ноги на ногу и прислушиваясь. Со второго этажа я слышала скрип снега под подошвами и прерывистое дыхание.

Подбрасывая нож на ладони, я ждала и размышляла. Нет, нож — это стремно, много крови, и мне совсем не улыбалось оказаться в колонии из-за какого-то школьного придурка.

Угрожать ножом нет смысла, нож хорош в деле, убийство — это не шутки, но в одном я была уверена, Влада следует наказать здесь и сейчас, да так, чтобы он спинным мозгом понял, что бить детей исподтишка и стрелять беззащитных людей — это совсем не та цель в жизни, к которой следует стремиться.

Брызнуть перцем из баллончика? Ну что ж, сойдет как вариант. И тут я вспомнила, что в рюкзаке у меня лежит фонарь, американский «шурфаер», или, как я его называла, — «шурик». Почти килограммового веса корпус фонаря был сделан из анодированного алюминия с резиновыми накладками, таким фонарем можно лупить, как дубинкой. В Нелидово был случай, когда на меня кинулась дворняга, я ее так треснула «шуриком» по башке, что



псина мигом поняла, что к чему, и отвалила. Но все-таки главная ударная сила «шурика» была в его нереальной световой мощности. В Мензе я демонстрировала местным пацанам, что такое сила светового потока тактического фонаря, включала «шурик» на полную мощность, подносила к лучу света лист газеты, и через считанные секунды бумага начинала тлеть и дымиться, а когда на турборежиме я светанула одному пацану в глаза, тот как подкошенный упал на колени и полчаса вообще ничего не видел. Сейчас, когда на улице стемнело, а в доме была темень хоть глаз выколи, мощность фонаря увеличивалась в разы. По сути, по своему воздействию «шурик» можно было сравнить со световой гранатой. Я быстро достала фонарь из рюкзака, поставила тумблер на максимальную мощность и, положив на плечо, как дубинку, выглянула в проем стены.

Влад стоял рядом с доской, ведущей на второй этаж, и, казалось, размышлял, стоит ли подниматься. Затем он медленно вытянул руку из кармана, послышался характерный металлический щелчок, и в его ладони тусклым металлическим отблеском мелькнуло лезвие. Ну вот и определился, чувачок, подумала я.

Наклонилась, подняла с пола камешек и запустила его в противоположную сторону, давая понять, что я здесь и не знаю о чужом присутствии. Край доски чуть приподнялся и опустился, стало понятно, что Влад крадется наверх. Я шагнула из-за стены и встала в проеме. «Шурик» тяжело и надежно лежал на плече, палец — на торцевой кнопке. В крошечной темноте на доске можно было различить только силуэт. Я знала, что прямо сейчас зрачки Влада, приспособиваясь к темноте, максимально расширяются и совсем не готовы принять в упор две тысячи люмен светового потока. «Это будет круто», — улыбнулась я.

Он поднимался медленно, сосредоточенно смотря под ноги. Дойдя до середины доски, остановился, взглянул вверх. На фоне дверного проема я смотрелась на отлично.

— Ку-ку, — зловещим шепотом произнес Влад. — Что это ты здесь делаешь? Котят кормишь? — И хохотнул мерзким козлиным смешком.

— Тебя жду, — ответила я и щелкнула кнопкой.

Черноту замкнутого пространства разрезал сверкающий белый луч, и помещение залило пронзительным белым светом.

Влад смешно хрюкнул, неуклюже взмахнул руками и полетел вниз. Глухой удар совпал с утробным вскриком.

Я повела лучом, освещая яму под доской.

Влад лежал в жуткой акробатической позе, перегнувшись спиной через край железной бадьи с кусками засохшего раствора на дне.

Руки закинута за голову, ноги сжаты в коленях, как будто он пытался за спиной схватить ноги руками. Глаза его были широко раскрыты, он смотрел на меня, но я была уверена, что он ничего не видел. После того как вы поймаете зрачками световой удар мощностью две тысячи люмен, вы теряете способность видеть минут тридцать, а если схватили луч в темноте, то прибавьте еще минут двадцать, а когда зрение все же к вам вернется, то мир вокруг минимум полчаса будет черно-белого цвета. «Шурфайер» — это совсем не китайский фонарик, уверяю вас.

Послышался протяжный стон. Влад дышал тяжело и прерывисто, тарачил невидящие глаза и стонал.

Я присела в дверном проеме, посмотрела вниз.

— Как будто с девятого этажа тебя сбросили, как щенка, правда? — сказала я участливым тоном.

Влад молчал, и участливость в моем голосе сменила ненависть.

— Запомни, гнида, задротов-колумбайнеров хоронят в помойной яме, как бомжей, и забывают напрочь. Видишь меня?

Влад лихорадочно облизнул губы и прохрипел:

— Нет.

— Не ссы, зрение к тебе вернется. Ну-ка, ногами пошевели.

Он дернулся всем телом, руки хаотично метнулись по сторонам, ноги как висели, так и не дернулись.

— Н-не могу...

— Похоже, у тебя проблемы. И нешуточные.

Он не ответил.

— Знаешь, я могла бы сбросить кирпич тебе на голову, но не буду этого делать. Вызову «скорую», ты будешь жить, но другой жизнью. У тебя будет время подумать о ней. Но если хоть словом вспомнишь обо мне, будь спок, я приду к тебе, и тогда ты пожалеешь, что не умер сразу. Всосал?

— А-а-а... да! — выдохнул он и заскулил, жалобно так.

Подсвечивая дорогу фонариком, я быстро спустилась по доске к выходу, щелкнула кнопкой, выключила «шурик». Двумя прыжками перемахнула через гору мусора, прыгнула в сторону, прячась за кучей щебня. К дому со стороны коттеджей уже бежали двое охранников.

— Видел?! — крикнул один из них на бегу.

— А то! Полыхнуло будь здоров! — ответил его напарник. — Что за хрень?!

— Может, взорвалось че? Звони в пожарку!

Подождав, когда охранники скроются в доме, я, пригибаясь, покинула свое убежище и помчалась к трамвайной остановке.

На следующий день в школе только и говорили, что Влад в больнице, у него сломан позвоночник, и, скорее всего, остаток жизни он проведет в инвалидной коляске. Все удивлялись месту, где его нашли, какого черта он там шарахался, в каком-то непростом? В конце концов закончилось тем, что Влада перевели на домашнее обучение, и все забылось. Судя по всему, обо мне он ничего не сказал, да и что он, собственно, мог рассказать? Побегал за девчонкой и упал в яму? Ну, так осторожнее надо бегать, мальчик, и под ноги смотреть, когда бежишь.

Мама целыми днями пропадала на работе.

С деньгами у нас не то чтобы совсем плохо было, но бывали дни, когда концы с концами едва сводили, питались макаронами и картошкой. Хорошо еще, на городском рынке остались знакомые фермеры, они нам скидку делали, а тетя Галя, наша знакомая владелица фермы из Нелидовского района, иногда угощала мясом просто так, бесплатно.

Тем не менее о деньгах мы думали постоянно, особенно я. Мне никак не давала покоя мысль, куда же делись деньги от продажи земли на Селигере, коммерческой недвижки в Твери, автотранспорта и части монет? Бабки огромные, это вам не баран чихнул. За несколько дней перед нападением папа никак не успевал их надежно спрятать, один раз он ездил в Тверь, и все. Следователь сказал нам, что бандиты деньги не взяли, потому как не нашли, а куда они делись, черт знает. Наш деревенский дом мы обыскали от погреба до чердака и обратно, кладовки, сараи просмотрели, весь огород изрыли, может, там где закопано. Я даже несколько раз на рассвете выходила из дома и нюхала воздух, девочки чувят деньги, как кошки — мышей. Никаких запахов и следов. Деньги как в воду канули.

Конечно, оставались еще спрятанные на острове Барона монеты и драгоценные камни, но я о них старалась не думать. Клад нам счастья не принес, и, даже если его взять, вряд ли нам удалось бы реализовать такие безумные

ценности и остаться в живых. Нам всего лишь были нужны наши, и только наши деньги.

Прозрение пришло, как водится, внезапно и вдруг.

Маша и я, как всегда, тусовались на ипподроме. Тянулся пасмурный бесконечный февральский день. Маша отмечала очередной праздник живота, и потому на перекус у нас была пицца по-гавайски, с ананасами, на мой вкус — сладковатая, но выбора не было, мама Маши принесла с заводского магазина.

— Я просила, чтобы неаполитанскую, с колбасками купила, — сокрушалась Маша, — да у нее денег на вторую не хватило.

С коробкой пиццы и кружками горячего чая мы устроились на старом диване возле денника Мафика и принялись болтать на житейские темы. Маша по секрету рассказала, что для увеличения груди их надо натирать чесноком. Я только хмыкнула, проблемы груди и бедер меня волновали меньше всего.

— У меня даже менструяка нет, какие груди, Маш?

— Не переживай, будет, — заверила она.

У нее первая менструация случилась месяц назад, и теперь она всю осваивала тонкости интимной гигиены.

Новостей особых не было, потому разговор постепенно свелся к обсуждению планов, что мы будем делать после окончания школы.

— Мама советует поступать в колледж на хлебопека, — Маша грустно улыбнулась. — Всегда, говорит, кусок хлеба будет. А мне как-то за кусок хлеба работать... не очень хочется. В универ на платное, она сказала, меня не потянет, а на бюджет фиг поступишь.

— У меня соседка — дипломированный международный экономист, сейчас кроссовками на рынке торгует, — ответила я, прожевывая пиццу. — Мне папа советовал заниматься в жизни следует тем, что лучше всего получается. У каждого человека есть способности, надо только заметить их и развить. Тебе что лучше всего получается делать?

Маша задумалась.

— Ну, не знаю... Нравится пирожные выпекать, тортики, всякую сдобу, в общем.

— Нормально. Значит, кондитер из тебя получится хороший. Поступай в колледж, где хлеб, там и пирожные, потом на курсы кондитеров можно будет пойти, мастер-классы разные. Понимаешь, сейчас очень мало людей, которые что-то умеют и любят делать руками. Таких по-настоящему мастеровых пацанов и девчонок, на которых, собственно, в любой стране держится малый бизнес. В самом деле, не на болтливых же блогерах ему держаться. Почему-то мало кто хочет работать физически, многие хотят получить высшее образование, все равно какое, лишь бы диплом был, тусоваться в интернете, в общем, жить по принципу «грязной тачкой рук не пачкай — мы это дело перекурим как-нибудь».

Я достала из кармана куртки складной нож, раскрыла его и показала Маше.

— Вот, глянь-ка.

Она осторожно взяла складень в руку.

— Красивый.

— Да, неплохой. Папа купил в Монтане. Так вот, расскажу тебе историю. Когда-то в ЮАР жил-был парень, его звали Крис Ривз, и он с детства мечтал стать владельцем слесарной мастерской. Вполне себе житейская, хорошая мечта.

— Нормальная мечта, — согласилась Маша, возвращая нож.

— Пока он мечтал, жизнь в ЮАР начала резко меняться, и, поразмыслив и прикинув, что к чему, Крис свалил в Штаты, где открыл сначала гаражную мастерскую, а затем предприятие «Крис Ривз». Сейчас эта компания является культовой среди фанатов холодного оружия, а Крис стал очень богатым

человеком. Но ведь начиналось все в гараже, с верстака, слесарных тисков и желания сделать хорошую вещь. И никаких тебе дурацких проектов на молодежных форумах, халявных грантов, безумных споров в интернете, как нам обустроить страну, кто виноват, и что делать.

— Все равно деньги нужны... — заныла Маша. — Знаешь, как говорят, есть пять копеек — и бабушка в торгу, и мастер-классы.

На хроническую нехватку денег Маша жаловалась постоянно. Отца у нее не было, зато была младшая сестра, и всю семью тянула одна мама-формовщица. Иногда нам перепали заработки в городе, когда мы катали детей на лошадях. Хотя какие там были заработки, так, гроши на в кафе сходить.

— Прикинь, я одно время хотела встретить богатого папика, — сказала Маша.

— Ты дура, что ли?

— Ну, наверное, да, была. Сейчас уже нет.

Она помолчала и добавила упавшим голосом:

— Очень денег хотелось. Думала, вот будет рядом богатый бизнесмен, он будет меня холить и лелеять, как Гумберт свою Лолиту.

В голосе Маши слышалась такая непроходимая тоска и горечь безотцовщины, что мне стало не по себе. Мне захотелось заплакать, еле сдержалась, хотя Машка носом все-таки хлюпнула.

Ёлки-палки, нам было всего-то неполных четырнадцать лет, нам хотелось ходить в кафе, есть пиццу, мчаться на лошадях к закату солнца, и чтобы будущее было, как в песне: «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь...».

В тишине наступающих сумерек мы молчали и думали о своем и об одном. Маша терзалась мыслями, как разбогатеть, я же мучилась вопросом, где лежат наши деньги, в конце концов, куда-то же они делись?!

— Деньги решают многие проблемы, — сказала я. — Только бывает и так, что они создают проблемы.

«Не было бы денег, — подумала я, — и папа был бы жив. Был бы Осипов скромнее в своих желаниях и сейчас бы не гнил в тюремной камере. Ненасытимы глаза человеческие»¹⁹.

На улице было сумрачно и довольно тепло для февраля, минус два или около того, шел слабый снег, и большие мягкие снежинки кружились в воздухе, падали на землю и превращались в грязную ледяную кашу. Сквозь редкое ограждение денника Мафик тянулся мордой ко мне, старый конь чувствовал в кармане запах хлебной горбушки с солью. Мафика не проведешь, он жизнь коня прожил — не поле перешел.

— Может, банк грабануть?

Я вспомнила сидящих за решеткой снулых «тверских волков» и улыбнулась.

— Много ты знаешь счастливых ограблений банков? Одиннадцать друзей Оушена бывают только в кино, а в реальной жизни в тюрьмах сидят одни лузеры, дебилы-ауешники. В тюрьму попасть — ума много не надо.

— Мне четырнадцать будет в июне, у тебя в августе, нас в тюрьму не посадят.

— Скверная идея, Маш. Это тебе возраст медведя такие мысли подкидывает.

— Какой еще возраст медведя?

— Мне папа говорил, что каждый человек проходит через возраст медведя. По своему мышлению и поведению медведь сравним с подростком. Думает, что он самый умный и хитрый и что все его проступки сойдут ему

¹⁹ «Преисподняя и Аваддон — ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие». Притчи, 27:20.

с рук, ну, или лап. Он лезет туда, куда не надо лезть, понимает, что это опасно, и все равно лезет. Бывает, что какое-то время его проступки остаются безнаказанными, но наступает момент, когда медведь получает заслуженную пулю в голову или садится в клетку. Это случается всегда. Потому что, каким бы ни был медведь умным и хитрым, человек всегда умнее и хитрее зверя.

Так же и подросток. Думает, что он самый крутой, умный и хитрый, лезет в ларек за сигаретами и пивом, идет на ограбление, считая, что все сойдет ему с рук. На самом деле, за все в жизни приходится платить.

И для нас сейчас самая главная задача — пройти возраст медведя с умом и без потерь, без нежданчика в виде беременности, без наркоты, синьки и курева, тогда мы останемся людьми. Те из нас, которые не смогут преодолеть возраст медведя, останутся зверьми, умственное развитие у них остановится. Слышала про ауешников?

— Это пацаны, которые в тюрьму мечтают попасть?

— Они не смогли пройти возраст медведя, и умственное развитие у них остановилось. И в жизни им уже ничего хорошего не светит, так и будут до смерти по тюрьмам гаситься и чифир сосать из общей кружки.

— И когда он заканчивается?

— Кто?

— Возраст медведя.

— Ну, это смотря у кого как с головой. Вообще, в восемнадцать-двадцать лет уже можно выдохнуть.

— Блин, насчет ограбления это я так, мысли вслух. Еще вот лотерейные билеты покупаю каждую неделю, может, повезет.

Я скептически хмыкнула.

— Хорошо бы выиграть квартиру в Москве, или машину, или что-нибудь, хоть черта в ступе, — продолжала мечтать Маша и, вытянув ноги, постучала носками сапог, один о другой. — Или еще круче — сорвать джек-пот. Вот было бы здорово! Или знать бы какой-нибудь далекий таинственный остров, и чтобы там хранились пиратские сокровища, и чтобы секретная карта была бы только у нас...

И тут меня словно ледяным одеялом накрыло.

— Ты чего, Ника?! — словно издали, доносится до меня испуганный возглас Маши. Она тронула меня за плечо. — Побелела вся, а?

— Сердце... кольнуло... — присипела я вмиг севшим голосом.

— Во блин!...

— Все нормально, — успокоила я ее. — Нормально все.

Мне всегда казались странными последние слова отца: «среди лесов зеленых... среди лесов зеленых...» Что он этим хотел сказать? И сейчас мне вдруг все стало ясно. Тогда, на дрезине и в больнице, вокруг нас было много чужих людей, и папа старался сказать так, чтобы поняла только я, и никто из других людей рядом. И был он тогда не в Твери, черт возьми! — ведь это так просто, сказать, что еду в Тверь, а сам в другую дверь.

Я вдруг поняла, где находятся наши деньги.

— Мне домой пора, Маш.

— Я тебя провожу, и даже не возникай.

Мы встали с дивана, и Мафик наконец-то получил вождеденную горбушку хлеба.

Маша проводила меня до остановки и посадила на трамвай.

— Как доберешься, позвони мне, ок?

— Обязательно.

Старый трамвай, лязгая металлическими сочленениями, повез меня через город и мост за Волгу.

Я сидела возле окна и снова и снова вспоминала последние слова папы «среди лесов зеленых... среди лесов зеленых...»

В трамвай зашел диковатого вида пожилой мужчина и принялся истово креститься на купола церкви за окнами. Церквей в Твери много, и мужику приходилось вертеться на сиденье, выглядывая по сторонам, чтобы не пропустить луковичные купола с золотыми крестами на вершинах. На очередной остановке в трамвай впорхнули три девушки в лосинах, коротких юбках и курточках, мужик посмотрел на них злобно и, спасаясь от греховных мыслей, принялся осенять себя перекрестиями с еще большим рвением.

На мобильник позвонила мама.

— Ерофея забереешь?

— Заберу, мам.

Я вышла на остановке и по пути домой зашла в детский садик за братом.

— Мороженное купим? — сразу спросил он, едва мы вышли из детсада.

— Я рассмотрю ваше предложение, сударь.

— Только ты побыстрее рассматривай, ладно?

И я подумала, почему бы и нет?

Мы купили мороженное и по снежной каше побрели к дому, вернее, я побрела, таща за собой санки с Ерофеем. Город окутали лиловые сумерки, и прохожие словно привидения мелькали тут и там. На вещевом рынке торговки закончили торговлю и упаковывали товар по сумкам, готовясь разойтись по домам.

В квартире я сбросила сапоги и, не снимая куртки, прошла в свою комнату.

— Сначала суп, потом мороженное, — сказала я мимоходом.

— Суп мы в детском саду уже сегодня ели! — запротестовал Ерофей.

Я провела ладонью по ряду разноцветных книжных томов на полке, вытянула из их тесных рядов зеленую книжицу стихов Уильяма Йейтса и прошла на кухню. Ерофей сидел за столом и как замороженный смотрел на коробку с пломбиром.

Я присела рядом, открыла книгу, пролистала страницы, нашла стихотворение и четко, с выражением прочитала вслух:

Там, среди лесов зеленых,
В болотистой глуши,
Где, кроме цапель сонных,
Не встретишь ни души, —
Там у нас на островке
Есть в укромном уголке
Две корзины
Красной краденой малины.

В наступившей тишине, я обняла брата, поцеловала в макушку.

— Ерошка... Пришло время есть мороженное.

Он взглянул на меня глазами отца.

— И малину?

— Малину будем есть летом.

Часть 3 Костяной Мох

Если никогда не пойдешь в лес, с тобой никогда ничего не случится и твоя жизнь так и не начнется.

К. Эстес. «Бегущая с волками»

О том, чтобы немедленно идти во Мхи, и думать было нечего. Зимой там снега по пояс, а под снегом — незамерзающая ледяная трясина. По-любому придется ждать лета.

До июня я как на иголках была, только и думала о предстоящем походе, старом блиндаже на островке посреди заросшего камышом озера, снова и снова просчитывала, вспоминала маршрут, приметы тропы. И готовилась. В первую очередь физически. Через день бегала на ипподроме. Пускала лошадь по кругу, а сама с груженным песком рюкзаком бежала рядом, держась за луку седла.

— К Олимпиаде, что ли, готовишься? — обалдевали девчонки.

Я отшучивалась, что, мол, стараюсь держать форму.

— Какая форма, ты и так худая как селедка! — удивлялась Маша.

— Потому и худая, что бегаю, — отвечала я.

Для поездки в Тросно нужны были деньги, и первое время я экономила на школьных перекусах в буфете, на мелочи, которую мне мама выдавала каждый день. Старалась больше ходить пешком, чтобы за билеты на трамвае и автобусе не платить.

Посоветовалась с Машей, и она подкинула идею заработка: собирать конский навоз и продавать дачникам. И мы принялись собирать по конюшне навоз, паковали его в мешки для строительного мусора и на Мафике втихаря вывозили за территорию ипподрома, где нас уже ждали покупатели. Мафик за участие в нелегальном бизнесе получал свою долю яблоками и уже через пару дней мудро смекнул, что без него мы никак не справимся, и стал вести себя, как крестный отец мафии: мог потребовать оплату вперед и после сделки не гнушался вымогательством дополнительной пайки хлеба с солью. Выхода не было, приходилось идти на поводу, поскольку на все призывы к совести старый мудальерос только скалил зубы и неприлично ржал, скотина этакая.

В марте, во время весенних каникул, финансовый вопрос решился как нельзя лучше: меня по протекции отца соседки Ани — Ивана Викторовича — взяли на подработку в почтовое отделение. Сначала начальница не хотела меня принимать, мол, мала еще, но потом махнула рукой, и я две недели бандероли с посылками сортировала, заработала семь тысяч рублей плюс три тысячи получила за навозный бизнес, для моих предстоящих дел собранной суммы было более чем достаточно.

Ближе к лету стала вырисовываться проблема каким-то образом обосновать свое отсутствие дома в течение некоторого времени. Я прикинула, четырех-пяти дней должно было хватить, но лучше неделя. Пришлось привлечь к планам Машу. Сказала ей, что мне надо позарез смотаться в Нелидово без ведома мамы, и следует что-то придумать.

— Конный поход, — не задумываясь, ответила она.

— В смысле?

— Каждое лето девчонки ходят в поход на лошадях. Обычно на два-три дня, но можем сказать, что на неделю.

Так мы и сделали. Я заранее предупредила маму, что в июле собираюсь с девчонками в конный поход в Бежецкий район, а Маша клятвенно подтвердила, что так и есть, в поход идем, на неделю. Мама была не против.

В конце мая я окончила седьмой класс и перешла в восьмой. Начались летние каникулы. Я еще месяц выжидала, молила бога, чтобы дождей не было и тропа просохла.

В начале июля, на Аграфену, съездила к Маше на дачу, собрала там ворох крапивы и шиповника²⁰, сожгла на удачу и, как домой вернулась, стала собираться.

²⁰ Аграфена Купальница — 6 июля — праздник, включающий множество обрядовых действий, приговоров, примет, гаданий, легенд и поверий. На Аграфену собирают колючие растения и сжигают, чтобы избавиться от несчастий и бед.

Перво-наперво положила в рюкзак «сайгу», два магазина по десять патронов каждый и отдельно пять патронов, снаряженных серебряными пулями. Больше смысла не было брать, если не помогут двадцать пять патронов, значит, дело дрянь, и пятьдесят не спасут. Еще взяла пару фальшфейеров, десятикратный бинокль «редфилд», он был гораздо легче старого немецкого бинокля, водонепроницаемый и с нескользящим резиновым покрытием. В рюкзаке также поместились моток альпинистской веревки, силовой пояс, рулон армированного скотча, рабочие перчатки, два фонаря — налобный «феникс» и всегдашний «шурик», большой кусок хлопчатобумажной ткани на случай рану перевязать и марлевый бинт, два мешка для строительного мусора, очень крепких, небольшой топорик и папин финский нож с рукояткой из карельской березы. В карманы штанов положила коробку с рыболовными крючками, леской и спичками.

Котелок не стала брать, супы и борщи варить я не собиралась, решила обойтись сухим пайком. Взяла только полулитровую стальную кружку и початый рулон пищевой фольги. В фольге можно что угодно запечь, и посуды не надо.

Продукты решила закупить в Нелидово.

Из одежды взяла штаны от старого охотничьего костюма, футболку, немецкий камуфляж, резиновые сапоги, портянки — куда ж без них. На голову — кепку «Remington». Вот в общем-то и все. До Нелидово я решила ехать в обычной городской одежде: джинсах, футболке, ветровке и кроссовках.

В избранный день попрощалась с мамой и поехала на автовокзал.

В автобусе на Нелидово, надо же, встретила мне Лидия Васильевна, наша давнишняя знакомая. Она незнамо сколько лет лабазничала²¹ в Нелидово и когда-то вместе с нами торговала на базаре в Твери.

Лидия Васильевна поинтересовалась целью моей поездки, и я ответила, что в бывшем нашем доме надо забрать кое-какие вещи да к бабке Василисе заглянуть, поведать.

— К Василисе?

— Ну да, — невозмутимо ответила я.

Лидия Васильевна надолго озадаченно замолчала. Василису знали все.

— И как она там одна живет? — после долгой паузы, вздохнув, сказала Лидия Васильевна. — Тепловоз пока еще ходит, лесорубы технику вывозят, дачники вот за земляничкой в лес потянулись. А потом? Поезд, говорят, скоро отменят, и как она будет жить?

— К ней гости приезжают иногда.

— Ну, гости... что гости...

— И хлеб она сама печет, огород есть, куры, козы, молоко, а больше ей ничего не надо, бабушки, они как птички, по зернышку поклевали, тем и сыты.

— Это смотря какие бабушки, — Лидия Васильевна хмыкнула, — иные мечут так, как будто с голодных лагерей вырвались.

— Наверное, потому что такого изобилия у них в молодости не было, вот и отрываются.

Вот так мы ехали и болтали о том о сем. Народ вокруг шуршал газетами, хрустел чипсами, в салоне автобуса пахло беляшами, пивом, нагретым пластиком, прогорклым человеческим потом и засаленной велюровой тканью. Лидия Васильевна достала из пакета жареную курицу и предложила мне. Я отказалась, не принято у нас вкушать пищу на виду и где попало. В кафе какое я бы еще могла зайти и поесть, но в автобусе на коленях рвать курицу, нет, это не по-нашему.

²¹ Лабазничать — держать торговую лавку (тверск.).

— Мой-то слышала, что отчудил? — спросила Лидия Васильевна, грызя куриную ногу и скорбно качая головой.

«Моим» она за глаза называла своего мужа, тощего мужичка лет около пятидесяти со страшным для наших мест именем — Арчибальд Иванович и великой, духовно-скрепной фамилией — Бухалов. Никто его по имени отроду не звал, все больше Арчем кликали, как собаку какую, а жена его, Лидия Васильевна, так и вовсе «индейцем» звала, а в иных случаях — засранцем. Почему индейцем, черт его знает. Может, потому, что от неумемного потребления синьки и курева лицо Арчибальда Ивановича приобрело цвет темно-красного кирпича, а может, потому, что по пьяной лавочке уверял всех, что он прямой потомок вождя индейского племени команчей и в России оказался по досадному историческому недоразумению, а по какому недоразумению, он и сам не помнил.

Жену свою Арчибальд Иванович боялся до ужаса и, хотя нигде не работал, суетился по хозяйству, готовил ужин, пока Лидия Васильевна торговала на рынке.

— Вечером прихожу и, если жарка не готова, — сразу в торец бью, — делилась Лидия Васильевна секретами семейной жизни. — А рука у меня дюже тяжелая.

И то сказать, видной лосехой²² была Лидия Васильевна Бухалова.

Помня о тяжелой руке жены, Арчибальд Иванович всегда старался угодить супруге, но иногда срывался, давал, что называется, маху и впадал в хоть и кратковременный, но жесточайший запой. Питие продолжалось три-четыре дня, а затем протрезвевший Арчи со свежим фингалом под глазом тащил в постель супруге яичницу на сале и бутылку пива, из которой ему милостиво разрешалось глотнуть пару раз.

Несмотря на трудности бытия, Арчибальд Иваныч жил не тужил, летними днями гонял на велике по Нелидово, разыскивая своих непутевых свиней, которые вечно шарились где ни попадя, то и дело норовя залезть в чужие огороды, за что были неоднократно биты, иногда вместе с хозяином, а семейству Бухаловых выставлялись счета за огородные погромы. Тем не менее «команч» Арчи не унывал, до поры до времени не унывали и свиньи.

— Нет, не слышала. А что случилось? — спросила я.

Лидия Васильевна вновь горестно покачала головой.

— В прошлом году перед ноябрьскими праздниками борова решили забить. Я-то, как всегда, на рынке была, Арчи трезвый, ну, я и понадеялась. Забойщик был из Межи, в помощниках Арченок мой да его дружки, такие же дураки.

Последнее слово Лидия Васильевна произнесла громко и отчетливо, так, что на нас соседи по салону стали оглядываться.

Лидия Васильевна помолчала и продолжила:

— Забили они борова, все как положено, разделали, тушу на крюк подвесили и пошли, балбесы, в хату, чтобы, значит, перекурить. Как же! Пить они пошли, сволочи! По стопочке, затем по второй, уж не знаю, сколько они там перекуривали... — Она опять поджала губы и посмотрела на мелькающие поля и перелески за окном автобуса. — Соседка моя, Татьяна, стучится в дом, что, мол, у вас случилось? А они: «А что такое?» А она им и говорит, что видела как «скорая помощь» к дому подъехала, санитары выкатили со двора носилки с телом, простынку накрытым, погрузили в машину и уехали. Мужики подхватились на задний двор, где свинья на крюке висела, а там, прости господи, хер ночевал. Пустой крюк болтается. Как я Арченка на крюк не повесила, — соседи остановили. Нет, ну надо же, сообразили, ханурики, свинью

²² Лосеха — гладкая, здоровая баба (тверск.).

за больного выдать. Как вспомню, так плакать хочется, такой гладыш²³ был, сто пятьдесят килограмм чистого весу.

Лидия Васильевна погрузилась в горестное молчание. Я же подивилась искусству воров. Да уж, разыграли спектакль. Мне припомнилось, что с Арчибальдом Ивановичем все время какие-то истории случаются. Надумал он как-то раз колоть кабана по кличке Жулик. Дело было непростое, тут и глаз меткий, и твердая рука нужны, и тесак хороший. Самым известным забойщиком в округе считался здоровенный мужик Петр Лукич из Межи, у него для таких дел даже спецоборудование имелось — клинковый штык от австрийской винтовки «манлихер» времен Первой мировой войны. Рука у него была твердая и легкая, и его все звали, если требовалось скотину забить. В Тверской области свиней обычно режут, тогда как в Забайкалье их стреляют. И папа мой всегда винтовкой пользовался, когда скотину требовалось забить. У нас это было так: перед забоем свинью не кормят, потом ставят перед ней таз с отрубями, и только она рыло радостно туда сунет, тут ей — бац в голову. Свинья только копытом взбрыкнет, и дух долой. Папа обычно стрелял из мелкашки, домашние свиньи — это не дикие кабаны, лобная кость у них тонкая.

В общем, Лидия Васильевна пожадничала платить и стала думать, где бы за недорого найти мастера по забою. Однако недаром говорят, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной, потому как Арчибальд Иванович возьми и скажи, что он и сам спец и профи по части забоя свиней и крупного рогатого скота. Лидия Ивановна было засомневалась, но Арчи приволок какого-то помирушку-субутыльника, и тот клятвенно подтвердил, что был свидетелем забоя и видел Арчи в деле, уж такой он мастер, такой мастер... Настоящий команч!

Короче, на дело Арчибальд Иванович пошел со столовым ножом. стакан водки для храбрости выпил и с маху саданул кабана в бок. Понятно, что со столовым ножом на кабана не ходят, пусть даже и домашнего, и если Арчибальд Иванович и был мастером-забойщиком, то разве что во сне.

Обезумевший от боли и подлости хозяина Жулик одним ударом рыла сбил с ног Арчи и двух его подельников, вырвался из загона во двор, снес калитку и помчался по улице. Поболее часа бегал. Добежал аж до вокзала, где пассажиры проходящих поездов с изумлением и ужасом смотрели на мечущегося по перрону окровавленного визжащего кабана с ножом в боцине. Кое-как загнали кабана в подъезд, и там его вызванный наряд милиции застрелил. Сержанту, одной короткой автоматной очередью положившему конец безобразию Жулика, пришлось потом четверть туши отдать в знак благодарности за потраченные боеприпасы.

— Это ж надо такое учудить! — все сокрушалась Лидия Васильевна. — Мафия, чисто мафия, вот что я скажу! Нигде от нее спасения нету.

За окнами автобуса мелькали леса и заброшенные колхозные поля, и чем дальше мы ехали, тем больше становилось леса, и вместо полей стали появляться лесные поляны.

На остановке во Ржеве перед вышедшими из автобуса пассажирами выступили двое цыган: мужчина и девочка лет четырнадцати, моя ровесница. По всему видать, отец с дочерью.

— Дорога дальняя, люди добрые, песни веселые! — крикнул цыган и растянул меха гармони.

— А я не хочу четыре стены, пол, потолок! — звонким голосом закричала девочка. — Солнце хочу, неба хочу, ветра хочу и дорог!

Бодро закончив песню, они прошлись вдоль толпы пассажиров и местных зевак, собирая деньги с поклонников. Я бросила мелочь в шляпу цыгана, девчонка все же старалась.

²³ Гладыш — хорошо откормленный боров (тверск.).

После кратковременной стоянки автобус продолжил путь.

— Вы-то как живете? — спросила Лидия Васильевна.

— Помаленьку, — ответила я уклончиво.

— Сашка-то какой мужик был справный, надо же такому случиться... —

Лидия Петровна вздохнула.

Мне не хотелось говорить о папе, я сделала вид, что интересуюсь окрестностями, а потом и вовсе задремала.

Лидия Васильевна принялась шуршать многочисленными пакетами, что-то бормоча, потом у нее зазвонил телефон, и она долго разговаривала с какой-то Ольгой о торговле на рынке. Судя по довольным репликам, дела у них шли неплохо.

Спустя два часа за окнами замелькал знакомый нелидовский пейзаж: похожие на пирамиды холмы выработанной породы — терриконы и рядом с ними барачного вида двух-трёхэтажные дома. Вскоре автобус подкатил к автовокзалу на улице Советской.

— Прибыли, слава тебе, господи, — сказала Лидия Васильевна и засуетилась, собирая вещи.

Я помогла ей вынести из автобуса сумки и пакеты.

— Ты Василисе денег не предлагай, она этого не любит, — посоветовала Лидия Васильевна на прощание.

— Да я в курсе.

— Купи ей конфет шоколадных, «Василек», «Буревестник», карамели мягкой к чаю, колбаски «докторской».

— Куплю обязательно.

— Так лучше будет. А маманька твоя знает, что ты уехала?

— А как же. Завтра автобусом обратно в Тверь.

— А-а, ну и ладненько, — Лидия Васильевна помолчала и добавила: — И все-таки напрасно Полина тебя отпустила. Одна девочка и в такую даль.

Она поджала губы, покачала головой неодобрительно.

— Ну и ладненько, — повторила она и пожелала мне счастливого пути.

Закинув рюкзак за спину, я зашагала к железнодорожному вокзалу.

В кассе вокзала я узнала, что локомотив до Тросно отправится ближе к вечеру, сдала рюкзак в камеру хранения и вышла в город. По дороге встретила Ирку Антипову, одноклассницу по нелидовской школе.

Она шла по тротуару с наушниками в ушах, слушала музыку. Я сзади подкралась и ка-ак хлопнула ее по спине, она так и подскочила.

— Кто же на улице в наушниках ходит? Вот так идешь ты, вся на расслабоне, музыку слушаешь, а сзади маньяк или машина.

— Ника! Ты как здесь?

— Попутным ветром.

Мы постояли, поболтали о том о сем, вспомнили школьные дни, когда я еще училась в Нелидово.

Иринка похвасталась новым мобильником, пересказала все школьные и городские новости, ну и я поведала о жизни в Твери. О цели своего приезда распространяться не стала, сказала, что по делам в деревню заглянуть надо.

Иринка спросила, как мне в Твери живется.

— Нормально все.

— А в школе как?

— Мне сказали, жить буду.

— Шутишь, — разулыбалась она. — Ну, значит, все хорошо. А у нас в округе медведь-людоед появился, — сказала она с таким видом, как будто медведь-людоед был ей лучшим другом.

— В смысле, людоед?

— В самом прямом. Напал на рабочего с железки и съел его. Нашли только полтуловища с рукой и головой, ветками присыпанные, — с жутким восторгом в глазах тараторила Иринка. — Кстати, возле вашего поселка его нашли.

— Возле Тросно?! Да ты что?! Ничего себе! — Мне стало как-то не по себе, медведей-людоедов в наших краях еще не было.

— Так что ты там осторожнее, — предупредила она. — В поселке вашем только Василиса и осталась.

— И дачников нет?

— Не знаю, ну, может, какие и приехали. — Иринка пожала плечами. — Ладно, пойду я, мне дома надо быть, маме обещала.

Мы попрощались, она пошла домой, я — в магазин, где купила килограмм конфет «Ласточка», мягкой карамели и колбасы «докторской» добрый такой кусище. Для похода взяла буханку хлеба «дарницкий», батон колбасного сыра и пару кусков копченой говядины, она легкая и в тепле хорошо хранится.

Вернулась на вокзал, купила у бабушек с лотка небольшой пакет картохи, пару пучков редиски, лук зеленый и стала ждать. Как подошел тепловоз до Тросно, мужики из поездной бригады меня узнали и ну расспрашивать, что да как и с какими планами вернулась в Нелидово. Еле отболталась.

В свою очередь я, конечно же, сразу спросила про медведя.

— Пришлый он, раньше его здесь не было, — ответил Иван Ефимыч, машинист тепловоза, пенсионер, все еще подрабатывающий на узкоколейке.

— Помню, возле нашей фермы жил медведь, — сказала я, — но он нормальный был, без закидонов.

— Хитрован, что ли? Помню, Сашка рассказывал... Нет его уже. Подрались они, территорию делили, видимо, пришлый-то помоложе и сильнее, ну и, значит, заломал вашего Хитрована.

— Вот, блин, дела...

— А потом был случай, пришлый под поезд попал, выскочил на рельсы, ну, его и зацепило. Он озлобился и теперь беспредельничает, так что ты там осторожнее, Ника.

Как всегда, поезд шел еле-еле, хотя тащил за собой всего два вагона: вагон-магазин и еще один, с ягодниками.

Я смотрела по сторонам, вроде знакомые места и вроде уже незнакомые. И лес стал словно другим, каким-то чужим, настороженным. Кряжистые ели огромными ветвями тянулись к поезду, как бы преграждая путь, и даже белоствольные березы выглядели испуганными.

Вдали показались дома поселка. Тепловоз пискнул сигналом, замедляя ход. Немногочисленные пассажиры с ведрами и лукошками в руках потянулись к выходу, — нелидовские приехали за ягодой, как раз был в разгаре сбор земляники, она в наших местах знатная, крупная и пахучая, на столе пучок оставишь, так земляничный запах на весь дом целый день будет стоять.

Ягодников было мало, видимо, слухи о медведе-людоеде дошли до многих, никто не хотел рисковать. Мне стало не по себе, мелькнула мысль, не отложить ли поход на другое время, пока проблема с медведем не разрешится?

Послышалось шипение тормозов, тепловоз остановился, и я, подхватив рюкзак, направилась к выходу.

Ладно, будем надеяться, что все обойдется, в конце концов, медведь — не дурак, в дальние болота не полезет. Скорее всего, он будет ошиваться возле поселка и железной дороги до тех пор, пока его не застрелят. Такова судьба всех медведей-людоедов.

Как только сошла с поезда, сразу заметила, что тропа к нашему дому нарочь заросла травой. Взглянула на дом — сердце сжалось, такая на меня тоска напала, я едва не расплакалась. Окна досками крест-накрест заколочены, крыша в одном месте провалилась, и в проломе топорщились кусты полыни.

Калитка распахнута настежь, хотя перед нашим отъездом была закрыта на проволоку. Зашла, оглядела двор: дом, крыльцо, сарай для скота, курятник, пустая собачья будка, баня, за ней — огород заросший бурьяном по пояс, во дворе навес над беседкой с мангалом и грудой давно остывших углей. Высоченная береза стала еще выше и толще, и ее листья так и трепетали на ветру, словно она была рада меня встретить. С крыши дома ко мне метнулся темный силуэт, я было отшатнулась, но тут же поняла, что это филин Яшка заметил меня и узнал.

— Яшка! — крикнула я, и он, вцепившись когтистыми лапами в рюкзак, ответил мне радостным клекотом.

— Какой ты стал большой и красивый! Помнишь меня?

Я почесала ногтем его голову.

Филин снова клекотнул и застыл с раскрытым клювом, настолько ему стало приятно, а у меня слезы так и полились из глаз, и стало так горько и тяжело, что просто невыносимо. Как же так? Все было, и все в одночасье рухнуло.

— Эх, Яшка, видишь, как все получилось... Ничего не стало... Мы, Яшка, уедем далеко-далеко, остаешься здесь за хранителя памяти, вспомни-най нас, ладно? И мы тебя никогда не забудем.

Я губами прижалась к птичьей голове, вдохнула тепло, затем аккуратно поставила филина на ограждение крыльца. Яшка распахнул огромные крапчатые крылья, взмахнул пару раз и начал вертеть головой на все стороны, контролируя территорию и защищая меня от неожиданных угроз.

В мастерской, где на верстаке ржавели оставленные тиски, я нашла такой же ржавый лом и с его помощью оторвала доски с окна. Двери были заколочены насмерть, мне бы никаких сил не хватило их открыть. Через окно закинула в дом рюкзак, следом сама забралась.

Внутри было сумрачно и тихо. Сквозь расщелины досок на пол и стены падал узкими лучами дневной свет. Пахло нежилой, гулкой пустотой, пылью, сырой известью и влажным деревом. Пахло прошлым. Прошедшее время тоже имеет свой запах, и в иных местах тебя так и окутывает затхлой пылью и могильной тишиной, и тянет остаться, но ты понимаешь, что этого делать нельзя, иначе есть риск остаться в прошлом навсегда.

На кухне меня встретила давно остывшая печь, брошенная посуда на полках, тут и там разбросанные пожелтевшие газеты. В моей комнате на стене все так же висела карта России, напротив, возле стены, — диван, на котором лежали несколько журналов «Охота» и «Вокруг света».

Первым делом я достала из рюкзака «сайгу», зарядила и прошлась по комнатам со стволом наперевес. Проверила все кладовки, где обнаружила ворох пахнущих плесенью старых вещей, на кухне открыла подпол и лучом фонарика осмотрела пространство, кроме небольшой кучи проросшей картошки и забытой на полке литровой банки лоя²⁴, там ничего не было.

В моей комнате третья от окна половица — поднималась, я это знала, потому и спрятала там «сайгу», не будешь ведь средь бела дня ходить с карабином по улицам.

Достала из рюкзака конфеты с колбасой, вылезла через окно во двор и заросшей тропой направилась к бабке Василисе.

Постучала в калитку, толкнула от себя, и вот она, Василиса, с клюкой стоит на крыльце с таким видом, словно знала, что к ней придут.

На мое приветствие Василиса ничего не ответила, только смотрела на меня пристально, не моргая. Я отметила, что лицо у нее стало еще смуглее,

²⁴ Лой — топленое, без шкварок, сало, не нутряное (тверск.).

щеки ввалились, и только глаза все так же светились внутренним огнем, как угли кострища.

Василиса сделала движение рукой, как будто стирая перед собой невидимое изображение, и на меня пахнуло козами, сеном и мочевиной.

— Отец твой вчера приходил, — сказала она скрипучим голосом.

Я так и обмерла.

— Что вы такое говорите, бабушка? — спрашиваю.

— «Пионерку» завтра с утра поставим, вертайся в дом да ружьишко-то рядом придерживай, он смотрит на тебя.

Я так и обалдела, откуда ей известно, что мне нужна дрезина, и кто такой он, что на меня смотрит?

— Гостинцы сюда положи, — она ткнула клюкой на огромный пень посреди двора. На пне стоял немецкий снарядный ящик с черным готическим шрифтом на темно-зеленого цвета деревянной крышке.

Я положила конфеты и колбасу на ящик, попрощалась и, спиной открыв калитку, выскочила на улицу, дрожа, как испуганная мышь.

Вернулась в дом, поужинала говядиной, редиской и луком, воды колодезной напилась, постелила на старом диване пару телогреек, накрыла куском брезента и легла, пристроив рядом карабин и накрывшись старой маминой епанчой²⁵.

Тишина кругом, не было слышно даже возни сверчка, видимо, ушел и он. В опустевшем доме даже сверчкам не хочется жить. Некоторое время я смотрела, как за досками на окнах постепенно тускнел сумеречный свет, и в какой-то момент провалилась в сон, как Алиса в кроличью нору.

Спала очень чутко, несколько раз в течение ночи просыпалась, смотрела в темное окно, все казалось, возле дома кто-то ходит. Под утро сон приснился, как будто сижу в яме, а ко мне черная то ли рука, то ли лапа тянется, и тут я проснулась, вся мокрая от пота, рывком поднялась, привычным движением пальца перевода предохранитель карабина в положение «огонь».

В доме царила все та же гулкая пыльная тишина, в щели между досками на окнах в комнату проникал мягкий предрассветный свет. Какое-то время я сидела на кровати, зевала, терла глаза, приходила в себя. Затем встала, оделась по-походному, а городскую одежду оставила в ящике дивана. Собрала рюкзак и через окно вылезла из дома.

Поселок и окрестности вокруг были скрыты в густом тумане, а значит, день обещал быть жарким.

Из колодца подняла ведро ледяной воды, умылась и, расположившись под навесом, позавтракала колбасным сыром и хлебом. Налила кружку воды и долго сидела, смотрела, как под лучами солнца тает туман, оставляя после себя сверкающую мириадами капель траву. Вот бы раздеться сейчас да, как прежде, пробежаться гольшом по мокрой от росы траве! Где-то в лесу слышалось кукование кукушки, и это был единственный звук окружающего пространства. Тишина в поселке стояла жуткая. Ни тебе кудахтанья кур, ни мычания идущих на выпас коров, ни лая собак, ни человеческих голосов.

Я допила воду, положила кружку в рюкзак и, забросив его за спину, направилась к Василисе. Карабин просто повесила на плечо, в конце концов, милиция и в лучшие времена здесь не хаживала, а сейчас хоть на танке кати, — никому дела нет.

К дому Василисы подошла, а она уже калитку открыла. На мое приветствие и на этот раз ничего не ответила, наверное, у колдуний так принято, лишний раз ни с кем не здороваться. Одета она была в свое обычное черное платье в пол и короткие резиновые сапоги, ярко-синие с белыми ромашками. На голове черный платок. В руках Василиса держала косу и холщовую сумку.

²⁵ Епанча — женская безрукавка (тверск.).

— Ты уж, дочь, меня подвези к покосу-то, — сказала она, поправляя платок.

— Подвезу, — пообещала я, а сама думаю, ну и как же мы вдвоем поставим дрезину на рельсы? Все-таки триста килограмм, это вам не хухры-мухры.

Дрезина нашлась за домом Николая Степаныча, где она сиротливо стояла рядом с рельсами узкоколейки, едва заметными в буйно разросшейся траве. Я как взглянула, так сердце защемило. Вспомнила, как с городскими девчонками каталась на «пионерке», и как только дрезина отходила от «перрона», мы дружно орала на всю округу:

Медленно дрезина уплывает вдаль,
Встречи с нею ты уже не жди!..

На колесной базе дрезины была закреплена скамейка из грубо оструганных досок с ветхим матрасом для мягкой посадки пассажиров и рулевого. С виду и не подумаешь, что эта лавочка с мотором способна мчаться со скоростью пятьдесят километров в час, не зря ее, бывало, называли — «бешеная табуретка».

Подойдя к дрезине с двух сторон, попытались мы было поднять ее на рельсы, да не тут то было. Ничего не получалось. Нам просто не хватало сил.

«Вот же ёкарный бабай, что же делать?» — думала я, отходя от тележки и прикидывая варианты. Вариантов в общем-то было всего ничего: или двое взрослых мужиков, или ноги в руки и с песней до Пелецкого Мха, а это порядка двадцати километров. Я пожалела, что вчера не попросила ребят из локомотивной бригады помочь нам поставить дрезину на рельсы.

Василиса же отошла в сторону, присела на штабель старых шпал, достала из сумки пластиковую бутылку с водой и принялась пить из нее мелкими глотками.

Я взглянула на поднимающееся солнце, еще каких-то пару часов, и нас, как пламенем, накроет июльской жарой.

— Елки-палки... — процедила я сквозь зубы.

Нет, вдвоем мы здесь ничего не сможем сделать. Поднять дрезину смог бы разве что Кинг-Конг. Но где его взять, Кинг-Конга-то?

Возле шпал валялся ржавый, погнутый лом, я сунула его под колесо и попыталась было использовать лом как рычаг. Да куда там! Здоровенная железяка вырвалась из-под колеса и едва не снесла мне колено.

Ситуация, по ходу, вырисовывалась тяжелая, можно даже сказать, катастрофическая.

Я присела рядом с Василисой, чтобы перевести дыхание, и тут вдруг вспомнила, что в кузне Николая Степаныча всегда хранились ручные тали, это такие специальные грузоподъемные лебедки с цепным приводом.

Не говоря ни слова, я быстрым шагом направилась к кузне, стоявшей рядом с домом Николая Степаныча.

Уже на подходе меня стали одолевать сомнения, вряд ли инструменты все еще там, скорее всего, их уже растащили. Зайдя в кузню, я поняла, что была права в своих сомнениях. В помещении остался верстак, печь, выложенная внутри огнеупорным кирпичом, да массивная наковальня, до которой еще не дотянулись руки охотников за металлом. Две двутавровые балки под потолком были пусты, а ведь именно на них перемещались тали. Даже роликов не осталось, все сняли, сволочи.

— Эх, черт... — вырвалось у меня, и я тут же перекрестилась на всякий случай.

Поразмыслив немного, вспомнила, что Николай Степанович хранил часть инструментов в сарае, где под потолком были сделаны специальные скрытые полки для хранения особо дефицитных инструментов.

Я метнулась в сарай и по приставленной доске поднялась к потолку. Ура, повезло! На полке лежали мотопила «хускварна», ворох стальных тросов различной толщины, погрузочная лента из полиамида и две тали.

Я сбросила одну из талей на пол и, обмотавшись цепями, как балтийский матрос времен Гражданской войны пулеметными лентами, вернулась к дрезине, не забыв прихватить и погрузочную ленту.

Василиса смотрела на мои действия с явным любопытством и все так же молчала.

Первым делом я закрепила трос кольца тали на толстой накренившейся брезе, на мой взгляд, она была достаточно крепкой, чтобы выдержать трехсоткилограммовый груз. Крюк тали закрепила за кольцо тросика и, пропустив полиамидную ленту под дрезиной, прикрепила к лебедке. Оценив получившуюся конструкцию, медленно потянула за цепь, приводя в движение шестеренчатый механизм подъемного устройства. Дрезина дрогнула, колеса оторвались от земли, внутри березы послышался хруст, и я в ужасе закрыла глаза. Время шло, ничего не происходило. Затаив дыхание, я осторожно потянула цепь вниз. Дрезина поднялась еще выше и остановилась, слегка покачиваясь.

Тут мне на помощь пришла Василиса. Руками упершись в борт, она подвела дрезину к рельсам и придержала. Я потянула другую цепь, осторожно опуская дрезину точно на рельсы. Послышался глухой металлический стук, и вот уже «пионерка» стоит на рельсах в ожидании пассажиров. Получилось!

Василиса засуетилась, пристроила сумку на скамейке и полезла следом. Едва устроившись, она принялась меня торопить:

— Поехали, девка, поехали, не ровен час, гости с города нагрянут, а мне сено надобно сгрести.

Не такой, значит, одинокой была жизнь Василисы.

Я сняла с березы таль и положила под скамью, мало ли что в дороге может случиться, сойдет дрезина с рельс, мне одной ее никак не поставить, и тогда лебедка будет очень кстати. Бегом вернулась в сарай и принесла оттуда «хускварну», наперед не забыв проверить наличие топлива. Впереди могут быть завалы, так что мотопила будет очень кстати.

По просьбе Василисы взяла косу и воткнула ее черенком между досками сиденья. Полотно косы полумесяцем вознеслось над дрезиной, и со стороны «пионерка» стала похожей на боевую колесницу из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости».

На дрезине я могла ездить с детства и знала, что управлять ей следует очень внимательно, ни в коем случае нельзя гнать, потому как превышение скорости всегда приводит к проблемам, и в этом случае неважно, на дрезине ты едешь или на машине, это любой водитель подтвердит. Тормозные колодки на дрезине сделаны из березы, и на мокрых от росы, дождя или снега рельсах тормозить бесполезно.

Пристроив рюкзак и карабин рядом с сидущкой водителя, я перекрестилась, завела двигатель и поставила ручку управления контроллера в положение «ход-1». Дрезина вздрогнула и медленно покатилась по рельсам.

Я перевела ручку контроллера на «ход-2», и «пионерка» ускорила движение. Сначала колея шла по полю, потом мы проехали поселковое кладбище и сразу попали в зеленый коридор из наклонившихся над рельсами деревьев.

Рельсы на вид казались вполне проходимыми, и я решила поставить ручку контроллера в положение «ход-3». Дрезина подпрыгнула и, завывая вентилятором, понеслась вперед, переламывая попавшие под колеса мелкие ветки. Стрелка на спидометре приблизилась к отметке тридцать километров, и я заставила себя сбавить ход. Впереди узкоколейка практически скрывалась в траве, и кое-где были видны прогнившие шпалы, на такой скорости рельсы могут не выдержать тяжести дрезины, колеса слетят с рельс, и ладно я, может, и уцелею, а Василиса падение точно не переживет.

Подпрыгивая на разбитых стыках, мы медленно катились сквозь густой лес, стеной стоявший вдоль колеи. Уклоняя голову от низких ветвей, я тихо радовалась, что по ходу движения нет ни завалов из упавших деревьев, ни разобранных рельс.

Внезапно Василиса сухим, костистым кулаком ткнула меня в спину.

— Вот здесь, здесь останови, — махнула она худой смуглой рукой вправо.

Не так уж далеко от поселка, и все же как же она возвращаться будет? — подумала я, ставя ручку контроллера в положение «тормоз-3» и останавливая дрезину напротив лесной поляны с длинными полосами скошенной, уже успевшей подсохнуть травы.

Василиса, кряхтя и бормоча, сошла на землю, постояла, держась за платформу одной рукой, краем платка утирая пот со лба.

— Вернись, девка, ты за меня не беспокойся, — ответила она, как будто услышав мой вопрос.

Мне стало не по себе от ее пронизательности.

— Говорили мне, медведь здесь бродит, — сказала я.

— Ходить в лесу — видеть смерть на носу, — загадочно ответила Василиса и после паузы добавила, глядя мне в глаза: — Будешь идти, не бойся, ночью за стеклом хоронись, серебро рядом держи, чужое не бери, отец твой взял в земле, — в землю и ушел.

— Какое стекло, какое серебро, бабушка?

Василиса не ответила, отвернулась и зашагала к старой липе, под роскошной кроной которой ее ждала спасительная тень.

Перед тем как поставить контроллер в положение «ход-1», я оглянулась. Василиса, прямая, худая, в черном платье и с поставленной косой у ног, ни дать ни взять — сама смерть, стояла на краю поляны.

«Серебро рядом держи».

Я помахала ей рукой, она же молча смотрела мне вслед, и только узкое полотно косы жутковато поблескивало в солнечных лучах. Я прибавила скорость, аккуратно вошла в поворот, и вот уже ни поляны, ни бабки Василисы, ни зловещей косы, вокруг только лес, теплый, пахнувший разнотравьем ветер в лицо да уходящая вдаль полоса узкоколейки.

До Пелецкого Мха добиралась часа полтора. И пары километров от сенокосной поляны не проехала, как один за другим пошли завалы, и пришлось задействовать мотопилу. То и дело приходилось останавливаться, сходить с дрезины, пилить лежащие поперек колеи стволы деревьев, оттащить ветки, короче, умоталась вдрызг, да еще жара и комары достали.

Вот так я то останавливалась, то ехала, а потом рельсы внезапно закончились. Вроде бы и знаешь место, где они заканчиваются, но все равно оторопь берет, вот были рельсы, и вот их нет. Как раз между двух озер: Кремно и Бездонного. Мне надо было идти направо, к «чернею».

Как только заглушила трескучий двигатель, так сразу накрыло тишиной, а затем вокруг послышались знакомые с детства звуки лесной чащи: шелест потревоженной легким ветром листвы, пересвист птиц, жужжание пчел, стрекот кузнечиков в траве и деловитый перестук дятла, время от времени нарушаемый вкрадчивым кукованием кукушки. Запах еловой смолы смешивался с запахами прелой листвы и пряным грибным ароматом, уже пошли «курочки»²⁶, и в Нелидове бабушки уже вовсю ими торговали.

Некоторое время я сидела на скамье и, сжимая в руках карабин, настороженно осматривалась, прислушивалась, проникалась невидимой жизнью, ки-

²⁶ «Курочки» — опята (тверск.).

певшей в зарослях леса, вдыхала запах трав и любовалась крупными синими цветками колокольчиков, чуть колыхавшимися под слабым теплым ветерком.

Мне хватило пары минут, чтобы понять: за почти год городской жизни я заметно отвыкла от леса. Прежде никогда не боялась находиться в лесу одна, сейчас же казалось, что кто-то тяжелым, недобрим взглядом смотрит мне в спину, и я нервно обернулась, цепко сжимая в руках карабин. Немного отдохнув, я слезла с дрезины и, закинув за спину рюкзак, зашагала по едва заметной колее, где когда-то были рельсы, а сейчас остались только шпалы в виде сгнивших жердей.

Перед выходом на болото первым делом нашла муравейник, водой из бутылки смочила кусок марлевой ткани, выжала и расстелила ее на муравьином холме. Подождала минут десять, стряхнула с марли муравьев и тщательно протерла пропитанной муравьиной кислотой тканью лицо, шею, руки. Муравьиная кислота лучше любого антикомариного спрея.

Придерживая «сайгу» стволом вниз, чтобы, в случае чего, мгновенно вскинуть ствол, я старалась ступать быстро и, по возможности, тихо, время от времени останавливалась, оглядывалась по сторонам, пристально всматривалась в лесную чащу, спутанные заросли кустарника и высокой травы.

Я не могла свистеть или кричать, чтобы предупредить зверя о присутствии человека, как это обычно делается, когда собираешь грибы или ягоду, поскольку боялась, что кроме зверей поблизости могли быть и люди, а вот с людьми мне хотелось встречаться меньше всего, уж лучше с медведем.

С каждым километром пути идти становилось и тяжелее, и легче одновременно. Тяжело было от нескончаемой продолжительности дороги, путающей ноги травы по колено, трухлявых жердей под ногами, лесной духоты, палящего солнца, мельтешения мошкары перед лицом. После очередного отдыха рюкзак за плечами становился все неподъемнее и неподъемнее. С другой стороны, окружающее пространство уже не казалось чужим и страшным, я словно растворялась в лесных дебрях и становилась как будто своей, и уже не так цепко путалась трава под ногами, и даже обитатели леса не избегали встречи со мной.

Несколько раз я замечала выводки кабанов, один из секачей вырвался из чащи буквально в полусотне метров от меня, и неизвестно, кто из нас испугался сильнее, я или кабан. Несколько раз тропу перебежали упитанные зайцы, за одним из них метнулся крупный волк, и я сначала нереально шуганулась и едва не пальнула, но потом порадовалась, потому как волки летом растят волчат и потому очень осторожные, а если случилось вам увидеть волка и он пересечет ваш путь, — это вернейшая примета к счастью.

Однако упустив зайца, волк вышел из леса и остановился, глядя на меня. Я тоже замерла, а затем медленно потянула из ножен нож. Волки хоть и не в стае, но летом тоже есть хотят, к тому же любой хищник легко считывает информацию и всегда способен понять, кто перед ним, взрослый человек или ребенок, мужчина или женщина, и может определить слабость или силу жертвы, а в том, что я была жертвой, он, похоже, не сомневался.

Волк наклонил лобастую башку к земле и, как бы не замечая меня, принялся что-то там вынюхивать. Затем резко поднял голову, посмотрел на меня, и взгляд у него был *оценивающий*, примерно так мы смотрим на колбасу, открывая утром холодильник.

Я слегка постучала лезвием по стволу карабина.

— Даже не думай.

Волк серой тенью метнулся в кусты. Не любят звери металлических звуков. Уже скрываясь в чаще, он обернулся и фыркнул, как бы говоря: «да и пожалуйста».

А я до самого болота шла с карабином на изготовку и оглядывалась по сторонам.

Мало-помалу лес вокруг стал редеть, незаметно стихло птичье многоголосье, под ногами зачваркала болотная жижа, и вот уже Пелецкий Мох распахнулся передо мной бескрайней болотной равниной. Теперь я была как на ладони, поэтому приходилось чаще останавливаться и осматриваться, активно юзая бинокль. Тропа была хоть и набита проходившими здесь охотниками и рыбаками, все равно идти было тяжело, зыбкая почва проседала под ногами, и я временами проваливалась по самое не могу.

В сапогах давно хлопала вода, штаны стали мокрыми почти до пояса, но я не заморачивалась, решила, дойду до хижины и уж там просушусь.

Солнце палило нещадно, комары мельтешили перед глазами, хотя и не кусали, боясь запаха муравьиной кислоты, но умудрялись залетать в глаза, залезать в уши, рот, и это было невыносимо.

От жары и усталости постоянно хотелось пить, и каждые полчаса я устраивала отдых на относительно сухих, возвышенных участках.

Прислонившись спиной к чахлым болотным деревцам и пристроив повыше ноги, мелкими глотками отхлёбывала из бутылки воду, переводила дух.

На каком-то этапе пути я подумала было отказаться от похода и вернуться назад, ведь прошла всего-то чуть больше десяти километров и уже выбилась из сил.

— Все равно пройду... — хрипела я, откашливаясь влетевшим в горло комаром.

К «чернею» подошла вечером, мокрая, уставшая и зверски голодная, а ведь это была самая легкая часть пути, настоящие Мхи начнутся после Бездонного.

Минут тридцать я рассматривала в бинокль торфяные валуны в зарослях осоки по берегам озера и хижину. Жилье казалось заброшенным, люди если и были в этих местах, то в лучшем случае весной, в сезон охоты на уток. Дверь была заперта на засов, а перед входом буйно росла трава, верхушками касаясь засова, что еще раз доказывало, что нога человека здесь давно не ступала.

Еще раз внимательно оглядев окрестности и тропу, оставшуюся за спиной, я подкралась к хижине, сняла засов, открыла дверь. Обстановка внутри была как в прежние времена, разве что барахла прибавилось. На нарах валялись изгрызенные мышами и пахнущие плесенью ватные штаны, телогрейка, армейский бушлат, под нарами — рваная рыбацкая сеть, удочка с леской, крючком и поплавком и небрежно свернутая старая брезентовая палатка. Пахло влажным, заплесневелым тряпьем и печной золой. На полке за печью я нашла пачку соли, погрызанную мышами окаменевшую булку хлеба, спички, баллон с жидкостью для розжига костра и две банки консервов «килька в томатном соусе». Возле входа в бумажном пакете хранился древесный уголь, видимо, кто-то из рыбаков или охотников привозил для шашлыков. Возле печи-буржуйки лежала большая груда дров, что меня несказанно обрадовало. Я тут же развела огонь и развесила одежду над печью.

Затем перекусила говядиной и остатками редиски, сходила к озеру за водой и поставила чайник на плиту.

Вскоре «черней» и окружающее пространство окутали белесые вечерние сумерки, летние ночи у нас не такие светлые, как в Питере, но все же похожи. Я закрыла дверь на засов, залезла на нары, карабин рядом положила. В хижине было темно, только по стенам бегали отсветы от огня в печи. Я следила за окном, прислушивалась к шорохам снаружи. Мне все казалось, что вот-вот постучится в дверь Прошка и пожалуется на холод и отсутствие обуви. Иногда мне реально слышались шаги, и я еще крепче сжимала карабин. От напряжения и чувства опасности слух обострился до такой степени, что мне было слышно всплески жирующих окуней на озере, а уж вопли филина в глубине болот слышались так, как будто он на крыше сидел.

Постепенно усталость взяла свое, я задремала и провалилась в сон, как в черный космос.

Утром проснулась, глянула на часы — 9:20, ух ты, ну я и засоня!

В печи оставались тлеющие угли, я подкинула дров, раздула огонь и, выйдя из хижины, по старому настилу из досок подошла к озеру, умылась, сходила за удочкой и за пять минут поймала двух крупных окуней. Выпотрошила и почистила их там же, на берегу, вернулась в хижину, добавила к рыбе загодя надерганный в лесу дикий лук, посыпала солью, упаковала в фольгу и закинула в печь вместе с завернутой в кусочки фольги картошкой.

Спустя двадцать минут у меня был готов чудесный, сытный завтрак.

После завтрака собрала рюкзак, посидела возле хижины, собираясь с духом, помолилась и, по колену проваливаясь в мох, побрела вокруг озера. Под ногами хлопала болотная жижа, а вокруг, куда ни глянь, — россыпи мелких торфяных озер терялись в зарослях худосочной осины и кривой болотной сосны.

В первую очередь я постаралась отвлечься от всех мыслей и сосредоточиться на неприметной тропе, которая с каждым километром становилась все менее и менее заметной, пока вообще не исчезла, и Пелецкий Мох окружил и сжал меня со всех сторон.

— Запомни, Ника, болота постоянно меняются, то, что в прошлом году было проходимым, на следующий год может оказаться трясиной, — вспоминала я слова папы, медленно шагая и внимательно высматривая места с особо яркой зеленью, значит, там вода, там опасность. Тропа пролежала рядом с деревьями, папа знал, где следовало идти, и в этой части болота еще можно было встретить участки редколесья. Цепко хватаясь руками за иссохшие сосновые и еловые ветви, я словно просила их о помощи. И они помогали, держали меня.

Временами на пути встречались заросшие лесом острова, большие я обходила стороной, а через маленькие шла напрямик, и тогда лесная чаща смыкалась над головой, а путь преграждали упавшие стволы деревьев с торчачими, словно пики, ободранными ветками. По деревьям то и дело шныряли любопытные белки, где-то в глубине леса вскрикивали потревоженные птицы и слышалось настороженное хорканье кабанов.

Отдыхала я на сухих островках, пила воду, искала муравейники, для того чтобы обновить кислоту как защиту от комаров, в бинокль осматривала окружающее пространство, мутное и дрожащее от болотных испарений.

К полудню добралась до памятной корявой ели. На завалившемся стволе осины нашла сухое место, присела и перекусила, как ворона, — куском сыра. Отдохнула и побрела дальше.

Постепенно по ходу движения стали появляться тростниковые бочажины, тут и там вспархивали птицы: кроншнепы с огромными клювами; пестрые золотистые ржанки; где-то в заросших кустарником островах тревожно крикали чернозобые казарки. Болотные птицы, как правило, пестро-серые, заметить их сложно, но свою скрытность они компенсировали неумолчными криками. Птицам было тревожно от присутствия человека, и они на разные голоса выражали свое беспокойство. «Куурли... кюв-юв-юв», — голосил кроншнеп, «хэк-хэк... ууаяв-ууаяв... ухухуху...» — отзывалась самка совы на гнезде, «кубэррррррр... ко-ко-ко-кубэрррр-р-р» — басовито подавал голос самец куропатки. В небе, распластав крылья и вытянув тонкие ноги, скользили в полете черные аисты, «чи-лин...чи-лин...» — громко кричали они. Иногда в чаще леса слышались звуки, похожие на щенячье поскуливание, только это был не щенок, это болотный убийца орел-беркут напоминал о своем присутствии.

Осторожно ступая по корневищам деревьев, я обходила очередное крохотное озеро с темной торфяной водой, покрытое зеленой ряской и заросшее чилимом, как вдруг в зарослях черной ольхи взметнулось нечто огромное, оказавшееся лосем. Зверь взглянул на меня очумелым взглядом, я же сразу

сделала шаг в сторону, скрываясь за стволом сосны. При встрече с лосем его можно поставить в тупик, просто уйдя с прямой видимости за дерево, то есть между взглядом лося и человеком должно появиться препятствие — он тогда потеряет вас из виду и, скорее всего, отступит.

Так и случилось, спустя мгновение зверь ломанулся в чащу, секундный треск ветвей, и все стихло. Прислонившись к сосне, я перевела дух. Лось хоть и не медведь, однако дури в нем хватает, такому бычаре если вдруг переклинит в мозгах, он и на человека кинется, а моей «сайгой» его не остановить, разве что на дерево повезет успеть взлететь.

Я устало прислонилась к сосне, осмотрелась. Вокруг, куда ни глянь, россыпь небольших и совсем крохотных озер в окружении бесконечной, похожей на тундру равнины с редкими островками заболоченного леса. Мхи, бочажины с водой цвета крепко заваренного чая; яркие зеленые поляны, на которые шагнешь — с головой уйдешь в трясины; рожицы худосочных берез, сосен, осин и елей. Тропы как таковой уже давно не существовало. Всматриваясь, я вспоминала путь, искала едва заметные знаки, когда-то оставленные папой для меня: ольховые и тальниковые ветки, как бы сами по себе торчащие из мха. Папа рассказывал, что таким же образом в даурской степи зимой указывали путь к жилью, чтобы путник не замерз.

И было такое чувство, что он идет рядом, смотрит на меня, подбадривает.

И теперь я брела по этим вехам, некоторые из них завалились в мох, исчезли, и приходилось десять раз думать, куда поставить ногу.

Сначала я отдыхала через каждые полчаса, потом через пятнадцать минут. Иногда мне казалось, что за прошедший год болото стало еще болотистей, оно, словно живой организм, затягивало в себя озера, сначала забивая водное пространство тростником и водяным орехом, затем вытесняя воду илом и укрывая зеленые травы, превращало воду в смертельную трясины.

Тут и там слышались всплески и шорохи: ондатры и бобры стремились скрыться в своих хатках, и время от времени я сдерживала шаг, давая возможность уползти очередной змее. Солнце палило нещадно, и болотные испарения превращали окружающее пространство в нереальный, фантастический мир.

День клонился к вечеру, а я все шла и шла, путь казался нескончаемым, от запаха багульника и болота кружилась голова, ноги гудели от усталости.

И вот наконец впереди показался остров «хенкеля», за которым меня ждал Костяной Мох.

И здесь я допустила ошибку, забыв главную заповедь любого, кто заходит в мир болот, — не торопись. Я вымоталась, ноги едва передвигались, глаза застилал стекающий со лба пот, и мне очень хотелось отдохнуть.

Старую, корявую ель я заметила издали, она росла на возвышенности, там был островок сухой земли, где можно было присесть и вытянуть гудевшие от усталости ноги. С трудом шагая по кочковатой, мшистой равнине, на подходе к ели я ускорила и, зацепившись за какой-то то ли гребаный корень, то ли кочку, полетела головой вперед и упала прямо возле корневища ели.

Меня спасло то, что я не стала сразу подниматься, а, переводя дыхание, повела глазами в сторону, еще даже не заметив, но почувствовав НЕЧТО. Господи боже мой! Среди переплетенных еловых корней шевельнулось черное тело, толстое и такое длинное, что мне казалось, оно никогда не кончится, так медленно гадюка тянулась из ямы под корнями мимо меня, едва не касаясь головы. Я затаила дыхание и только следила глазами, как змея все ползла и ползла, а потом она начала свертываться в кольцо. «Если дернусь — вцепится в лицо, и тогда меня ничто не спасет, здесь и останусь, — думала я, стискивая зубы и стараясь унять дрожь. Змея настороженно приподняла треугольную плоскую голову и уставилась на меня немигающим взглядом, от

которого несло нестерпимым холодом смерти, из змеиной пасти стремительно вылетал и тут же исчезал тонкий длинный язык. Я замерла, превратившись в камень, и даже не моргала. От вывороченного корневища нестерпимо воняло змеями, это такой специфичный запах, кисловато-кожаный, прохладный и землянистый, так пахнет в земле старая кожаная обувь. По ходу, в яме под корнями было самое настоящее змеиное логово, наверняка к зиме там собираются десятки гадюк.

Голова разрывалась от панических мыслей, я судорожно искала выход из создавшегося положения, ну что можно было сделать в такой ситуации? Попытаться резко вскочить или откатиться в сторону, но змеи атакуют очень быстро, только дернешься, и она тут же вцепится в лицо. Массивная треугольная голова гадюки находилась от моей головы на расстоянии вытянутой руки, шансов не было. Чувствуя, как ужас близкой смерти заполняет меня холодом могильной ямы, я мысленно прочитала «Отче наш», и тут внезапно послышался резкий крик: «кие-кии-ки-ки...» Я осторожно чуть повела глазами в сторону и увидела, как из густых зарослей тростника стремительно и бесшумно взметнулся вверх коричневый силуэт в форме победной буквы «V». Так может взлетать только хозяин болот — камышовый лунь.

Гадюка, видимо, или почувствовала опасность, или заметила своего заклятого врага, так как, мгновенно распрямившись, попыталась скрыться в корнях ели.

Но было поздно. И меня, и змею накрыло тенью полтораметровых крыльев, когти луны вцепились в змеиное тело, тяжелые крылья били по земле, моей голове, в то время как крючковатый клюв терзал змеиное тело. Я рванулась в сторону, вскочила на ноги. Змея билась в конвульсиях, лунь же методично добивал свою жертву. На миг он остановился, повернул голову и взглянул на меня тяжелым взглядом прирожденного убийцы, как бы говоря: «а ну-ка отвали, это моя добыча».

— Не вопрос, брат, — отступая назад, сказала я осипшим от пережитого страха голосом.

Добив змею, лунь взлетел, унося в когтях обвисшую жертву.

К острову «хенкеля» я подошла, когда заходящее солнце уже коснулось верхушек деревьев.

Приближалась ночь, надо было срочно решать вопрос с ночевкой, а значит, найти сухое место на берегу, потому как тащиться в лес, где полно человеческих скелетов, мин и неразорвавшихся гранат, мне совершенно не хотелось.

«Ночью за стеклом хоронись...» — внезапно вспомнилось мне.

К чему бы это? И тут я вспомнила самолет. Почему бы не переночевать в кабине «хенкеля»?

Небо стремительно наливалось фиолетовыми оттенками заката, и, подхватив рюкзак, я рванула вдоль берега к ельнику, чтобы пройти к самолету напрямую, минуя позиции минометной батареи.

К тому времени я совсем выбилась из сил, хорошо, что заболоченная равнина сменилась под ногами надежной, толстой подушкой мха, и, пройдя через заросли кустарника, перед тем как зайти в ельник, я зарядила карабин патронами с серебряными пулями. Сама не знаю, почему я это сделала.

«Серебро рядом держи...»

Если на берегу острова еще только смеркалось, то в елушняке уже царил непроглядная темень. Я шагала в почти полной тишине, не было слышно даже птичьих криков, лишь под ногами влажно похрустывал трухлявый валежник. От жуткой, неестественной тишины мне было не по себе, я то и дело останавливалась, пристально вглядывалась в чернеющие заросли, по-

валенные деревья и вывороченные пни. Не хватало еще наступить на змею или свалиться в яму, где этих тварей добрый десяток.

Как уж мне не хотелось включать фонарик, боясь обнаружить свое присутствие, но все-таки пришлось это сделать. «Да и кто в самом деле меня здесь увидит?» — подумала я, щелкая кнопкой верного «шурика». Сверкающий луч света клинком джедая рассек черную стену зарослей дягиля и иисусовой травы. Идти стало намного легче, и через десять минут я уже была возле самолета.

Перед тем как забраться на прислоненное к заднему люку дерево, я выключила «шурик», включила налобный «феникс» и, цепляясь за сухие сучья, поползла к «хейнкелю». Добравшись до люка, отдышалась, забросила внутрь фюзеляжа рюкзак, сняла карабин, положила его на металлический пол, залезла внутрь и, подхватив карабин, осмотрелась... Луч фонаря метнулся вдоль прохода к кабине экипажа, освещая металлические скамейки вдоль бортов. На одной из скамеек сидел... человек.

— А-а!.. — заорала я и, отскочив назад, едва не провалилась в люк к едреной матери.

В ярком свете фонаря фигура заколыхалась, словно тень на воде, человек медленно повернул ко мне голову, и я увидела бледное лицо, рыжие пряди волос на черепе, глаза без век и черную дыру на месте беззубого рта, и дыра эта стремительно увеличивалась, заполняя собой все лицо.

Прошка!

— Изыди, сука! — завопила я.

Внезапно в тесном пространстве «хенкеля» послышались хлопки выстрелов. На месте головы Прошки появился kaleidoscope ярких, разноцветных огней, которые превратились в сверкающий, переливающийся, как северное сияние, шлейф, еще мгновение, и этот шлейф окутал всю человеческую фигуру и погас.

Прошка исчез.

И сразу резко запахло сырой землей, как будто я оказалась в погребке.

Меня затрясло так, что с головы едва фонарь не свалился. Я вспомнила про карабин, схватилась за горячий ствол и поняла, что выстрелы были моими. «Сайга» висела на правом плече стволом вниз, как учил папа, при таком положении оружие вскидывается почти мгновенно, а дальше дело техники и навыков. Поводя ствол по пространству фюзеляжа, я прошла коридором к кабине, зашла внутрь и закрыла дверь на защелку. Затем села на пол рядом с креслом пилота, перезарядила карабин, прочитала вслух и громко «Отче наш», навела ствол на дверь и стала ждать.

Я очень боялась заснуть, изо всех сил таращила глаза, прислушивалась к звукам за дверью кабины, все ждала появления нечеловечески жуткого Прошки, но все же спустя какое-то время усталость от тяжелейшего перехода по болоту взяла свое, я вырубилась, да так основательно, что утром проснулась с мокрым от слюней рукавом куртки и вся измученная, как будто на мне чертей возили.

Я лежала на месте штурмана лицом вниз на прозрачном полу, и огромные перистые листья папоротника колыхались перед глазами, словно приветствуя мое пробуждение.

Судя по светлым сумеркам за стеклом, уж волк умылся, а кочеток спел²⁷. Батарейки на «фениксе» практически сели, и фонарик едва светил. Я ладонями с силой протерла заспанное лицо и, открыв дверь, осторожно выглянула в грузовой отсек, подсвечивая «шуриком». Никого не было. Рюкзак валялся там же, где я его оставила вечером, в задней части фюзеляжа, возле люка.

²⁷ Раннее утро, рассвет.

Не было видно никаких следов Прошки, и только на дюралевом борту я заметила четыре глубокие вмятины, все в круге диаметром со стакан.

Отсоединила магазин. Из пяти патронов с серебряными пулями остался один, значит, четыре ушли в голову Прошки. «С трех метров в упор, демон — не демон, а башка вдребезги», — оценила я результаты стрельбы.

Находиться в замкнутом затхлом пространстве не хотелось, поэтому я спустилась на землю и по тропе вышла из ельника.

Болотная равнина была затянута низкой густой пеленой тумана, и только одинокие скрюченные ели и сосны торчали над мутной белизной, словно забытые вехи. От окружающего пространства тянуло кладбищенским безмолвием и такой сыростью, что я, зябко передернув плечами, решила развести костер. Все равно в такой туман через трясины не пойдешь, так что есть время набраться сил и позавтракать. Собрав охапку более-менее сухих ветвей, запалила костер, подложила в огонь березняка покрупней и, немного подождав, забросила в жар углей оставшиеся картофелины, предварительно завернув их в фольгу. Пока запекалась картошка, нарвала поблизости дикого лука и, вскипятив в кружке воду, забросила пару кусочков чаги. Завтрак получился на славу, вкусным и сытным: горячая рассыпчатая картошка, лук и копченая говядина. Позавтракав, я расположилась возле костра с кружкой чая.

Вспомнила события прошедшей ночи и засомневалась. Был ли Прошка, или мне показалось? Снова пересчитала патроны. Все верно, в заряженном магазине один патрон с серебряной пулей, значит, все-таки что-то было, раз пришлось стрелять. Поразмышляв, я пришла к выводу, если Прошка был, значит, как говорил штурман Билли Бонс²⁸, он получил все, что ему причиталось.

— Сгинь, босота! — сказала я вслух, перекрестилась и добавила: — И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь²⁹.

Туман постепенно таял под жаркими лучами поднимающегося солнца. Я прихлебывала чай, смотрела в сторону безымянных островов, бугрившихся щетиной леса среди безбрежного моря мха, травы и воды. Мне предстояло пройти самый трудный, самый опасный участок пути.

Подождав, когда в костре догорят дрова, я залила угли водой, собрала рюкзак и направилась к болоту Костяной Мох.

Остановившись напротив острова Барона, в бинокль изучила буйно заросший двоелистником³⁰ сырой берег, высмотрела два знаковых валуна, мысленно провела к ним невидимую линию и, определившись с маршрутом, надежным удавочным узлом привязала один конец альпинистского шнура к толстой березе, а другой закрепила на силовом поясе, перекрестилась и шагнула в воду.

И сразу провалилась по пояс, от холодной воды перехватило дыхание, дно под ногами плавно качнулось, и меня затошнило от ужаса. Мне казалось, что я стою на простыне, натянутой между крышами высотных зданий, и зыбкая твердь под ногами готова вот-вот лопнуть. От страха все внутренности в животе сжались в ледяной комок, а по спине потекли ручьи пота.

— Мамочка... помоги... Боженька, спаси меня... — шептала я, осторожно и медленно передвигая ногами в глубине, помня наставление папы: стоять нельзя, надо двигаться. Одно радовало, за прошедшее время я значительно подросла, и теперь в самых глубоких местах вода была мне не по горло, как два года назад, а чуть выше пояса.

²⁸ Билли Бонс — персонаж романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ».

²⁹ От Матфея, 6:13.

³⁰ Двоелистник — мать-и-мачеха.

Тыкая и шаря шестом по топкому, илистому дну, я выискивала спасительную гать, но ничего не могла найти. Куда же ты провалилась, черт бы тебя побрал?!

В какой-то момент с трудом вытянула ногу из трясины, меня качнуло в сторону, и я судорожно вцепилась в шест, пытаюсь сохранить равновесие и не упасть. Вязкая слябина тут же схватила меня за ноги и принялась затягивать в глубину, и я рванулась вперед, с мерзким, утробным чворканьем вытягивая ноги из трясины. Почва под ногами вновь жутко качнулась, и меня повело в другую сторону, и тут шест ткнулся в нечто твердое. Гать! Последние метры я прошла в безумном отчаянии, жалобно подвывая и призывая на помощь всех святых, и, только почувствовав под ногами осклизлую, но все же надежную твердь, я перевела дыхание и едва не расплакалась. Отдышалась, отвязала альпинистский шнур и закрепила его на предусмотрительно взятом колышке, который вбила между бревен гати.

Глубина резко уменьшилась, воды стало чуть выше колен, зато травяной покров стал еще гуще, вязкая каша из стеблей напрочь опутывала ноги, не давая проходу. И все-таки идти уже удавалось хоть и с трудом, но гораздо легче и безопаснее, и это обстоятельство вселяло в меня радость и надежду на скорый отдых. Как сапер миноискателем, ощупывая шестом бревна под водой, я брела медленно, время от времени останавливалась и, опершись на шест, отдыхала. Со стороны в обнимку с шестом я выглядела, наверное, танцовщицей стриптиз-клуба, если, конечно, можно представить танцовщицу с рюкзаком и карабином.

Переход затянулся почти до полудня, солнце висело в зените, когда я вышла на берег острова. И тут же, едва успев стянуть сапоги, повалилась на землю и какое-то время просто лежала в забытьи, закрыв глаза, не думая ни о чем.

Валяться мокрой было не очень приятно, поэтому я стянула штаны, куртку, футболку, трусики, выжала их и развесила сушиться на ближайших кустах. Порадовалась, что предусмотрительно взяла портянки, а не носки, на такой жаре портянки сохнут за десять минут.

Пока сушилась одежда, я в пляжном релаксе, как нудистка, валялась в тени ветвей старой осины, пила воду из пластиковой бутылки, шевелила разбухшими от болотной воды пальцами ног и наслаждалась прохладой, видами дикой пустоши и полетом беркута, который в поисках добычи нарезал круги над островом «хенкеля».

Залитая солнцем болотная равнина была пустынна. На небе ни облачка и тишина вокруг на десятки километров, только слышен тихий шелест листвы над головой. Даже комары куда-то подевались и не зудели, как обычно, лишь трещали в стремительном полете стрекозы, внезапно останавливаясь и зависая над плавающими кувшинками.

Ночевать я все-таки решила на острове «хенкеля», хотя сама мысль о том, что сегодня вновь придется шагать по пояс в воде и колышущейся под ногами трясине, была невыносима.

Спустя час одежда почти высохла, сырыми были только сапоги, ну да ладно. Одевшись и закинув за спину рюкзак, я нырнула в лесную чащу и направилась в глубь острова. Отошла от берега метров на сто, и тут мне показалось, что на оставшемся позади болоте слышны шлепки по воде, я замерла, прислушиваясь, но звуки не повторялись. Подумала было вернуться и посмотреть, что там, но махнула рукой и продолжила путь.

Продравшись сквозь заросли шиповника, я вышла к берегу озера. Воглозерка хранилась спрятанной там же, где и всегда, — в зарослях ольхи.

Я забросила в лодку рюкзак, сверху положила карабин и, отпихнув лодку от берега, запрыгнула внутрь. И тут меня до ужаса перепугала здоровенная щука, внезапно вывернувшись над поверхностью воды, она исполнила замысловатый кульбит, бухнулась в воду, обдав меня брызгами.

— Вот чертовка! — крикнула я. — Это ты меня так приветствуешь?!
«Ну и размерчик, — подумалось мне, — килограмм пятнадцать, не меньше, такая и пальцы отхватить может». Подгребая веслом то с одной стороны, то с другой, я достигла островка, вытащила лодку на берег и по тропе поднялась к хижине. Беглый осмотр не выявил ничего подозрительного, хижина еще больше вросла в землю, дверь закрыта, вокруг следы куницы, хорька и довольно свежие отпечатки лап крупной рыси. Присев на корточки, я потрогала застывший в глинистой почве отпечаток. Судя по всему, рысь захаживала сюда несколько дней назад, дожди еще не успели скрыть следы ее присутствия.

На нашем стрельбище на ветке старой березы все еще болталась изрешеченная пулями немецкая каска, а вокруг на земле немереное количество следов кабаньих копыт.

В хижину я не стала заходить, сразу направилась к блиндажу. Спрыгнула в траншею, когда-то это был окоп в полный профиль, а теперь едва мне по пояс. Вход в блиндаж был прикрыт все той же опорной плитой от миномета и замаскирован грудой валежника, пластами земли и мха.

Убрал ветки, землю и мох, с трудом отпихнула в сторону плиту, она упала и едва не придавила мне ногу, хорошо, я успела отскочить.

Прежде чем залезть в блиндаж, я внимательно осмотрелась по сторонам. Вроде бы ничего подозрительного. В кронах деревьев шумел ветер, в зарослях кустарника трещали птицы.

Присев напротив входа, сверкнула внутрь «шуриком». «Если денег нет, это будет реальный кабздец», — подумалось мне.

Узкий вход был похож на лаз в нору или берлогу, а внутри блиндажа было темно, как в сапоге у негра. Я втянула ноздрями воздух, на меня пахло гнилой древесиной, мхом, сырой землей и слабым запахом хлорки. Подсвечивая фонарем, энергично пошарила веткой, мне совсем не хотелось залезть в блиндаж и оказаться там в компании со змеей, а то и с парочкой гадюк. Убедившись, что ничего живого там нет, я протиснулась в блиндаж и в свете фонаря увидела два пластиковых ведра и термос. Ну, знаете, такой стандартный, цвета хаки, армейский термос на двенадцать литров с крышкой на болтах-барашках и удобными заплечными ремнями.

Это был наш термос, я его сразу узнала. В таких термосах мы привозили горячую еду работникам на сенокос.

У меня прямо сердце сразу торкнуло.

То-то мы с мамой гадали, куда это наш термос подевался, а он вот, значит, где.

На коленях подобралась к термосу, толкнула, он едва сдвинулся с места. Болты-«барашки» были закручены с такой силой, что мне пришлось подбивать их рукояткой ножа, чтобы сдвинуть по резьбе. Наконец, открутив болты, откинула крышку. Ну, я как бы догадывалась, что там, и все равно аж дыхание перехватило. Никакой каши там, естественно, не было. Все внутреннее пространство двенадцатилитровой колбы из нержавеющей стали заполняли плотные пачки долларов.

Вот оно, в одном термосе, все наше движимое и недвижимое имущество, денежные накопления и участок земли на Селигере. Наша ферма в Забайкалье, наша мечта. Вот за эти злосчастные деньги убили папу. У меня слезы из глаз так и полились.

Проплакалась, утерла слезы и сняла крышку с пластикового ведра, внутри — черный пакет для мусора, заполненный опять же долларами, и две бутылки виски «James E. Pepper 1776», папа привез из Монтаны.

Я вытащила из пакета пачку долларов, посмотрела на нее и снова расплакалась. Черт бы с ними, деньгами!

Не знаю, сколько я так сидела и редела, обняв термос руками, только в какой-то момент мне показалось, что рядом с блиндажом кто-то ходит. Сле-

зы как рукой сняло, я напряглась, вслушиваясь в звуки снаружи блиндажа, губу прикусила — не дышу. И так страшно стало — жуть!

И тут вдруг на вход пала тень! У меня аж сердце оборвалось!

— Кто это?! Кто?! — заорала я, прижимаясь к стене блиндажа.

Ответом был неистовый звериный рык, а затем некто снаружи шумно потянул носом воздух, принохиваясь, и в проеме входа показалась... медвежья морда!

Моим единственным желанием в тот момент было пробиться сквозь стену блиндажа и бежать без оглядки.

От медведя не убежишь, говорил папа. Да я это и сама знала.

Зверь сунул лапу внутрь и потянулся ко мне. Я завизжала как резаная, рванулась в глубину блиндажа, а лапа, казалось, росла сама по себе, вытягивалась и тянулась все ближе и ближе, как в страшном сне, и не было рядом мамы, которая разбудила бы меня, и невозможно было проснуться, потому что все было наяву, мне оставалось только смотреть на чудовищной длины звериную лапу, которая металась передо мной из стороны в сторону, и длинные когти шевелились, словно пять живых ножей, искали жертву. Соприкасаясь, они издавали жуткое костяное шелканье.

— Пошел вон, сучара! — не выдержала я и пнула сапогом по лапе. Медведь среагировал мгновенно, я даже не заметила движения и только почувствовала режущую боль в правой ноге, тут же ее отдернула. Мне очень повезло, поскольку, схватив за ногу или руку, медведь способен за секунду выдернуть человека из любого укрытия.

— Пошел вон, тварь! — крикнула я и зарыдала.

Медведь втянул лапу, рыкнул недовольно и отошел от входа. Некоторое время он что-то там вынюхивал, а затем, судя по звукам разрываемой ткани, занялся моим рюкзаком.

Не знаю, кто и как чувствовал бы себя на моем месте, но я была в панике. Как же теперь быть?! Как выбраться из блиндажа?! Как остаться живой?! Я знала, что медведь может часами сидеть в засаде, ждать появления жертвы, и если он шел за мной по болотам, то уже никак не отстанет. Попытаться выбраться и добежать до хижины никак не получится, медведь — зверь неимоверно быстрый, по бурелому передвигается, как мышь по паркету, — стремительно. Тридцать метров он преодолевает в несколько прыжков, пятьдесят метров — в мгновение ока.

Кто-то подумает, ну что медведь, морда плюшевая и мозг тоже, а в реальности — звериная психика, неимоверная масса тела, чудовищная скорость мышц, места крепления к костям, увеличивающие рычаг в разы от человеческого. И вот уже перед вами — идеальная машина для убийства.

— Ника, запомни, у медведя уровень гуманности — нулевой, — говорил мне папа. — Медведь ни разу не толераст и вообще не либерал. И если он клыками хватает человека за голову — это верная смерть, череп лопается как орех.

Я вспомнила, что оставила карабин и фальшфейеры снаружи, и, кроме финского ножа, у меня ничего нет. Можно было попытаться отпугнуть зверя огнем, спички у меня были, только что можно зажечь в отсыревшем пространстве? Пластиковое ведро? И тут я вспомнила, что там может храниться оружие, и кинулась к ведрам, принялась лихорадочно откручивать крышки.

В ближайшем ко мне ведре лежали коробка с монетами и драгоценными камнями, все остальное пространство было заполнено патронами в пачках и россыпью. Оружия не было. Я бросилась к другому ведру, где под пластиковым пакетом с деньгами нашла два пистолета. Я взвесила в руках «люгер» и «ТТ» и выбрала «ТТ», мне он всегда больше нравился, и калибр 7,62 самое то для обезумевшего эврифага. Вытащила из рукоятки обойму, протерла ее о футболку, продула ствол, вставила обойму и передернула затвор, загоняя патрон в патронник.

Внимательно прислушалась к звукам снаружи. Слышалось громкое чавканье. «Говядину жрет, гад», — подумала я. Теперь оставалось решить, как действовать. Стрелять в лапу бессмысленно, кроме крайней озлобленности зверя, мне это ничего не даст. Еще, чего доброго, медведь начнет разносить блиндаж, и меня завалит бревнами. Нет, стрелять следует наверняка, значит, надо, чтобы медведь сунулся головой. Пока я сидела и думала, медведь покончил с рюкзаком, вернулся к блиндажу и, отрывая куски дерна и выворачивая камни, принялся крушить вход. Если медведь решил добраться до жертвы, он обычно этого всегда добивается, значит, оставаться в укрытии мне недолго и терять, собственно, нечего. Я швырнула к входу горсть земли, и зверь заворчал, и я еще горсть подбросила. Рыкнув, медведь сунул в блиндаж морду и получил по носу куском трухлявой доски.

Тесное пространство блиндажа заполнил громоподобный рев, в свете фонаря тусклой желтизной блеснули клыки с пеной на деснах, и пахло такой жуткой, трупной вонью, что меня тут же вырвало. Любимая пища медведей — тухлятина, любят они дохлятиной, а то и мертвечиной на кладбищах лакомиться, зубы не чистят, соответственно, запахок из пасти тот еще по концентрации, поверьте на слово.

Почувяв близость жертвы, медведь рванулся внутрь, стены блиндажа затрещали, сверху посыпалась земля и куски древесной коры.

Я плотно прижалась спиной к стене, раздвинула ноги, открыла рот, чтобы снять нагрузку на барабанные перепонки, двумя руками подняла пистолет и последовательно четыре раза подряд нажала на спусковой крючок. В замкнутом пространстве звуки выстрелов были оглушающими.

Морда медведя дернулась наружу, послышался долгий сиплый хрип и... тишина.

От избытка адреналина меня затрясло, как припадочную, пот градом капался по лицу, в тесном, замкнутом пространстве нестерпимо воняло пороком, трупной гнилью и блевотиной.

Я сидела с пистолетом в руках, отплевывалась, утирала рот и ждала. Спустя полчаса стало ясно, медведь, скорее всего, мертв, и у меня появилась другая проблема: лежащая перед входом, по меньшей мере, двухсоткилограммовая туша, которую мне не сдвинуть, а значит, и вылезти из блиндажа никак не получится.

Для начала я постаралась успокоиться, прийти в себя. Вытащила из пистолета обойму и дозарядила ее. Сняла сапог, осторожно вытянула ногу из разорванной, набухшей от крови штанины и осмотрела ее, — от середины бедра до колена шла глубокая, сочащаяся кровью полоса. Я достала из ведра бутылку виски, открыла и щедро залила рану алкоголем и аж зашипела от острой, пронзительно-жгучей боли. Ранение было так себе, царапина, но самая опасность была в возможном заражении крови, когти зверей, так же как и зубы, чистотой не отличаются, сейчас это царапина, а через три дня — гангрена, и вот уже усталый хирург швыряет вашу отпиленную конечность в тазик с буквой «Б»³¹.

Перевязав рану оторванным рукавом футболки, я чуть отдышалась и тщательно исследовала верхний накат блиндажа. В одном углу бревна практически сгнили, и я принялась расшатывать их, выламывая трухлявые куски. Мне вспомнился Гекльберри Финн, он тоже похожим способом выбирался из лесной хижины, правда, у него была пила, в такой сволочной ситуации очень полезная вещь.

Мне понадобилось минут пятнадцать, чтобы расшатать крайнее бревно и, повиснув на нем, выломать часть потолочного наката. На меня тут же обру-

³¹ Медицинские отходы класса Б (органические послеоперационные органы, ткани).



шился поток земли вперемешку с трухлявыми кусками сгнивших бревен. Я было испугалась, что меня сейчас завалит, но поток внезапно прекратился, а темноту блиндажа прорезал спасительный луч дневного света, придавший мне сил и решимости. В потолке образовалась небольшая дыра, которую я принялась изо всех сил расширять. Наверное, так выходят на поверхность заваленные в забое шахтеры, постепенно, шаг за шагом. Не знаю, сколько прошло времени, когда дыра под потолком стала достаточно большой, чтобы можно было попытаться в нее пролезть, для девушки тут главное, чтобы бедра проходили. Двумя веревками я привязала термос и оба ведра, закрепила концы веревок вокруг пояса и полезла вверх, цепляясь за осклизлые бревна и корни деревьев, что росли на крыше блиндажа. Едва протиснувшись в пролом, я вылезла на поверхность, ртом хватая воздух и дрожа, как теленок, что волка чует.

Сжимая в руке пистолет, быстро осмотрелась по сторонам. Внизу, возле входа в блиндаж, недвижно бугрилась медвежья туша. Я смотрела на нее, держа палец на спусковом крючке. Медведь — животное опасное не только своей звериной силой и яростью, но и невероятной хитростью. Раненый медведь может прикинуться мертвым, чтобы в подходящий момент внезапно вскочить и напасть на охотника. Такие случаи бывали неоднократно. Потому, отдышавшись, я дважды в упор пальнула в медвежий загривок, аж шерсть задымилась, а над озером взметнулась стая уток. Медведь не дрогнул. Я подождала еще минут пять и осторожно подошла к убитому зверю.

С первого взгляда стало понятно, — медведь свалил в места вечной охоты, и ладно, и пусть ему там будет хорошо, и пусть никогда на его пути не встанет девочка с пистолетом «Тульский Токарев» в руках.

Голова медведя, сплошь облепленная мухами, лежала в луже черной крови. Все четыре пули вошли ему в пасть и на выходе разворотили половину черепа. Мозг медведя — вытянутая капля размером не больше двадцати сантиметров — превратился в кашу из костей, желеобразной массы, крови и шерсти. Пистолет «ТТ» — серьезный аргумент, с ним лучше не спорить, тем более на дистанции в полтора метра.

Что ж, не зря в народе говорят, хоть силен медведь, да в болоте лежит.

Подтащив минометную плиту, я закрыла вход, поставив ее между блиндажом и головой зверя. Чтобы втиснуть плиту, мне пришлось наступить на медведя, это то еще ощущение, скажу я вам! Смерть не успела сжать его в деревянных объятиях, туша все еще была мягкой, и казалось, что зверь сейчас вскочит и бросится на меня.

Медведя я решила не трогать, зачем? Да и не смогла бы при всем желании, пусть лежит.

Вернулась на крышу блиндажа, где зиял пролом, и за веревку вытянула сначала термос, а следом два ведра. После некоторого размышления монеты, драгоценные камни и немецкий трофейный антиквариат я все-таки решила оставить на острове. Сокровища счастья нам не принесли.

Долго думала, взять ли пясы? Папа очень хотел, чтобы я их носила, когда стану взрослой. Мысленно взвесив все за и против, решила оставить. Пясы — часть клада, и тут либо брать все, либо ничего. Я взяла деньги, «ТТ», несколько пачек патронов и виски как средство дезинфекции. Закрутила крышки и сбросила ведра вниз. Затем завалила пролом крупными ветками, кусками досок, камнями, засыпала землей и еще затащила и пристроила сверху здоровенный кусок трухлявого пня.

Закончив с восстановлением крыши блиндажа, проверила рюкзак, вернее, то, что от него осталось. Гребанный эврифаг, как и положено эврифагу, сожрал все, а что не мог сожрать, то разорвал и погрыз. Карабин тоже оказался поврежден: ствол погнутый, ствольная коробка помята зубами. Из всего имущества остались только топорик, кружка, хоть и помятая, но целая, и бинокль, который я повесила на ветку ольхи, а медведь, видимо, не заметил.

Не тронул медведь и соль, видимо потому, что соль была смешана с перцем. Даже некоторые батарейки для фонаря погрыз, сволочь! Несмотря на то что все запасы продовольствия были съедены медведем, я на этот счет не заморачивалась, летом в наших местах немудрено выжить и на подножном корме. Тем более до жилья не месяц добираться, можно и потерпеть. Плохо было то, что пластиковая бутылка была разорвана на куски, а значит, воду с собой не возьмешь, с другой стороны, в болотах воду всегда можно найти, и черт бы с ней, с бутылкой.

Я порадовалась, что самые нужные вещи остались при мне: спички, нож, рыболовная леска, крючки, мобильный телефон, бинокль, два фонаря.

Время было три часа дня, оставаться на острове мне совсем не хотелось, и я прикинула, что до заката солнца успею добраться до «хенкеля», где и заночую.

На лодке перебралась с острова на, так сказать, материковый остров, по-быстрому развела костер, вырезала из ветки тальника удилище и за пятнадцать минут поймала трех щук, каждая весом больше килограмма. На крючок попало также десяток ершей и плотва, которых я тут же вернула в воду, мелочь меня не интересовала.

Поскольку мясо и сыр сожрал медведь, рыбу я решила запечь и взять с собой. Прикинула, что этих щук мне с лихвой хватит, чтобы дойти до «чернея», а там можно окуней наловить.

Быстро разделала рыбу: выпотрошила, удалила головы, хребты, чтобы тушки быстрее пропекались, каждую рыбину посолила-поперчила, насадила на прут из орешника в виде рогатки. Прутья воткнула в землю рядом с костром, предварительно подержав ладонь над углями, чтобы можно было терпеть жар не более трех секунд, вот на таком расстоянии и запекаешь рыбу, время от времени поворачивая ее, чтобы не подгорела.

Еще я надергала корней рогоза и тоже закинула в угли, в запеченном виде это все равно что спаржа.

Пока готовилась рыба, водой тщательно промыла рану на ноге, продезинфицировала вискарем, перевязала куском ткани и занялась упаковкой наличности. Пересчитала деньги, все как есть: один миллион триста семьдесят пять тысяч долларов, — сто тридцать семь пачек по десять тысяч каждая и еще пять тысяч, скрепленные резинкой. Тяжелый груз. Теперь-то я знаю, что деньги сами по себе очень тяжелые.

Основная сумма была в термосе, оставшуюся часть денег я упаковала в пакет вместе с патронами, перетянула скотчем и закрепила поверх крышки. Получился довольно компактный, хотя и нелегкий груз, но для меня было главным перенести деньги от гати до берега, где придется шагать по пояс в воде, и водонепроницаемый термос здесь очень кстати.

К тому времени как разобралась с деньгами, рыба запеклась, и я тут же с аппетитом заточила одну вприкуску с корнями рогоза. Оставшиеся две щуки положила в термос, сверху — пистолет.

Затем вскипятила в кружке воду, закинула листья дикой смородины и немного посидела у костра, прихлебывая горячий ароматный напиток.

Наконец, собравшись с духом и силами, забросила термос за спину, побрела к гати. Перед выходом на болото отхватила ножом кусок уже порядком потрепанной футболки и перевязала голову на манер банданы, чтобы пот в глаза не скатывался.

На часах был шестой час вечера, и надо было спешить, и все-таки здесь мысленно я себя одернула: торопиться нельзя, торопливость приводит к ошибкам, ошибки приводят к гибели. Правило, одинаковое и для болотных скитальцев, и вообще всех нас в жизни.

С первых же шагов я поняла, что мне предстоит пройти трудный путь, чертовски трудный, и все из-за груза за спиной.

Один миллион триста семьдесят пять тысяч долларов по весу тянули явно больше десяти килограмм, плюс термос со стальной колбой, это еще семь-восемь килограмм. Прибавить пистолет, патроны, фонарик, бинокль и тяжесть мокрой одежды. Короче, положите на плечи двадцатипятикилограммовую гирию и попробуйте идти с ней по болоту. А теперь представьте, что вы девочка и вам четырнадцать лет. Весьма проблематичная задача, поверьте на слово. Никакой гребаной романтики, лишь хлюпанье пота в подмышках, трясущиеся ноги и дикая боль в плечах и позвоночнике.

Шагать по гаги, чувствуя под ногами надежную твердь бревенчатого настила, было все же легче, это давало хоть какое-то чувство безопасности. И я брела, как в стишке: «идет бычок, качается, вздыхает на ходу, вот-вот доска кончается, сейчас я упаду...», до тех пор, пока гать не закончилась. В бинокль было видно, что закрепленный на дереве ярко-красный шнур стелился по мху и уходил в воду. Прикинув примерное направление, я прошлась по краю гаги, пошарила ногами и зацепила колышек. Закрепила шнур на силовом поясе, прочитала «Отче наш», выдохнула и осторожно шагнула на плаву. И сразу провалилась по грудь. В страхе рванулась назад, к спасительной гаге, трясина под ногами плавно качнулась, на поверхность вырвались крупные пузыри и тут же лопнули, распространяя смрадную болотную вонь. Я замерла, что есть сил вцепившись руками за шнур. Из-за груза за спиной мой вес стал тяжелее, но, с другой стороны, вес папы был еще больше, и он прошел, значит, и я смогу.

Я отбросила шест и сделала шаг-другой, цепляясь за натянувшийся шнур и как бы вытягивая себя из воды. Зыбучая топь вновь заходила под ногами, но тут уж я разозлилась, и мне стало как-то все равно.

— Хер ты меня возьмешь! — заорала я, отплевываясь от болотной жижи и комаров, перебирая руками вдоль шнура, рывками подтягиваясь к спасительному берегу острова «хейнкеля». И вот так постепенно, хрипя, как загнанная лошадь, я дошла, добрела, дотянула. Не знаю, видимо, обратный путь мне дался легче, потому что страховочный шнур не болтался сзади, а шаг за шагом вытягивал меня из болота.

Выйдя на берег, я не стала отдыхать и сушить одежду, отвязала от березы и свернула шнур, достала из термоса пистолет, сунула его за пазуху, и как была мокрой, так и поперла по тропе к «хенкелю». Близился вечер, и мне совсем не хотелось вновь испытывать судьбу, пробираясь во тьме лесной чащи среди бурелома и змей.

Правда, пока шла к самолету, пару раз все-таки отдохнула. Сбрасывала с плеч термос и садилась на него как на пенек, очень удобно.

Добравшись до «хенкеля», на какое-то время затаилась, оглядываясь и прислушиваясь. Слабый ветер слегка покачивал макушки елей, в болотах слышалось отдаленное кваканье лягушек, из зарослей выбежал горностай, тощий, гибкий, он застыл на мгновение, с любопытством посмотрел на меня, где-то хрустнула ветка, и зверек мгновенно исчез. В глубине чащи заполошно заорала сойка, эта дура всегда реагирует на крупных животных и человека. Я сунула руку за пазуху, стиснула теплую рукоятку пистолета. Среди колыхнувшихся зарослей мелькнула лосиха с лосенком, они, не торопясь, прошли в глубь острова, а я все стояла, прислушиваясь. Сойка успокоилась.

Забираться в самолет с термосом за плечами мне бы точно сил не хватило, еще навернешься и шею сломаешь. Потому я поставила груз внизу, под брюхом «хенкеля», привязала к нему альпинистский шнур, а другой конец закинула на бревно как раз перед входом в корпус самолета.

На этот раз я забралась в самолет довольно сноровисто, видимо, уже сказывался опыт. Открыла дверь, нырнула внутрь и посветила фонариком,

обмирая от страха в ожидании увидеть сидящего на скамье Прошку. Но там никого не было. Перевела дыхание, вернулась к входу и втянула термос в самолет. Затем прошла в кабину, плотно закрыла за собой дверь, подперла ее термосом, разделась, выжала мокрую одежду и развесила ее на приборной доске, турели авиапушки и штурвале. Расстелила на штурманском месте кусок брезента и легла, положив рядом пистолет.

И почти сразу заснула. Настолько ухайдакалась, что вырубилась напрочь.

Проснулась в пять утра от невыносимой жажды. Нехотя пожевала кусок холодной щуки, но стало еще хуже. Выходить из самолета в мрачную пред-рассветную темень мне хотелось, и я еще два часа мучилась, то дремала, то таранилась через стеклянный пол кабины на доисторические заросли папоротника, верхушки которого касались кабины «хенкеля».

Наконец окончательно рассвело, я поднялась, пощупала одежду. Она была сухой и от грязи стояла колом. Я энергично пожукала руками штаны и куртку, чтобы мягче стали, оделась и вышла в коридорный отсек. Спустилась с самолета и направилась на поиски воды. Найти воду не так уж и трудно, болото по сути само по себе природный фильтр из мха и торфа, насыщенных кислородом.

Обойдя по кругу самолет, в зарослях папоротника нашла небольшую мочажину с водой и на всякий случай плюнула туда. Это старый партизанский способ проверки источника воды на пригодность употребления. Если слюна повиснет в воде вязким комком — воду пить нельзя, если растворится — можно. Мне повезло, вода в мочажине оказалась хоть и густого коричневого цвета, но вполне пригодной для питья. Напилась про запас, аж в животе заплескалось, как в бочке, немного отдохнула, вернулась в самолет и стала собираться в маршрут.

Перво-наперво мне следовало уменьшить груз, с такой гирей за плечами к поселку я выйду к осени, если вообще выйду. Термос решила оставить в самолете, деньги и патроны упаковала в один надежно перетянутый скотчем пакет из мешка для строительного мусора. Перекрученный скотч пошел на лямки, и по итогу получился небольшой мешок-рюкзак, несуразный с виду, но вполне переносимый. «Шурик» я тоже решила оставить, хотя было жалко, но что поделать? Все-таки килограмм лишнего веса, а в случае чего, мне хватит одного налобного «феникса». Предварительно вытащив батарейки, чтобы не потекли, положила фонарик в термос. Остатками вискаря щедро промыла на ноге рану, прижала к ней кусок сухого торфяного мха, плотно перевязала. Вторую непечатую бутылку виски положила в термос вместе с фонариком.

Так что если найдете — спасибо мне за подарок.

Термос стоит в кабине «хенкеля», значит, для начала вам следует найти остров и самолет. Почти как в сказке, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук... на острове.

Затем я смастерила из скотча петлю и закрепила на ней пистолет. Петля надевалась через шею под левое плечо, сверху куртка, со стороны ни за что не заметишь.

Бинокль повесила на шею, встала, закинула за спину мешок и порадовалась, что груз стал заметно легче. Да что там говорить, если бы не боль от раны в ноге, с таким грузом можно было бы даже трусцой бежать!

Путь назад был уже хорошо знаком, особой сложности не представлял, и я надеялась к вечеру дойти до «чернея».

Спустя пару часов ходьбы погода начала портиться, над равниной болот нависли темные, набухшие водой тучи, заморосил дождь, все вокруг налилось влагой, и мох под ногами еще сильнее зачваркал жижей воды.

Под дождем постепенно промокла одежда, но я продолжала брести по тропе, поскольку разводить костер в напрочь мокром редколесье не было смысла, все равно не просушиться. Потяжелевшая от дождя куртка давила на плечи, побаливала нога, и в ходьбе я стала заметно прихрамывать, но зато по такой погоде почти не хотелось пить, и это был плюс, к тому же как только воды попьешь, так сразу расслабляешься. А когда все-таки хотелось попить, бочажины с водой я не искала, просто вырывала кусок мха, переворачивала его, немного ждала, пока вода от корней отойдет, и выжимала мох, как тряпку, в кружку. Таким способом получалось добыть стакан отличной, природно фильтрованной воды.

Вот так я шла и шла, время от времени устраивая короткие привалы на поваленных деревьях. Непогода разогнала комаров и мошкару, и в этом тоже был плюс, не надо было искать муравейники, чтобы намазаться муравьиной кислотой.

К «чернею» подошла уже в глубоких сумерках. Затаившись под свисавшими со старой ели серыми космами лишайника, в бинокль высмотрела и тщательно изучила потайные знаки, которые оставила перед входом, чтобы знать, не заходил ли кто в мое отсутствие. Пара щепок на земле и обрывок веревки в двери смотрелись нетронутыми, по ходу, за прошедшие пару суток в хижине так никто и не побывал. Для надежности я выждала еще полчаса и почти в полной темноте подкралась к хижине, прошмыгнула внутрь. Луч «феникса» не выявил в помещении ничего подозрительного. Я закрыла дверь на засов и повалилась на нары. И сразу накатила такая опустошающая усталость, что я с великим трудом заставила себя встать, растопить печку, развесить над ней одежду для просушки. Буквально через пятнадцать минут в хижине стало тепло, исчезло мерзкое ощущение вездесущей сырости, и меня стало неумолимо клонить в сон. Я нехотя пожевала рыбу, — спать хотелось больше, чем есть, — сунула «ТТ» под подушку и провалилась в сон, как в болотную трясику.

Проснулась рано утром и некоторое время лежала, прислушиваясь к звукам снаружи хижины, потом встала и, прихватив пистолет, подошла к двери, осторожно открыла. На меня пахло свежестью мокрой травы, слегка отдающей болотом. Дождь закончился, и все вокруг затянуло завесой плотного тумана, не было слышно ни птичьих криков, ни всплесков жирующих окуней, и видимость была от силы метров двадцать. Поеживаясь от утренней прохлады, я стояла в одних трусах, сжимая в руке пистолет, смотрела на тяжелую от росы траву вокруг хижины. Выходить из тепла не хотелось, но надо было хотя бы умыться. Осторожно ступая по доскам, камням и поленьям, разложенным в виде дорожки, я добралась до озера, опустилась на колени и, зажав пистолет между ног, по-быстрому умылась. Вернулась в хижину, раздула тлеющие в печке угли, подбросила дров и осмотрела одежду. Сапоги были влажными внутри, а вот куртка, штаны, футболка и портянки высохли.

На завтрак доела початую щуку, подумала и принялась за вторую. Впереди был очередной долгий переход по болоту, а значит, мне понадобятся силы.

Мне не хотелось покидать теплый уют хижины, и я, как могла, оттягивала момент выхода, валялась на нарах, отщипывая и поедая кусочки рыбы, прикидывая планы на день.

Мне надо было дойти до оставшейся в лесу «пионерки» и вернуться в Тросно. Если с дрезиной не получится, придется идти до поселка по шпалам, это еще часа три-четыре. Сейчас семь утра, если выйти в восемь, то к трем-четырем часам пополудни выйду к узкоколейке.

Так в общем-то и получилось. Спустя час я вышла из хижины и к четырем часам дня, пройдя через Пелецкий мох, зашла в лес. «Пионерка» стояла на месте, вокруг никаких следов человека. Реверс-редуктор позволял дрезине двигаться задним ходом как передним, малой скоростью, конечно, но я и не торопилась, случись колесу слететь с рельса, мне вряд ли удалось бы поставить дрезину, так что лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

Перед тем как отправиться в обратный путь, я побродила по лесу, набрала для отвода глаз пакет «курочек», запустила двигатель и покатила к Тросно.

Поселок встретил меня вновь начавшимся дождем и благостной тишиной, то ли ягодники не приехали, то ли уже набрали корзины и свалили.

Первым делом я колодезной водой залила грибы и поставила их в тень. Залезла в дом отработанным путем — через окно. В подполе взяла банку лоя, в чугушке — окаменевший кусок хлеба. Затем разделась, повесила одежду на просушку и, закутавшись в старое одеяло, устроилась на диване.

Засохший хлеб ножом не возьмешь, он раскалывается, и я вспомнила, как зимой на охоте мне с папой довелось есть замерзший хлеб, мы распилили его ножовкой, получилось легко и ровно, опилки тоже можно было есть.

Кое-как расколов ножом засохший кусок, я стала есть, обмакивая хлебные осколки в лой. Не очень изысканно, зато сытно.

Поела и завалилась на диван. За окном убаюкивающе шуршал дождь, где-то за стенкой ожил сверчок и принялся скрипеть, приветствуя меня. Наверное, подумал, что мы вернулись, и обрадовался.

— Мы никогда сюда не вернемся, брат, — прошептала я. — Прости.

И опять слезы так и полились из глаз. Стиснув рукоятку «ТТ», я всхлипнула и постаралась успокоиться. Потом уснула.

Спала остаток дня и всю ночь, настолько этот поход меня вымотал.

Утром первым делом направилась к колодцу. Зачерпнула пару ведер и хорошенько помылась, потому как за время скитаний воняло от меня, как от болотной козы. Осмотрела рану на ноге. Здоровенная царапина хоть и не кровоточила, но набухла опасной краснотой и побаливала. Одежда за ночь практически высохла, но после беглого осмотра я забросила ее в угол. С собой решила взять только немецкую камуфляжную куртку, свернула ее, перевязала веревкой. Выходить к людям следовало чистой и аккуратной, не хватало еще, чтобы меня в милицию забрали как бродяжку. Я представила, как менты в дежурной комнате милиции заглядывают в мешок, и улыбнулась. Похвалила себя за предусмотрительность и надела оставленные джинсы, футболку, ветровку и кроссовки. Переделась и сразу почувствовала себя другим человеком. Нести деньги в перемотанном скотчем мешке я не решила, все-таки лишнее внимание мне было ни к чему. Взяла рюкзак, где хранилась городская одежда, и заполнила его пачками долларов, туда же положила пистолет и бинокль. «Феникс» решила оставить в доме. Остаток денег вместе с патронами все-таки пришлось завернуть в пластиковый пакет и обмотать скотчем. Пакет закрепила поверх рюкзака. Со стороны посмотреть, получилось вполне по-туристически.

Время было раннее, локомотив, скорее всего, прибудет не раньше полудня, если вообще придет.

Чтобы убить время, я осмотрела сарай, нашла там старый сачок для ловли бабочек и тоже решила взять с собой для маскировки.

Затем расположилась под навесом напротив мангала, не спеша догрызла остатки хлеба с лоем и, прислонившись спиной к столбу навеса, принялась ждать.

Рядом с мангалом на полке я заметила книгу, это был роман «Гроздь гнева» Джона Стейнбека. Открыла и сразу увидела очерченный карандашом абзац, папа читал и отмечал, это его манера.

«— Я не хочу равнять себя с Иисусом, — продолжил проповедник. — Но я устал, так же как он, и запутался в своих мыслях, так же как он, и ушел в пустыню, так же как он, не взяв с собой ни палатки, ни вещей. По ночам я лежал на спине и глядел на звезды; утром сяду и смотрю, как всходит солнце; днем вижу с холма сухую землю внизу; вечером провожаю солнце. Иногда начну молиться, как и раньше. Только кому молюсь, за кого молюсь, сам не знаю. Вокруг меня холмы, и я брожу среди этих холмов, и я с ними теперь одно целое. Мы едины. И это единство свято».

Книга лежала на коленях, я плакала, хваталась зубами за ладонь, стараясь не завить в голос.

— Я молюсь за тебя, пап, — всхлипывая, шептала я, — молюсь за тебя... Вокруг нас обязательно будут холмы, и мы будем бродить среди холмов, потому что мы — едины. Мы — одно целое.

Локомотив прибыл ровно в полдень.

Услышав его тонкие гудки, я закинула рюкзак за спину, подхватила сачок, пакет с грибами и вышла за ворота. Взглянула на дом Василисы, у нее курилась белесым дымком труба летней кухни, значит, все нормально, жива-здорова старушка.

Пока шла к поезду, успела нарвать букет ромашек, так что со стороны ко мне было не придаться, девочка с рюкзаком, сачком для бабочек, пакетом грибов и букетом полевых цветов. Типичная ботанка возвращается из похода в лес.

Машинистом локомотива был все тот же Иван Ефимович, у которого я сразу спросила новости о медведе.

— Черт его знает, — ответил Иван Ефимович. — Вроде не слышно, нигде не видели, но люди боятся, ягодников вон почти никого.

Ягодников действительно с поезда сошло всего пять человек, все женщины. Крупные, горластые нелидовские лосёхи, что им медведь, такие кого хошь за холку возьмут.

Почему-то я была уверена, что медведь-людоед — это тот самый, что остался на острове Барона, но свои мысли, конечно, не стала озвучивать.

— А ты что, никак за бабочками охотилась? — хохотнул Иван Ефимович.

— Ага. Нам в школьном кружке задание на лето дали, собрать образцы бабочек. Ну, заодно и грибов набрала.

— Я смотрю, рюкзак у тебя неподъемный.

— Там книги, взяла старые в доме. Забыли, когда уезжали.

— Да уж, бумага, она завсегда тяжелая.

Локомотив пискнул сигналом, и мы покатили в Нелидово.

Прибыли незадолго до отправления автобуса на Тверь, я едва успела дойти до автовокзала, купить в ларьке бутылку воды и пачку овсяного печенья.

Перед посадкой в автобус познакомилась с туристами, молодыми парнями и девушками, ехавшими из Западной Двины в Тверь. Наплела им про бабочек и гигантских щук в озерах. Они, конечно, поразились, что я одна ходила и в такой глуши. В общем, доехала без проблем, четыре часа пролетели под звон гитары и хруст чипсов.

По всей земле пройти мне в кедах хочется,
Увидеть лично то, что вдалеке,
А ты пиши мне письма мелким почерком,
Поскольку места мало в рюкзаке! —

орали мы всей компанией.

Народу в автобусе было битком, кто-то сходил по маршруту следования, кто-то садился. Подъезжая к Твери, позвонила маме, попросила, чтобы встретила.

Как вышла из автобуса, смотрю, мама стоит. Оценивающе оглядела мой рюкзак за спиной, сачок, пакет с грибами, бейсболку в грязных болотных разводах.

— Значит, в поход ходили? — усмехнулась она.

— Мам, наши деньги у меня.

— Пойдем.

До самого дома, пока ехали на трамвае, мама не сказала ни слова и вопросов не задавала. Как зашли в квартиру, я срезала скотч с мешка, открыла рюкзак и вывалила деньги на пол. Такая куча деньжищ была, я вам скажу, обалденная!

Мама взглянула на деньги и заплакала. Ну и я разревелась.

— Где ты их нашла? — спросила мама.

— В болоте, на острове.

Она кивнула, деталями интересоваться не стала, спросила только:

— Что у тебя с ногой? Почему хромаешь?

— Так, ерунда, царапина.

— Ну-ка, покажи.

Я задрала штанину. След от медвежьего когтя еще больше набух краснотой и сочился сукровицей.

— Ника, ты с ума сошла! Заражения крови ждешь? Давай-ка в ванную, промой рану.

Прихрамывая, я поплелась в ванную, а мама принялась разбирать аптечку. После того как я промыла рану, мама обработала царапину перекисью водорода, помазала ранозаживляющей мазью, перебинтовала и отправила меня в постель.

— Никуда не ходи, сиди дома. Завтра ходим в больницу, пусть врачи глянут. Эж тебя угораздило! Как все равно что когтем рванули.

— Да не, это проволока колючая попалась, когда я через забор перелезала, — о медведе я благоразумно не упомянула.

Пока мама суежилась с аптечкой, я успела заныкать пистолет и патроны в шкаф, за коробками с обувью.

После обработки раны мама отломилла мне четвертушку таблетки димедрола, по размеру как большая белая крошка. Я ее проглотила, засекала время и вырубилась. Проснулась через двадцать три часа, за это время царапина значительно потеряла свою красноту и припухлость, воистину сон лечит.

Деньги были собраны в один большой мешок для мусора. Мешок был открыт, и в комнате чувствовался странный резкий запах, нечто вроде смеси ацетона и медикаментов, теперь я знаю, на самом деле деньги — пахнут, и еще как!

Увидев, что я проснулась, мама присела ко мне на диван и принялась расспрашивать подробности моего похода, о многом я, конечно, рассказывать не стала. Медведь, змеи, Прощка...

Мама, конечно, была в шоке от моих походов, отругала меня, ну да что там ругать, коли дело сделано, а победителей, как известно, не судят.

Стали мы думать, что делать с деньгами. И вот тогда я предложила все-таки переехать в Забайкалье и там разводить абердинов, и что наша ферма в Даурии будет папе лучшей памятью.

— Там наша мечта, ради которой стоит жить, — уверяла я маму. — А к мечте следует идти, не отступать и не сдаваться, несмотря ни на что. И тогда мечта станет реальностью. Так папа говорил.

Мама мою идею приняла без особого энтузиазма, мол, такая даль, да что мы сможем сделать на ферме вдвоем и без мужчины.

— Ерофей растет, — ответила я. — И мы с тобой ни разу не городские. Там и родственники папы, и община, нам помогут. Деньги у нас есть, за пару лет освоимся. А в городе я не могу, не для меня это.

Мама вздохнула, склонила голову, она и сама была не рада учетчицей на оптовом складе впахивать.

— А как же школа?

— Мне осталось три года. Восьмой-девятый класс закончу в Мензе, а там видно будет. Папа говорил, в жизни главное не образование, а характер и умение выполнять конкретную работу. В фермерском бизнесе — это значит навык хозяйствования и деловая хватка. В конце концов, мам, учиться никогда не поздно, было бы желание и смысл. Ты вспомни, как мы жили в деревне и как живем сейчас. Мне что, в университет поступать, чтобы, получив диплом, на рынке кроссовками торговать? Или жить мечтой выйти замуж за богатого трахаря?

— Ника!

— Что Ника?! Разве не так? В нашем классе почти все девчонки живут такими планами. Диплом какой-нибудь отсидеть, а еще лучше выгодно замуж выйти. И жить брюхом, сексом, шопингом и пляжными фоточками в интернете. А моя мечта — жить с видом на горизонт и делать бизнес, понимаешь? Мама, мы любим землю, у нас есть мечта, деньги, оружие и «шишига». Что еще надо для успеха в жизни?

Мама долго молчала, я уже успела чай заварить и торт нарезать. Потом улыбнулась и сказала:

— Взрослая ты, Никуша. Я и не заметила, как ты выросла.

Покачала головой, вздохнула и сказала:

— Хорошо. Пусть будет так. Собираемся и уезжаем.

И добавила:

— В случае чего можно и вернуться.

Но и она и я знали — назад дороги нет и не будет.

Маша расплакалась, узнав, что мы покидаем Тверь.

— Вот же неvezуха... — всхлипывала она. — Только появилась подруга, и снова никого.

— Маша, у тебя все будет отлично, даже не сомневайся, я тебе гарантирую. Мы еще встретимся, и не один раз. Ты еще в гости к нам приедешь, и мы к тебе. Заканчивай школу, а как надумаешь поступать, если деньги понадобятся, позвони мне, я помогу. Самое главное, — не разменивайся на пустяки, не отступай, не сдавайся, доверяй интуиции, прислушивайся к богу, он всегда дает нам знаки, надо просто уметь их замечать. Дерзай, Маша, и да пребудет с тобой мечта, ради которой стоит жить и работать.

Для начала мы позвонили родителям папы и мамы, и все они сказали, что готовы нас принять.

— Будем жить в Укыре, мам, — сразу поставила я условие. — В Укыре круче, людей меньше, много лошадей.

— Там видно будет, — ответила мама.

До конца летних каникул оставалось полтора месяца, так что за две недели мы продали квартиру, сбросили буквально за бесценок, только чтобы побыстрее. За такую цену, что мы выставили ее на продажу, толпа риэлторов нас чуть не снесла.

Часть вырученных от продажи квартиры денег передали тверским и нелидовским знакомым за помощь, что они нам оказывали.

Съездили в Нелидово, там наняли бригаду рабочих, и они сняли в нашем доме дубовые полы, мы решили их с собой забрать как память о доме.

Добираться до Забайкалья решили своим ходом. Брат с собой в дорогу Ерофея мы не решились, а я так всеми лапами была за то, чтобы брата

с нами не было, потому что у меня уже был ПЛАН, и в этом плане детям было не место.

На наше счастье в Москве как раз была Маша, мамина забайкальская подруга, та самая, которая в свое время помогла ей бежать на запад. Сын Маши поступил в МГУ, и, чтобы не жить в общаге среди еретиков, его родители на деньги общины помогали ему устроиться в Москве, снимали квартиру и все такое. У нас, семейских, всегда так делается, община помогает своим, чтобы потом свои помогали общине. Маша как раз собиралась возвращаться домой, и мама договорилась, чтобы она взяла Ерофея с собой. Через три дня братишка уже был в Укыре, а мы стали собираться в дорогу.

Вещей у нас было совсем ничего, кое-что отправили контейнером до Читы, часть вещей, деньги, дубовые половицы и оружие погрузили в «шишигу».

Оставалось последнее дело. Я не могла вот так просто уехать и вычеркнуть из памяти прошлое лето, опушку леса и выстрелы, которые навсегда изменили жизнь нашей семьи.

— Нет, Ника, — сказала мама, когда я рассказала о своем плане. — Все взявшие меч мечом погибнут,³² и разве не знаешь ты, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной?³³

— Невозможно стать святым и безгрешным, не пройдя через грех, так же как свет нельзя увидеть без тьмы, — сказала я в ответ. — Это всего лишь способ остановить их и показать дорогу к вечности. И потом, я уверена, что право применить меч дано человеку Богом, потому что Бог Сам обладает этим правом, и потому именно Он и вручает меч в руки Своего подобия. Сказано Им: «И найдет его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь: то не будет на нем вины кровопролития»³⁴.

— Что ты собираешься делать?

— Клянусь, я не буду стрелять в людей, просто поставлю их перед Богом, а дальше уж как Всевышний решит, так тому и быть. Ты мне поможешь?

После долгого молчания мама ответила, не глядя на меня. Голос ее звел, как натянутая стальная проволока.

— Помогу.

Пуля Полева — хорошая, точная пуля, но уж очень лёгкая, двадцать четыре грамма даже в двенадцатом калибре. Перебирая старые запасы патронов к гладкоствольным ружьям, я нашла жестяную банку из-под печенья, заполненную тридцатипятиграммовыми самодельными пулями «диаболо», вылитыми из сплава аккумулятора и кабельного свинца.

— «Диаболо» — лучшая целевая пуля, — говорил мне папа. — Проблема только в том, что она, зараза, очень чувствительна к заряду пороха. Здесь как раз тот случай, когда лучше меньше, да лучше. Стоит хоть на десятую долю грамма увеличить порцайку, и пуля начинает кувыряться, но если порох насыпан, как надо, «диаболо» летит по прямой, как голый вая в баню, — не смотря по сторонам, через березовый карандашник проходит, как снаряд, и сохатого валит коньками вверх с одного попадания.

Во время забоя скота папа как-то пальнул «диаболо» в здорового боровца. Пуля пробила голову, прошла через шею и грудину, срикошетила от мерзлой земли и врезалась в задней части загона в сосновую доску «пятерку», сломала ее и застряла в древесине. Когда мы пулю выковыряли, она выглядела, как оплавленный гриб.

³² Евангелие от Матфея, 26:52.

³³ Евангелие от Иоанна, 3:15.

³⁴ Ветхий Завет. Числа, 35:27.

В «диаболо» есть верхняя часть и есть расширяющая книзу «юбка», что делает пулю похожей на перевернутую рюмку, и в этом как раз заключается еще одна проблема — в мягкой, сминаемой «юбке», при входе в цель она деформируется и, бывает, меняет баланс, уходит в сторону. Папа решал проблему с балансом по-своему: замачивал бумажные салфетки в канцелярском клее, заполнял «юбку», и за сутки смесь приобретала костяную твердость. А еще, бывало, заливал парафином, это еще проще.

Я снарядила сначала два патрона, подумала и запыжевала еще четыре, чего не сделаешь ради заклятых друзей, правда? К тому же известно ведь, не всякая пуля по кости, иная и по кусту.

Снаряжая патроны, я вспоминала, как первый раз пальнула из «бодсона». Стрельба из гладкоствольного ружья имеет свои особенности. Когда стреляешь из нарезного ствола, то ощущаешь толчок приклада в плечо, слышишь звук выстрела и видишь попадание пули. Совсем иное дело — гладкоствол. Нажимая на спуск, ты на какое-то мгновение успеваешь услышать стремительно уходящий вдаль жутко воющий, протяжно-гулкий полет пули, и это чистый секс, скажу я вам. Ну, это я сейчас так считаю, а в двенадцать-четырнадцать лет только догадывалась.

За день до отъезда я сходила в библиотеку, где написала и распечатала на принтере наш маршрут. В торговом центре купила «полароид» и сфотала себя на фоне груды долларов в комнате.

Для таких людей, как Деряба, Осипов, Агеев и прочие «старшие» и «младшие» волки тряпочные, — деньги самое важное. Пещерная зависть и железобетонная уверенность, что деньгами в жизни можно решить все вопросы, показывают нищету сознания подобных упырей и в то же время их слабость, таких можно легко подцепить на крючок простой фотографией с кучей бабла.

Сначала анфас сфоталась, а потом сняла трусы, повернулась задом и нагнулась. Ну, если и такая фотка бандитов не зацепит, тогда я не знаю Арканзаса³⁵.

Вечером отправилась к дому Дерябы. Заняла старый наблюдательный пункт в заброшенном коттедже, с тех пор, когда я там была последний раз, ничего не изменилось.

Какое-то время внимательно высматривала и, выждав подходящий момент, когда Деряба подъехал на «порше» и зашел в дом, метнулась к машине, запихнула под дворники лобового стекла конверт со своей фотосессией, фотографией «шишиги» и подробным описанием нашего маршрута.

Через полчаса Деряба вышел из дома и некоторое время недоуменно тараторил на конверт, затем настороженно оглянулся по сторонам, взял его и открыл.

Наживка заброшена. Волки в деле. Теперь нам оставалось только ждать и смотреть в зеркало заднего вида.

На восток

На следующий день утром мы отправились в путь. Забили в навигатор маршрут и поехали. Впереди — шесть тысяч километров, «шишига» урчала движком и была готова рвать колесами хоть асфальт, хоть бездорожье. Мы ехали с запада на восток, как когда-то караваны семейских переселенцев — «пасынков Екатерины» — шли длинной вереницей подвод от польских земель в сибирскую глушь.

³⁵ Здесь имеются в виду слова Герцога — одного из двух мошенников, которых Гек и Джим берут на борт своего плота незадолго до их приключений в Арканзасе. М. Твен. «Приключения Гекльберри Финна».

Москву решили обойти стороной. Доехали до Клина, повернули на трассу А108 — вдрызг раздолбанную двухполоску, затем вышли на шоссе М7 и погнались, как говорится, гусей по бездорожью в сторону Владимирской области.

Скорость держали в пределах шестидесяти, торопиться было в общем-то незачем, да и торопыгам на российских дорогах всегда выделена отдельная полоса прямоком на кладбище.

Вот так, минуя крохотные провинциальные городки, мы неспешно проехали Владимирскую, Нижегородскую области, следом — край «цветных мочалок» — Чувашию и ее столицу — Чебоксары, прошли Татарстан с добротными домами местных жителей и нефтяными качалками вдоль дорог.

Федеральные трассы так устроены, что проходят мимо городов, чтобы можно было пролететь транзитом, не плутая по улицам. В процессе движения мы отметили странную закономерность: если едешь на восток, то на въезде в регион дороги всегда лучше, чем на выезде.

День за днем, оставляя за собой километры асфальта и прибавляя часовые пояса, мы катили встречу солнцу. На карту взглянешь, кажется, что далеко, а на самом деле стоит нажать на педаль газа, включить музыку и все становится предельно близким.

Ночами мы не ехали, вечером останавливались на стоянках дальнобойщиков, принимали в мотеле душ, перекусывали в кафе, закрывались в кунге и спали. Деньги были надежно спрятаны под штабелем дубовых досок, рядом с нарами — старик «бодсон» и «повелитель болотных равнин», под потолком в потайном месте хранился «ГТ», в кабине у мамы — помповик «фабарм», двенадцатый калибр, шесть патронов с волчьей картечью, на дистанции тридцать метров кроет цель не хуже пулемета. А ну-ка, подойди.

Мы еще не успели покинуть Чувашию, как со мной произошел жуткий случай.

По дороге от Чебоксар к Цивильску, небольшому городку на трассе М-7, решили мы перекусить горячим, хоть и были в начале пути, а сухомячить нам уже порядком поднадоело. В кабине «шишиги» была установлена дорожная рация, и мы втихаря слушали разговоры дальнобойщиков, сами себя не афишируя. В этих разговорах много чего полезного можно узнать. Например, где бензин подешевле можно купить или заночевать там, где стоянка хорошо охраняемая и мотель приличный. Мотели-то, они разные, в одних вас ждет уют и комфорт, а есть и такие, где перед заселением гостей постельное белье не меняют. Ну так вот, едем мы и прислушиваемся, кто о чем болтает. Как-то раз дальнобой в очередной раз подняли очень важную дорожную тему, где вкусно и недорого поесть, потому как питание на трассе вещь очень важная, так как хочется все-таки ехать, а не глотать активированный уголь и тормозить возле каждого куста.

Мы сразу уши наострили, вникаем и ничего не понимаем, слова чувашские какие-то

«Москвачасы... шупашкар кассы... калай кассы... хыркасы...» Короче, кое-как выяснили, что на въезде в Цивильск рядом с АЗС «Татнефть» располагается стоянка грузовиков, и там есть хорошее кафе, готовят вкусно, а вот после поворота в кафешке возле налоговой — дорого, еда дрянь, и ждать приходится долго.

Мы, конечно, завернули к той кафешке, что возле АЗС. Кафе называлось то ли «Аниш», то ли «Даниш», не помню уже.

Сначала мама ходила поела, я сидела в машине.

В чем прикол путешествия по такой огромной стране, как Россия, так это возможность поесть всяких разных национальных вкусняшек. В кафе я заказала себе хуран кукли — вареники с картофелем, с виду обычные вареники, только залепуха по краям витая, как толстый шнур, очень вкусные и сытные.

Девчонки на раздаче удивились, что я со своей посудой, и сказали, что вот только сейчас женщина заходила, и тоже со своей чашкой.

— Это моя мама, — ответила я. — Старообрядцы мы, нельзя нам из чужой посуды пищу принимать.

Девчонки, видимо, никогда старообрядцев не видели, так и смотрели на меня во все глаза и с уважением. Истинная вера всегда уважается, даже людьми другой молитвы, ибо молитв много, Бог — один.

Кроме меня в кафе было несколько человек, и я выбрала столик в глубине зала, подальше от всех. Сижу, вареники улетаю.

И тут вдруг напротив меня за стол садится здоровенный мужик лет пятидесяти. Животастый, неряшливый, в спортивных штанах, растянутой футболке с темными пятнами пота под мышками, опухшим, словно тесто на опаре, рябым лицом, ну, таким, знаете, как будто на нем черт горох молотил. Голова почти вся лысая, и только на затылке куст жидких волос схвачен резинкой в мерзкий «хвостик». Глаза — как пулевые дырки в мишени, и смотрит на меня словно кот на сметану.

— Скучаешь, красавя? — подмигнул он и криво улыбнулся. Голос сильный, а дыханием можно бомжей травить — смесь чеснока, табака, беляшей и водочного перегара. — Как зовут?

— Думаю, вам нет никакого дела, как меня зовут.

— Не груби старшим, девочка.

Он замолчал, а сам все глазами по мне шарит, и взгляд такой липкий, жуть, и я пожалела, что выбрала столик на отшибе.

— Одна путешествуешь?

Наверное, меня смутил его возраст, все-таки взрослый человек, мне в деды годится, как можно такого игнорировать? Невежливо.

— С мамой.

— И куда направляетесь, девчонки?

— На восток.

— На восток, значит... — Он облизнул губы, откинулся на спинку стула, внимательно оглядел зал, вытащил из кармана штанов портмоне, раскрыл и принялся перебирать купюры. Перебирает и смотрит на меня, ухмыляется.

— Денег хочешь заработать?

— Нет.

— Нет? — он заметно удивился. — Не может быть, деньги все хотят.

— А я не хочу. Извините, можно я поем?

— Конечно, конечно, не вопрос.

Он резко выдохнул, и меня чуть не вырвало. И аппетит сразу пропал.

— Вот, смотри... — он продемонстрировал несколько купюр, — пять тысяч, десять. Может, познакомимся поближе?

Я прямо окаменела вся. И лицо загорелось, как будто в кипятке макнули.

— Отвали, козел.

Он сразу глазенками забегал, заерзал на стуле.

— Ты не подумай чего... а насчет денег, так не проблема, договоримся, как скажешь, и мама не узнает, ну чего ты, чего...

— Пошел вон.

— Я не давлю, не давлю, — он встал, вышел из-за стола. — Ты подумай, ага?

Хотела я ему варениками в рожу запустить, да скандала постеснялась. Это потом я поняла, что такие уроды пользуются тем, что девочки часто боятся скандала, внимания посторонних и потому молчат.

Тогда же я просто поднялась и вышла из-за стола. И черт с ними, варениками.

Купила у девчонок на раздаче пуремеч — ватрушки с творогом и хуплу — большой круглый пирог с начинкой из мяса и картофеля. Выпечкой можно и в дороге перекусить, а чая у нас всегда полный термос.

Маме я ничего не сказала, и это тоже плохо. Родителям надо доверять, они помогут, хотя, конечно, смотря какие родители, их ведь тоже не выбирают, как и детей.

Подошла к «шишиге», передала маме в кабину выпечку, и черт меня дернул вместо того, чтобы залезть в кунг, пройтись вдоль стоянки грузовиков, посмотреть на припаркованный трак «кенворт 900», один в один похожий на того самого «кешу», на котором я гоняла на ферме Николая в Брянской области.

Сверкающее никелем хромированное крокодиле рыло «кеши» я заметила, еще когда мы на стоянку заехали.

Обойдя вокруг огромного трака, я остановилась, любуясь технологическим совершенством грузовика. «Кенворт» был дико красив и страшен одновременно, красив своими огромными, поднятыми к небу хромированными трубами, длиннющим капотом, сверкающими на солнце корпусами воздушных фильтров, блеском стали бампера, массивной решеткой «матабурос» и глубоким бордовым цветом кабины. Страшен скрытой под капотом невероятной силищей мощнейшего двигателя Caterpillar, способного заставить тягач с грузом под сто тонн лететь по шоссе со скоростью сто сорок километров в час, ёлки-палки! Настоящий «король дорог»!

Так я стояла, и тарашилась, и восхищалась, и тут вдруг сзади послышался тихий, вкрадчивый голос:

— Что, нравится машинка?

От неожиданности я вздрогнула и не успела оглянуться, как грубая, толстая, воняющая солярой и прогорклым табаком ладонь закрыла мне рот. Я рванулась в сторону, но другая рука схватила меня поперек туловища, а ладонь с такой силой вжалась в лицо, что я задохнулась.

— Тихо, дуреха, тихо... — струился мне в ухо вонючий шепот. — Вот так... сейчас...

Мужик был крупным и тяжелым, я не могла кричать и попыталась вцепиться в ладонь зубами. Ладонь незнакомца рванула мое лицо вверх и в сторону, в шее что-то хрустнуло, а в глазах потемнело.

— Ты что это вздумала, сучка?! — прохрипел голос. — Придется твои красивые зубки монтировкой выбить, сама виновата.

Он схватил меня за ремень, перекинул через плечо, словно овцу, и поволок вдоль прицепа в сторону кабины трака. Сквозь слезящиеся глаза я пыталась рассмотреть людей, которые могли бы прийти мне на помощь, но вокруг никого не было, «шишига» стояла в конце стоянки и была закрыта грузовиками. У меня не было никаких шансов.

И вдруг я увидела папу. Он шел быстрым шагом вдоль ограждения стоянки и смотрел на меня. Взгляд его был строгим и тревожным одновременно. И я вспомнила, как мы когда-то ходили на «черней», рыбачили, сидели у костра, и тогда папа мне сказал:

— Ника, ты — девочка. Девочкам по жизни тяжело. Мир полон зла. За девочками идет охота, потому всегда и везде будь начеку, не расслабляйся. Любуй незнакомец потенциально опасен. Стань антилопой, что всегда слушает и смотрит пространство вокруг себя, не идет ли хищник. Не пора ли бежать?

— А если хищник все-таки напал?

Папа внимательно и оценивающе посмотрел на меня, взгляд его был примерно таким, как сейчас, с толикой тревоги и строгости.

— Мужчина всегда сильнее женщины, так заведено природой. Значит, тебе следует победить природу. Победить женскую природную жалость, нерешительность, сомнение. Тебе придется стать волчицей и быть готовой вырвать горло у врага. Не плачь, не царапайся, это тебя не спасет, не бей куда попало, этим ты только раздраконишь нападающего, разозлишь его. В случае, если тебя не убили сразу, притворись слабой.

— Как раненый медведь?

— Как раненый медведь. Выбери момент и действуй. Не сомневаясь, не задумываясь о последствиях. Если у тебя нет оружия, есть только два варианта: без колебаний и размышлений изо всех сил кулаком или камнем, чем угодно, ударить мужчину в горло, там, где кадык.

— А второй вариант?

Папа покачал головой, усмехнулся.

— Обними его за голову, сделай вид, что ты сдалась. И выдави ему глаза. Вот так кладешь ладони на голову и большими пальцами резко вдавливаешь до упора, не задерживаясь и не ойкая. Не думай, что ему больно, не думай, что тебе неприятно.

— Вот же блин...

— Да, только так.

Осенью, когда на ферме шел забой скота, папа показал, как надо правильно выдавливать глаза, на примере головы забитой свиньи. Выдавливать глаза — это все равно что пальцами сначала в холодец попадаешь, а потом сразу зельц и кость. Не сказала бы, что это приятный жизненный опыт.

И теперь, глядя на папу, который, не останавливаясь, шел мимо и не сводил с меня глаз, я поняла, как мне надо действовать. И расслабилась, повисла дохлой тушкой в руках насильника.

Подтащив меня к кабине «кенворта», он остановился. Я была для него грузом, каким-никаким, но грузом, и он боялся, что его кто-нибудь заметит, и потому торопился. Слыша его тяжелое, прерывистое дыхание, я почувствовала знакомую вонь водочного перегара, чеснока, табака и беляшей и чуть приоткрыла глаза. Это был тот самый шилом бритый мужик, что приставал ко мне в кафе. По ходу, он был шофером-дальнобойщиком, и «кенворт» был его машиной.

Прижав меня к ступеням трака, он потянулся к рукоятке двери кабины, на какой-то момент выпустив добычу из поля зрения. Я сжала кулак, мгновенно напряглась и, разворачиваясь, что есть силы вдарила ему в горло. Точно в кадык, аж костяшки пальцев загудели.

Рябой утробно квакнул, взмахнул руками, как будто собираясь взлететь, и, обмякнув, принялся медленно сползать по колесу трака на бетон. Перевернувшись, я откатилась в сторону, поднялась на ноги. Водитель смотрел прямо перед собой и изо всех сил пытался вздохнуть, но не мог.

Внезапно огромный слюнявый пузырь величиной, наверное, с трехлитровую банку лениво вывалился у него изо рта и, переливаясь радужным цветом, повис на губах. Я заметила, как в глубине пузыря беззвучно, порывы, открывается и закрывается рот рябого, он все еще не оставлял надежды остаться в этом мире.

Я шагнула в сторону, оглянулась по сторонам, достала из кармана «себензу»³⁶, щелкнула запорной планкой, выбрасывая лезвие.

— Сдать бы тебя милиции, да недосуг мне, — сказала я и, подойдя к водителю с правой стороны, лезвием сделала глубокий надрез вдоль всего лба, словно собираясь снять скальп. Кровь потоком хлынула по лицу, и пузырь на губах заиграл оттенками красного. На голове нет крупных кровеносных сосудов, и кровью истечь ему было не суждено, но кровавый поток на какое-то время лишил человека видимости.

— Это тебе на память обо мне, ублюдок.

Рябой наконец-то получил возможность дышать, и он протяжно замычал, трясая головой, разбрызгивая по сторонам кровавые брызги.

— Мам! — крикнула я, подбегая к «шишиге».

Дверь кабины распахнулась.

³⁶ Нож Chris Reeve Sebenza.

— Что случилось?!

— Там!.. — я махнула рукой в сторону «кенворта».

Схватив «фабарм», мама побежала за мной и спустя несколько секунд ошарашенно смотрела на хрипевшего возле фуры шофера-дальнобойщика.

— Этот гад на меня напал!

При виде дробовика водитель затрясся, поднял руки, одновременно елозя задницей по асфальту, пытаясь отползти под машину.

— Я... нет, нет! Девчата... Я не хотел, случайно получилось!..

— Случайно?! — закричала я. — Мимо проходил и случайно схватил?! Маньяк гребаный!

— Я ухожу, ухожу... я вас не знаю, пожалуйста, девчата! — жалобно заскулил он.

— Не знакомы, говоришь?! — крикнула я. — Забыл, как в кафе ко мне клеился, мразь?!

Внезапно водитель с какой-то безумной тараканьей скоростью на четвереньках метнулся под днище фуры.

— Черт с ним, пусть валит, — вполголоса сказала мама. — Свидетелей нет, скажет, что мы его оговорили, а у нас в кунге и оружие, и деньги.

Мы вернулись к «шишиге» и, сидя в кабине, смотрели, как спустя некоторое время «кенворт» рыкнул двигателем, пыхнул дизельным выхлопом и медленно поплыл к выходу со стоянки.

— Козлина... — процедила я сквозь зубы, и мама обняла меня, успокаивая.

И хотя в дальнейшем мы не вспоминали этот случай, мысленно я неоднократно возвращалась к событиям на автостоянке и представляла, сколько девушек, возможно, этот чертом обмолоченный упырь уволок в свое логово, и надо было бы сдать козла, надо было...

Они догнали нас на выезде из Казани.

По плану, мы собирались свернуть на федералку 33Р-002 и пойти на юг, к Елабуге и Набережным Челнам, чтобы затем через Уфу свалить на Челябину.

Ранним утром мы как раз собирались отъезжать от очередного придорожного мотеля, сидели в кабине «шишиги», пили кофе, когда к автостоянке мягко подкатил знакомый черный «порше» с тверскими номерами. Сквозь единственное в кроссовере не затонированное лобовое стекло можно было заметить за рулем Дерябу и рядом какого-то парня, судя по виду, такого же бандоса. Сколько человек находилось сзади, было не видно, ну да ладно, для меня это было неважно.

Они заметили нас и отъехали в сторону, спрятавшись за другими машинами. Со своей стороны мы тоже сделали вид, что их не увидели. Из «порше» никто не вышел, видимо, там совещались, как быть. А что тут, собственно, совещаться? На стоянке среди огромного количества свидетелей они ничего не могли сделать, им оставалось ждать удобного момента, который мы и собирались им предоставить.

— Идем на север, мам, — сказала я.

— Почему на север?

— Там тишина, там леший бродит, — пошутила я. — Самые подходящие места, пустые дороги, машин нет.

— Ты же понимаешь, какой это для нас риск...

— Другого варианта нет. Самое главное, мам, не позволяй им нас обогнать.

— Думаешь, «порше» не догонит «шишигу»?

— Конечно, догонит, но не дай им пойти на обгон. Мне нужно, чтобы впереди был километр прямой дороги и никаких свидетелей.

Мама молча забралась в кабину «шишиги», а я полезла в кунг.

Дорога на Киров была мне знакома, в прошлом году довелось проехать по ней с папой. Асфальта нет, сплошная щебенка и лесные дебри вокруг.

От Казани мы сто километров, как безумные, гнали по трассе 001, не останавливаясь, прошли Арск и Балтаси, оставили позади Татарстан и свернули на Малмыж.

«Порше» шел следом ровно, хотя и вдалеке, но не выпуская нас из вида, а как только мы повернули на Малмыж, стал постепенно приближаться, видим, бандитам понравилась окружающая местность, как будто созданная для криминала.

Я еще по прошлому разу запомнила эти места, они как заколдованные. Вдоль дороги, упираясь верхушками в низкое темное небо, стеной стояли высокие пихты и ели, на редких лесных опушках громоздились огромные причудливо-страшные коряги, и казалось, что вот сейчас за поворотом появится избушка Бабы-Яги или сама Баба-Яга в ступе и с метлой пролетит рядом с дорогой.

Теперь я точно знаю, что все русские сказки зародились именно в дремучих мордовских, марийских, удмуртских и вятских кощеевых лесах.

Никакой Бабы-Яги в ступе, конечно, не было, за нами летел черный «порше кайен»: три тонны железа, полный привод, время разгона до ста километров — девять секунд, под капотом — бешеный двигатель — четыре с половиной литра плюс две турбины по четыреста пятьдесят лошадей — по трассе этот лакированный немец запросто выдаст двести пятьдесят километров в час. Пневмоподвеска, кожаный салон, климат-контроль, музыка... Что тут скажешь, обалденный автомобиль.

Но я вам так скажу, против старика «бодсона» у «порше» — никаких шансов. Старик «бодсон» и вспашет, как полагается, и борозды не испортит.

Мама была за рулем, я затаилась в кунге. Обзор у меня был что надо, окна по бортам, на крыше — люк, из него можно было вылезти и смотреть на все четыре стороны, и самое главное, — открытая задняя дверь. В дороге мы иногда ее открывали, закрепляя так, чтобы не болталась, а дверной проем затягивали антмоскитной сетью. Свет поступал только из небольших окон под потолком, и меня, сидевшую в глубине кунга снаружи было не заметно, зато мне было прекрасно видно все. Обычно я, развалясь, сидела на закрепленном стуле перед таким же столиком. На столике — мешок с песком, на мешке — старик «бодсон», рядом — портативная рация, по ней я держала связь с мамой.

Как только мы свернули на Малмыж, практически исчезли как встречные, так и попутные машины, судя по всему, этой дорогой мало кому хотелось ехать. Один раз мы обогнали трактор с прицепом, груженным конским навозом, я это поняла, когда увидела, как по дороге позади трактора шариками запрыгали какашки, тракторист, дурень, не накрыл, как полагается, груз и мчался — волосы назад, ну это ему казалось, что он мчался, мы же обошли его, как стоячего, а какашки принял на себя «порше». Забавно было смотреть, как бандиты заходили по дороге туда-сюда, спасаясь от летевших в лобовуху шариков дерьма.

Дорога была — сплошная щебенка, и мама с трудом держала скорость где-то под восемьдесят.

Спустя какое-то время «порше» стал быстро приближаться. Я отметила, что по шоссе «немец» шел превосходно, а вот по гравийке тянул с натугой, и на высокой скорости его заметно покачивало из стороны в сторону, тогда как «шишига» шла мощно и ровно, как и полагается армейскому вездеходу. Что тут скажешь? Что русскому хорошо, то немцу — смерть.

Я смотрела на летящий за нами «порше» и размышляла. Все-таки выбор, который в течение жизни делают люди, — основа всего. Свой выбор когда-то сделали бандиты Осипов, Агеев и Деряба. Свой выбор сделала и я — пре-

вратилась в змею и теперь медленно, по-змеиному, сворачивалась в кольца, чтобы, распрямившись, как сжатая пружина, нанести молниеносный удар. Старик «бодсон» маслянисто чавкнул, принимая патроны в стволы.

Будем, милый, домик наживать... —

прошептала я.

По сторонам трассы щетинился мрачный темнохвойный лес, настолько высокий и плотный, что казался крепостной стеной, и сама дорога тянулась длинной просекой через Вятские Увалы, где-то там, за горизонтом таежных дебрей, упираясь в реку Вятку.

«Порше» уже шел вплотную к нам, нас разделяло всего-то метров двадцать. Сидевший на переднем пассажирском сиденье подельник Дерябы поднял с колен «калашников» с десантным прикладом и передернул затвор, а Деряба крутанул руль влево.

— Мам, они обгоняют!

«Шишига» тут же подалась в левую сторону и заняла середину дороги. Через лобовое стекло было видно, как губы Дерябы беззвучно зашевелились, видимо, он был недоволен нашим маневром.

— Впереди три километра, машин нет, — послышался в радиии искаженный помехами мамин голос.

Поедем, родимый, в Охотный ряд гулять...

Десять метров — не километр. Не надо думать о поправках на расстояние, ветер и то, насколько земное притяжение каждую сотню метров воздействует на пулю. Для тяжелой «диаболо» первые десять-двадцать метров — это нечто вроде легкой разминки перед дальнейшим полетом.

Я положила палец на спусковой крючок.

Купим, милый, уточку себе...

Плотнее прижала приклад «бодсона» к плечу, повела стволами, затаила дыхание, прицеливаясь.

Парень на переднем сиденье наклонился вперед, всматриваясь в открытую дверь кунга.

«Привет, чувак, — мысленно сказала я и плавно нажала на спусковой крючок.

«Бодсон» дернулся, грохнул выстрел, следом ударил второй, и в замкнутом пространстве кунга остро пахнуло пороховой гарью.

Правое переднее колесо «порше» взорвалось, и в стороны полетели куски резины. Кроссовер резко мотнуло в одну сторону, затем в другую, подкинуло задом, и он через капот на крышу боком полетел с дороги, врезался в сосну.

Лобовое стекло взорвалось волной сверкающего крошева, и в проеме мелькнул сидевший на переднем сиденье бандит. Через мгновение его ударило о дерево так, что кроссовки слетели, а это первая примета смерти.

— Однако пристегиваться надо, лошара... — процедила я сквозь зубы.

«Шишига» замедлила ход.

— Уходим, мам, не тормози! — закричала я.

И мы ушли.

В дороге слушали по радио сводку дорожных происшествий, и, только когда мы уже были в Кирове, объявили о дорожной аварии на трассе Малмыж — Уржум. Внедорожник «порше» на полном ходу по непонятным причинам лишился колеса, один погибший, четверо раненых, один в тяжелом состоянии.

— Четверо живы, — сказала мама.

— Значит, Богу так угодно.

Мы помолчали.

— Все-таки надо было остановиться, — сказала я. — Ведь это водитель «порше» стрелял папе в спину.

— И зачем останавливаться?

— Я бы хотела посмотреть на него, — уклончиво ответила я. — Просто посмотрела бы на него.

Чем дальше от западных районов страны, тем меньше цивилизации. И заправки реже встречаются, и мотели скромнее, и придорожной торговли почти нет.

Дорога разматывалась перед нами бесконечной серой лентой, и придорожные столбы сухо отсчитывали расстояние до очередного населенного пункта. Киров, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск.

Через леса и поля, через седые Уральские горы все дальше и дальше катили мы на восток, и наша прошлая жизнь буквально с каждым километром постепенно возвращалась к нам... finally, finally...³⁷

— Только бы до мотеля доехать, руки уже отваливаются руль держать, — жаловалась мама, подъезжая к Иркутску.

Впереди нас ждал серпантин Култукского перевала, безумные иркутские гонщики на своих праворульных колымагах, и, прежде чем выйти на трассу, мы решили отдохнуть.

Остановились, как обычно, в мотеле. Типовое двухэтажное здание, белый сайдинг, крыша из коричневой металлочерепицы, просторная автостоянка. Мы сняли номер, приняли душ, поужинали и легли спать. Мама в номере мотеля, я же осталась в кунге.

Утром проснулась рано и просто валялась на нарах, прокручивая в голове мысли о прошлом и будущем. Через открытые окна в кунг проникал запах свежескошенной травы, печеной сдобы и кофе, издали доносился треск газонокосилки и гул нескончаемого потока машин, мчащихся по автостраде на восток и на запад.

— Лучше в стороне постоять, подождать, когда выйдут, — вдруг услышала я знакомый голос Светки-«грязнули». Голос этой кобылы ушастой я бы ни с каким другим не спутала.

Меня как током хватануло, подскочила и, стараясь не шуметь, по штабелю досок метнулась наверх, осторожно выглянула в окно.

Они стояли метрах в двадцати от «шишиги», рядом с черным, вокруг затонированным седаном «тойота марк 2». Деряба с перевязанной головой, Светка и сотрудник банка, который слил бандитам информацию о наших деньгах. Вид у него был невеселый, ну еще бы, участвовать в криминальных разборках — это не в комфортном офисе деньги клиентов крысить.

Я подумала, что вряд ли они гнались за нами через Урал и Сибирь, иначе за все время пути обязательно засветились бы, показали себя. Скорее всего, они прилетели в Иркутск самолетом и ждали. Мы ни от кого не скрывались, они прекрасно знали наш маршрут, где мы находимся, как передвигаемся.

Изо всех сил я старалась подавить панический ужас. Что делать?! Мама в мотеле, если я выйду из кунга, меня точно заметят.

³⁷ Life Is Coming Back to Me... (Michelle Gurevich).

Они бежали за нами, тверские волки, принохиваясь, глухо ворчали и, вскидывая головы, прислушивались. Они взяли след, и у них совершенно нет жалости и мыслей о последствиях.

Значит, никакой жалости в ответ.

Я быстро закрыла шторками все окна, достала из тайника старика «бодсона», зарядила и села на нары, направив ружьё в сторону двери.

Снаружи слышался недовольный голос Светки, потом Деряба сказал что-то резкое, и она замолчала.

Я прямо в слух превратилась, уши едва не горели, так вслушивалась в звуки снаружи. Вот послышались осторожные шаги, видимо, кто-то из бандитов направился к «шишиге».

На нашей стороне стоянки были сплошь легковые машины и только пара фур «вольво» и грузовик-тягач «рено». Ну и мы. Среди легковушек выделялись, как носорог среди газелей, «Газ-66» ни с кем не спутаешь.

Я на нарах замерла, не шелохнусь. Вот хрустнул гравий под ногами, потом «шишига» вздрогнула, кто-то ступил на подножку и дернул за ручку двери, проверяя, не открыта ли. Держа палец на спусковом крючок, я затаила дыхание и, не отводя глаз от двери, взяла с нар ковбойскую шляпу, надела и потянула за край передней тульи вниз, прикрывая глаза на случай, если полетят щепки, так как, если бы я нажала на спуск, дверь вынесло бы через грудь бандита, в этом я не сомневалась, старик «бодсон» на такой дистанции отработает, все равно что гранатомет.

Какое-то время снаружи была тишина, затем послышался удаляющийся хруст гравия.

Я подождала, затем осторожно выглянула в окно. Деряба стоял возле «морковника», переговаривался с подельниками, и все они смотрели то на «шишигу», то на мотель. Смекнули, что в кунге никого нет, и решают, как быть. Получается, мы, значит, компаньоны по вопросам, что делать и как быть.

Пока я напряженно соображала над извечными русскими вопросами, на стоянку подкатил знакомый бордовый «кенворт». Час от часу не легче!

Я смотрела, как рябой чикатила с замотанной бинтами головой, поставив фуру, сидит в кабине, ошарашенно смотрит на «шишигу», натужно размышляя. По ходу, встречаться с нами в его планы явно не входило.

Тем временем в компании Дерябы о чем-то договорились. Светка направилась в мотель, видимо, на разведку. Сейчас она зайдет, увидит, что мама одна и меня нет, и, как стая гиен, они будут ждать нас возле «шишиги». Позвонить в милицию? Что я им скажу? Что нас хотят ограбить и убить? На каком основании? Вот когда убьют, тогда и обращайтесь. Кстати, что это за сумка с деньгами? Что за мистер «бодсон», «повелитель болотных равнин», что за пистолет «ТТ», а, девочки?

Пока я ломала голову, как быть и что делать, водитель «кенворта» выбрался из кабины и, старательно не обращая внимания на «шишигу», быстрым шагом направился в мотель. По всему видать, решил по-быстрому затариться сухим пайком: беляшами и пивом. И в тот момент, когда он подошел к мотелю, у меня возник план действий.

Я машинально отметила, что кабину он не закрыл. Стоянка пустая, одна нога тут, другая здесь, вероятно, подумал он.

И сразу счет пошел на секунды.

Открыв дверь кунга, я осторожно спустилась на бетон, пригнулась и кунницей метнулась за соседнюю машину, слава богу, огромный тягач «рено» загоразживал собой обзор бандитам, стоявшим возле «тойоты». Затем трусцой пробежала вдоль стоянки, повернула за здание мотеля и что есть духу помчалась на другую сторону. Подбежав к машине рябого, я аккуратно, стараясь не шуметь, открыла дверь, забралась в кабину. В нос ударила вонь пот-



ного, немытого тела, чеснока и машинного масла. Скрючившись на сиденье, я медленно подняла голову, выглядывая в лобовое стекло.

«Кенворт» стоял на пригорке, прямо напротив входа в кафе, где как на ладони можно было увидеть Дерябу и его банковского приятеля. По прямой не дальше тридцати метров.

Снять седельный тягач с ручного тормоза — легче легкого, с этой задачей справится и трехлетний ребенок.

Слева от магнитолы располагались две кнопки стояночных тормозов: желтая для трака и красная для трейлера. На паркинг обычно ставят только трак, в чем я и удостоверилась, только взглянув на кнопки. Чтобы задействовать парковочный тормоз, кнопка тянется на себя, и снаружи в это время раздается громкое п-ш-ш-ш... а вот чтобы снять с парковочного тормоза, достаточно всего лишь ткнуть кнопку, и шипение пневматики будет едва слышным.

Снятый со стояночного тормоза «кенворт» может поехать и на ровной поверхности, для этого надо всего лишь включить передачу, отпустить тормоз и немного нажать на газ, что я и сделала, кроме того, что не стала жать на педаль газа, поскольку «кенворт» и так опасно стоял на пригорке и мог сорваться вниз в любой момент.

Самый страх был, что фура тут же тронется с места и я въеду в бандитов, сидя в кабине. Стараясь не делать резких движений, я вылезла из машины, прихватив по пути валявшуюся на полу монтировку. Затем прокралась к заднему мосту и, подсунув монтировку под колесо, попыталась придать траку толчок. Черт возьми, с таким же успехом можно было толкать тепловоз, фура стояла как вкопанная. Меня охватила паника. Больше всего я боялась, что «кенворт» не сдвинется с места, или сдвинется, то как раз в тот момент, когда бандиты отойдут, а на их месте будут совсем другие люди. Я уже была готова заплакать от бессилия, как вдруг «кеша» вздрогнул, и колеса пришли в движение.

Дальше все происходило настолько быстро, что мне оставалось только отвлеченно фиксировать последовательность событий.

Вес тягача «кенворт» — двадцать пять тонн, плюс трейлер, груз, итого — порядка восьмидесяти тонн сошло с пригорка, как в песне: «без стука, почти без звука...» Первым на пути фуры оказался крыса банкир. Его просто накрыло колесом, как куклу, он даже вякнуть не успел. Следом последовал глухой удар и матерный крик Дерябы, который метнулся было за седан, только зря он это сделал. «Кеша» со всей дури врезался в багажник «морковника», а тот в свою очередь смачно впечатал Дерябу в столб перед входом в кафе. Так вдарил, что капот горбом выгнулся. Деряба взмахнул руками, как будто бы очень удивляясь такому развитию событий, мотнул головой, а из его рта плеснуло красным.

И тут же послышались крики, люди, выбежавшие из кафе и мотеля, засуетились, принялись звонить в милицию, «скорую помощь». Для меня все эти посторонние звуки были просто фоном. Отвлеченно отметила выскочившего из кафе рябого водителя, бледного, не понимающего, что, собственно, случилось. Что здесь можно сказать. Очевидная халатность водителя «кенворта», не поставившего машину на стояночный тормоз, привела к трагедии. Как-то так.

Я отшвырнула монтировку в заросли крапивы и подошла к Дерябе. Он полулежал, прижатый бампером к столбу. Голова у него вздрагивала, словно ее дергали за невидимые нити.

Я присела перед ним на корточки и заглянула в глаза. Он был еще жив, узнал меня и пытался что-то сказать, но мог только хрипеть и выдувать перекошенным ртом кровавые пузыри на губах, изо всех сил руками и ногами хватаясь за жизнь, но по Реке мертвых Харон уже мчался к нему на моторке.

— Помнишь меня? — спросила я.
— Ты?... — едва смог произнести Деряба, судорожно вдохнул и выдохнул.

— Нет, чувак, это не я, это всего лишь матабурос встретил своего осла. Сдохни, мразь.

И, словно повинувшись приказу, Деряба вздрогнул всем телом, широко распахнутым ртом судорожно хватанул последнюю порцию воздуха и замер.

Где-то вдали послышались завывания сирен «скорой помощи».

Из мотеля вышла мама. Какое-то время мы стояли и смотрели, как проходит земная слава «тверских волков», затем заняли места в кабине «шишиги» и покатали на восток. Впереди нас ждал Култукский перевал, а за ним наша Монтана — Даурия.

Годы прошли, а как будто вчера все было. Жизнь, она как поход в ресторан в поезде дальнего следования: человек переходит из вагона в вагон, одни из нас проходят три-четыре вагона, другим удастся пройти через весь состав, у кого-то сплошь купейные и СВ, а другие бредут через плацкарт и общие. И все равно на этом длинном или коротком переходе все приходят к последнему вагону, и это отнюдь не ресторан. Такой вагон есть у каждого из нас, стоит на пути и ждет, помните об этом.

Я совершаю утренний объезд вдоль длинной изгороди, за которой — пастбище и три сотни мощных черных быков — абердин-ангусов. Быки разбрелись по степи, пережевывают траву, потряхивают головами, хвостами, отгоняя паутов. Мне двадцать три, под седлом у меня Зурбаган, потомок кабардинца Салхи, когда-то на трейлере прибывшего в эти места.

Я помню и люблю прекрасную древнюю тверскую землю, все-таки это моя родина. Счастья вам, земляки-тверичи, благослови вас бог!

Моя школьная подруга Маша Лапа сейчас живет в Москве, работает шефом кондитерского отдела в пятизвездочном отеле, и в жизни ее тоже все пятизвездочно. Я гостила у нее пару раз, и она у меня была и осталась в беспредельном восторге от забайкальских красот.

Насколько мне известно, «хенкель» никто так и не нашел, монеты, драгоценные камни и военные трофеи все еще лежат на острове Барона, и если вы их найдете, — пусть вам будет хорошо.

Останки Аркадия Тульчина, антиквара из Петербурга, нашли в 2006 году в лесу под Новгородом, было следствие, и я не в курсе, нашли убийц или нет.

Старик «бодсон» в прекрасной форме, по-прежнему безупречно суров и мощен, и мне кажется, он обижается, когда я называю его стариком.

«Тульский Токарев» всегда при мне, так же как свобода и деньги. И если кто-то думает, что сможет забрать все это, что ж, пусть приходит и попробует. Я не спеша еду вдоль изгороди, любуюсь открытым простором вокруг.

Над синеватыми отрогами Даурского хребта ворчливо перекатываются отголоски дальнего грома. Ночью была гроза, и сейчас трава парит под лучами утреннего солнца, алмазным блеском играют на ней капли воды, а на горизонте, там, где степь вздымалась пологими холмами, цветной подковой встала радуга.

— И будет радуга Моя в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле!³⁸ — кричу я вдаль.

³⁸ Ветхий завет. Бытие, 9:16.



Стадо быков приходит в движение, постепенно увеличивая темп, бежит к водопою.

Я оглядываюсь на дом — большой дом, на крыше сверкают солнечные батареи, из трубы летней кухни белым столбиком курчавится к небу дым, это мама готовит завтрак. Слышится хриплое басовитое гавканье собак. Рядом с кухней Сильвестр возится с водяным насосом. Ну да, мы давно женаты, он приехал ко мне из Приморья, и вместе с ним несколько человек из его общины, вместе мы организовали и подняли ферму по выращиванию крупного рогатого скота. У меня двое детей, мальчик Александр и девочка Маша, ну, вы поняли, в честь кого я их так назвала.

Я вижу, как с огорода бежит вприпрыжку Ерофей, в руках топорщатся пучки лука, укропа и редиски. Совсем уже взрослый, тринадцать лет. Хорошо, когда родные рядом.

Зурбаган всхрапывает, перебирает ногами, а я смотрю на папу верхом на Орлике, они рядом и готовы пуститься вскачь, отпускаю поводья, гикаю, и мы галопом несемся вдоль изгороди.

Встречный ветер бьет в лицо плотной прохладой, будоражит запахами степных трав и цветов, я склоняюсь к гриве Зурбагана, оглядываюсь на папу. Он хохочет и, придерживая рукой ковбойскую шляпу, кричит мне:

— А надо, бычка заарканим, повалим и клеймо поставим!

Я плачу и улыбаюсь сквозь слезы, и прижимаюсь лицом к шее коня, а когда поднимаю голову, то вижу, как папа, пригнувшись в седле, мчится вперед и вперед, вперед и вперед, и вдруг они оба — папа и Орлик — исчезают там, где радуга.

*Всегда с вами,
Ника Гантимурова*

Конец

Юлиана Новикова

Думая о пчеле

Мысли, что на расстоянии передаются,
Как солонка за столом или блюдец,
На котором халва или круассан,
Выбирай сам.
Что тебе больше ближе, с того и начнем,
Думая одновременно и ни о чем.
О погоде, об отпуске, о покое,
Волны эфира вынесут и не такое.
Вот и тебя занесло же в такую даль!
Можно подумать, за это дадут медаль.
Да и медали мы эти в гробу видали,
Как не крути — оборотная часть медали.
Было бы чем заняться, причем с утра.
Мы надеваем старые свитера,
Думая о пчеле, плече, солнца луче,
Воспринимая все в едином ключе.
Он отпирает двери в запретный сад,
В тот, где плоды созрели и падают невпопад.
В тот, где и мы на травке сидим у большой стены,
Преодолением времени тихо поглощены.

Зрения остроту,
Открывающую пустоту
Скамейки узенькой вдоль забора,
Ты потеряешь скоро.
На глазок отмерять золотое руно,
Железнодорожное полотно
От того ли столба до этого —
Тебе уже фиолетово.

Юлиана Новикова — родилась в Северодонецке Луганской области. Окончила Литературный институт им. Горького. В 2004 году вместе с мужем Денисом Новиковым (1967–2004) переехала в Израиль, окончила израильский Открытый университет. В настоящее время работает специалистом по альтернативной медицине в поликлинике города Беэр-Шева. Автор трех поэтических книг.

Все равно на какой прибываешь путь,
 Первый или шестой.
 Все еще устаканится как-нибудь
 Соответственно мысли той,
 Что, когда прибываешь на первый путь,
 Превышаешь лимит, тариф.
 И уже не спрашиваешь, а чуть-чуть
 Привыкаешь к тому, что жив.

сестре

Тихая девочка средних каких-то лет.
 Из фараонского царства срединного,
 Из того, которых уж нынче нет
 Ни единого.
 Ты тридесятого царства живешь внутри,
 Есть и на волю дверь, но ее заклинило.
 Ты нарисуй к ней ключик, потом сотри,
 Пусть остается только прямая линия.
 Пусть она будет прочною, точно нить,
 Та, что с тобою мы и с другими связаны.
 Линию можно на лилию заменить,
 А остальное оставить, как выше сказано.
 Шляпки и юбки, высокие каблуки,
 Красок акриловых праздничную пятерицу.
 Мысли приятные, что на подьем легки.
 Утро, что может с радостью повториться.

В доме нашего детства
 Негде спрятаться, некуда деться.
 Из кухни в гостиную — два глотка.
 Пройдено. Продано с молотка.
 В дальней комнате угловой
 Укрывались мы с головой.
 На стене, на голой ее спине,
 На расправленной простыне
 Так давным-давно, что темным-темно
 Нам крутили кино.
 Но иные забавы теперь в чести,
 Заложили птенцы гнездо.
 Так что в общем ты, простыня, прости
 И забудь, что здесь было до.
 До последнего часа часы идут
 По склоненным по головам.
 И признать приходится то, что тут
 Рады будут уже не нам.

1

Пушкин мой! Не/мой, а говорящий.
Во о-блაცех парящий.
Он и голубь, и орел,
Он и солнечного света
Сам сияние обрел.
И нам бедным роздал это.

2

Где же кружка? Где же чашка?
Где же ты, моя бедняжка?
Невзирая на лета,
Налетай скорей, подружка,
Вот и чашка, вот и кружка,
Вот и пушка налита!

3

«Я помню чудное мгновенье...»
Я прочитала как-то раз.
И мне явилось на мгновенье,
Что тоже будет и у нас.
Моя любовь из самострела
Почтила нашу встречу, и
Я все отлично рассмотрела
И все расслышала почти.

Не вооруженным глазом,
А расслабленным зрачком
Ты глядишь и видишь разом
Сеть с блестящим паучком.
Он плетет свою интрижку,
Незатейливый божок,
И похож на фотовспышку
Его утренний прыжок.
Ах, какая будет мука,
Если попадется вдруг
Незадачливая муха
В аккуратный этот круг.
Ах, какие будут слезы
И мольба на все лады.
А при этом столько слизи
И хитины для еды.
Вот и ты глядишь с испугом,
И не зная отчего,
Сам проходишь круг за кругом
Ада сердца своего.

Старинные города,
Исчезающие кто куда,
Оставляющие по себе
Только тонкий хруст при ходьбе,
Исторические черепки,
Как же вы на помин легки!
Кто-то жил-был и вышел весь,
И его закопали здесь.
А теперь на его костях
Побывали и мы в гостях.
Поискали в песке кольцо,
Только это уж не оно,
Это просто смерти лицо
К нас случайно обращено.

Как в таком случае себя вести?
Пройдет лет сто, а может, и двести.
Все останется прежним.
Одно и то же самое,
По живому режем,
Стоим над ямою.
Как сказать одному, что другого уж больше нет,
Чтобы это как следует прозвучало?
Что другой этот оставил свет
И вернулся во тьмы начало.
Что ему самому было невдомек,
А уж мы и подавно о том не знали.
Что он силу тяжести превозмог
Неизбывною силой печали.
Что теперь уже навсегда никогда.
На подножке бешеного трамвая.
Так деревья падают, обрывая
Им вослед бегущие провода.

Ульяна Меньшикова

Рассказы

Васса

Наша легендарная барнаульская коммуналка на улице Никитина была населена совершенно потрясающими людьми. Кого ни возьми, всяк по-своему прекрасен. Не было тусклых и пыльных. Все как на подбор были людьми яркими, с потрясающе нелёгкими судьбами, как, впрочем, почти у всех, кто родился в начале двадцатого века.

Нелёгкость бытия не сделала их злыднями. Не стонали, на судьбу не жаловались. Напротив, это были невероятно жизнелюбивые стариканы и... нет, не старухи — дамы потрясающей бодрости. Причём бодрость их была не только состоянием души, но и тела.

И сейчас я, ещё даже не пятидесятилетняя, но уже уставшая во всех смыслах, вспоминая их всех, думаю — откуда они черпали такие силы? Как их на всё хватало? Не помню, чтобы лежали, обсуждали болезни или слонялись без дела.

Вот взять хотя бы Вассу Прокопьевну, одну из наших соседок, которая самозабвенно со мной дружила, несмотря на колоссальную разницу в возрасте. Мне было пять, а Вассе семьдесят четыре. Было велено называть её только по имени и никак иначе. Вассу я обожала, и было за что.

Она не казалась бабкой, боже упаси. Это была пылающая жар-птица. У неё всему было два определения — шик или не шик. И, само-собой, всё, что делала сама Васса, было — шик, а все прочие — так себе. До шика не дотягивали.

Такой потрясающей природной самоуверенности и абсолютной любви к себе я в жизни больше так и не встретила, но рада, что была свидетелем такого яркого явления.

Несмотря на разменянный восьмой десяток, Васса дома не сидела и по поликлиникам не моталась. Она работала. Естественно, в театре оперетты. Смотрителем зала. Где ещё сыщешь столько шика, сколько требовалось моей роскошной подруге? Только там. Среди Мариц, Сильв, Баядер и цыганских баронов. Не среди же плебеев в очереди в собес разменивать жизнь?

Как она готовилась к спектаклям, оооо... Если не знать, кем Васса числилась в Музкомедии, можно было бы подумать, что это прима отправляется из дома в полном гриме.

Мне дозволялось присутствовать при сборах. Времена тогда были попроще, и Васса частенько брала меня с собой на спектакли, проводя зайцем в зал, «чтобы девочка понимала настоящее искусство».

Ульяна Меньшикова — родилась в Барнауле, окончила Томскую духовную семинарию (регент, дирижер церковного хора) и Новосибирскую государственную консерваторию. Печаталась в электронных изданиях «Правмир», «Милосердие.ру» и др. В «Урале» публикуется впервые.

Публикация осуществляется в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

Да что там театр, она на общую кухню выходила уже в образе.

Утренний образ включал в себя трофейный шёлковый халат огненно-алого цвета в огромных георгинах цвета бордо, малиновые бархатные туфли на каблучке-рюмочке и лиловую газовую косынку с тонкими нитками люрекса, какие в то время носили цыганки и женщины-баптистки.

Под платком, на всех десяти Вассиных волосинах, тщательнейшим образом были накручены самодельные папильотки. Причёска моей роскошной соседки — это, конечно, тема для отдельного повествования, но постараюсь изложить кратко.

Васса Прокопьевна страдала алопецией. А говоря попросту, она была практически лысой. Что-то там пухообразное колосилось, конечно, но назвать это волосом не поворачивался язык. Скорее это был эфирный такой нимб. И да, я совершенно неправильно выразила мысль об алопеции Вассы. Она от неё не страдала. Совсем. Ни минуты, ни секунды, ни капельки. Она не носила париков и никак не старалась прикрыть этот свой изъян. Напротив. Она, в силу своих представлений о настоящей красоте и шике с блеском, накудоливала из этого волосяного пуха космические причёски.

Но причёски — это ещё полбеды. К ним можно было привыкнуть почти сразу. А вот с окрашиванием седины были проблемы. Опять же у окружающих, не у Вассы Прокопьевны.

Ассортимент красок для волос в те времена разнообразием не отличался, а что имелось, можно было приобрести только «по случаю». На моей памяти это были бутылки либо с жидкой краской «Рубин», дающей всё оттенки красного, либо «Ирида», окрашивающая всё в радикальный сиреневый цвет.

Васса щедро смазывала голову одной из имеющихся на тот момент субстанций, утепляла всё сначала целлофановым мешком, а поверх него надевала шерстяной платок, чтобы реакция была термоядерной.

Ну, вы понимаете, что там из-под этого мешка в результате появлялось. Идеально окрашенный череп. И, что характерно, каждый раз он имел совершенно разные оттенки. От трагически красного до великопостного фиолетового. Причём волос окрашивался гораздо хуже кожи, и в первые дни после наведения красоты создавалось впечатление, что на голове у бесподобной нашей Вассы была постоянно надета яркая резиновая шапочка для купания с бледным пуховым начёсом поверху.

Мы все как-то попривыкли, а кто видел впервые результат цирюльнических потуг, был несколько фраппирован, конечно. Но абсолютная невозмутимость Вассы, гордо несущей себя, быстро приводила фраппированных в чувства, и ситуация не накалялась.

К концу дня наша богиня преображалась ещё больше. Для вечернего выхода на кухню полагался тёплый велюровый халат цвета электрик, отороченный скатертной золотой бахромой, чёрные с золотой пряжкой туфли всё на том же каблучке-рюмочке. Пух на голове взбивался в полупрозрачное безе и фиксировался насмерть лаком «Прелесть». Кожа на голове соответственно тоже залачивалась полностью, и всё это сияло и сверкало, как самое дорогое яйцо Фаберже.

Лицо, в противовес сияющей голове, посыпалось невероятным количеством рассыпчатой пудры. То розовой, то желтоватого оттенка «рашель», карандашные брови летели тонкими нитями от переносицы прямо в безе на висках. Причём к каждому новому цвету головы полагался свой цвет бровей. От антрацита до молочного шоколада.

По будням ресницы красились тушью, в праздничные дни — наклеивались. Где-то в театре эта красота добывалась регулярно.

Губы были крашены всегда.

Отдельным счастьем было попасть к Вассе в тот момент, когда она «создавала красоту». Когда доставались все картонные коробочки с пудрой, то «Красная Москва», то «Маскарад», то «Кармен», кажется, ещё была пудра

«Ландыш». «Ленинградская» тушь, бесконечные тюбики с помадой, рейсфедер, лаки для ногтей.

А духи! Каких только не было. В коробках с шёлковой подкладкой покоились наборы, названия которых я уже и не вспомню.

Один такой набор с тремя ограненными на манер драгоценных камней флаконами помню очень хорошо — темно-синяя коробка с золотой каймой, внутри светлый шёлк, на нём три флакона — «Алмаз», «Аметист», а вот как назывался третий — запамятовала.

А ещё — духи ли, одеколон ли, точно не скажу, — «Спутник», во флаконе в форме глобуса. Парфюмерный набор «Самарканд»... Сказка, чистая сказка и самый настоящий шик.

Васса любила миксовать запахи, нанося за мочки ушей один, на запястья другой, а на ключицы третий. Плюс лак «Прелесть». Но, странное дело, несмотря на тяжесть ароматов, на ней они не звучали вызывающе, а может быть, у нас с ней просто совпадали вкусы, хотя, похоже, она мне их и сформировала в какой-то степени.

Для меня она не жалела своих богатств и щедро орошала всем тем, чем пользовалась сама. «Женщина должна источать флюиды беззаботности, а не пролетарской удалы, детка!»

А ещё мы с ней пели. Она знала наизусть партии из всех оперетт, невероятное количество старинных романсов и распевала их везде. В своей комнате, на общей кухне, в туалете.

Голос у неё был не сильный, тремолирующий и очень-очень высокий. Спокойно брала всю вторую половину второй и первую — третьей октавы. Для меня это было невыносимо высоко, и я ей подпевала всегда на октаву ниже.

Любимой нашей с ней арией была, конечно же, ария мистера Икс из «Принцессы цирка». Благо выучить её не составляло никакого труда потому, что Георг Отс звучал постоянно и на Всесоюзном радио, и в «Музыкальном киоске» по воскресеньям, и в театре, куда мы ходили с Вассой «зайцами по благу».

Для наилучшего звучания мы исполняли её в коридоре между кухней и туалетом, где на стенах висели цинковые ванны, тазы и стиральные доски и там был «рэзонанс». Старались это делать исключительно днём, пока большая часть обитателей коммунального дома была на работе, но угадывали не всегда, и было дело, сосед Вася или его жена Клавдия стучали шваброй в потолок с криком: «Васса! Хорошо там выть, участкового вызовем!»

На что Васса стучала в ответ по полу каблуком-рюмочкой, складывала руки у рта рупором и кричала им в ответ: «Когда вас всех уже пересажают за спекуляцию и пьянство, дегенератов?! Когда мне будет покой в этом аду?!» Прения прекращались, и мы продолжали петь про то, как трудно жить в маске, грюсть свою затая...

Осень, прозрачное утро,
Небо как будто в тумане,
Даль из тонов перламутра,
Солнце холодное, дальнее.
Где наша первая встреча,
Яркая, острая, тайная.
Тот летний памятный вечер,
Милая, словно случайная?
Не уходи, тебя я умоляю...

Это был первый мной выученный романс, и первым же я его смогла сама подобрать на фортепиано под сильнейшим педагогическим нажимом Вассы. О, как она была счастлива, что с этого момента мы могли уже петь, пусть и с очень посредственным, но сопровождением, а не а капелла.

А ещё у нашей жар-птицы случались жгучие романы разной степени страстности, но жить Васса категорически ни с кем не собиралась, потому что «дружить в нашем возрасте, детка, — это одно, а лечить их да хоронить — совсем другой коленкор. От мужчин мне нужен только праздник!» И мужчины ей этот праздник дарили.

Кстати, там у всех возрастных соседей личная жизнь бурлила, как на хорошем курорте. Умели люди жить, любить, петь, работать и наряжаться. И воевать умели.

Васса осталась без волос на войне, при каких обстоятельствах — не знаю. При детях об этом разговоров не вели. Знаю только, что родом Васса Прокопьевна была со Смоленщины, потеряла там всю семью во время войны, а в шестидесятых приехала на Алтай с целинным движением да так и осталась у нас в Барнауле, на улице Никитина. Навсегда.

Страшная сказка

Давным-давно в далёком-далёком, где-то на границе Алтая и Казахстана, селе тёмным-тёмным зимним вечером у окна сидела девочка. Совсем маленькая девочка, лет пяти. Золотушная до страсти, бритая наголо, чтобы корки на её вечно расчёсанной в кровь голове было удобно смазывать целебной мазью. Худющая той некрасивой худобой, когда нет изящества и все кругом острое, неказистое — локти, колени, вечно сбитые до костей и добротго смазанные зелёной. С огромными синяками под глазами. Не ребёнок, а «страх божий», как ласково называла её бабушка.

Страшенькая девочка ждала свою ласковую бабушку с работы. Одна в маленьком и невозможно тёплом и уютном домике на краю села. Домик был последним в деревне и стоял чуть на отшибе. Хотя... Почему последним? Если ехать из Казахстана на Алтай, то первым, а если с Алтая в Казахстан, то последним. С одной стороны вьётся реликтовый ленточный бор, с другой, за шоссе, подо льдом прячется речка, а за огромным огородом — дубрава берёзовая. Сугробы кругом, как барханы, волнами поднимаются чуть ли не выше крыши маленького домика. Зима. На улице холодно, а дома тепло, бабушка перед уходом истопила печку. Дрова почти прогорели, но одна самая толстая дровина ещё «шаёт» и светит красными огоньками-мигунами.

В домике темно, зимой рано темнеет, и можно бы включить свет, но девочка боится отойти от окна к выключателю. Нет, она не трусишка совсем, она смело остаётся дома одна. Почти всегда. Страшно было только два раза — первый, когда девочка прочитала у Герберта Уэллса про человека-невидимку и потом долго боялась шкафа. В нём жили пальто и костюмы на плечиках, и девочке казалось, что они могут ожить и выйти из шкафа. Но обошлось.

А второй раз было очень страшно, когда бабушка рассказала историю, как злые люди умучили очень доброго Иисуса Христа, который всем помогал, и девочка боялась, что её бабушку за доброту и за помощь ближним тоже умучают. Но и тут обошлось. Бабушку никто не тронул.

В этот раз было ещё страшнее, чем в те, предыдущие. По радио читали сказку. Детскую сказку «Медведь на липовой ноге». И читали так, что не нужно было никакого телевизора, чтобы смотреть. Голоса из динамика рисовали такие образы, что девочка стояла столбом и боялась пошевелиться.

Вот они, бабка с дедом, пожалевшие репы для медведя, сидят договариваются, как от репного вора избавиться, вот дед берёт топор, вот медведь сидит на грядке, репу таскает. А дед — хватъ его топором по ноге, да и отрубил! Хватъ эту ногу — и к бабке бегом! А бабка-хозяйюшка ногу ощипала, кожу содрала (Господи, да кто ж эти живодёрские сказки насочинял?!), шерсть прядёт, а мясо мишкино в чугунке варит...

А медведю ногу свою жалко, ему больно-пребольно, кровь хлещет! И он, бедненький, какую-то палку липовую схватил, приделал себе деревянную ножку, берёзовую палку вместо костылика-батожка схватил и идёт стариков жадных убивать... И страшным таким голосом причитает:

Скырлы, скырлы, скырлы,
На липовой ноге,
На берёзовой клюке.
Все по сёлам спят,
По деревням спят,
Одна баба не спит —
На моей коже сидит,
Мою шерсть прядёт,
Моё мясо варит.

А там, в радио, там же не только голоса! Там же ещё музыка, скрип этот страшный, нога-то скрипит, клюка потрескивает! Бабке страшно, деду ещё страшнее! (А девочка, та и вовсе от страха умирает уже...)

Скырлы, скырлы, скырлы,
На липовой ноге,
На берёзовой клюке.
Все по сёлам спят,
По деревням спят,
Одна баба не спит —
На моей коже сидит,
Мою шерсть прядёт,
Моё мясо варит.

Во дворе маленького домика на длинный, из двух палок, шест прикручен фонарь, который освещает двор. Палки плохо скреплены и даже при самом тихом ветре скрипят так, что в доме всё слышно: «Скырлы, скырлы, скырлы...»

Девочка стоит у окна, смотрит на дорогу, по которой с работы должна прийти бабушка, и боится, боится тем детским вселенским страхом, ужаснее которого ничего нет на белом свете. Одна-одинёшенька в тёмном домике на отшибе, где вокруг только бор, речка, дубрава да горбатые сугробы. А бабушки нет и нет. За спиной в печи трещит несгораемое полено, на улице скрипит фонарь, и весь дом наполнен этими живыми голосами, жуткой музыкой и медведем, идущим мстить на кровавой культе...

Плакать нельзя. Из-за слёз не будет виден краешек дороги, откуда появится любимая, родненькая, единственная спасительница — бабушка.

Скырлы, скырлы, скырлы...
Все по сёлам спят, по деревням спят...

— Гуля! Доню моя! Ты где, детка?! Гуля! Господи, да что ж ты на голом-то полу спишь?! Ты плакала?! Ну что ты, маленькая моя, я ж ненадолго задержалась! Господи, кости все ледяные, когда же ты у нас поправишься, хвороба ты моя жалкая?! Ну, всё-всё, не плачь, баба твоя пришла... какой медведь?! Где?! В подполе?! Да нет там никого, дурочка ты моя маленькая...

Бабушка в пальто, не раздеваясь, обнимает и качает свою лысую исплаканную внучку, целует, тоже плачет.

Бабушка Эдуарда

— Послушайте, ну как ей вообще могло такое в голову прийти?! Ну как?! Это же простая, от сохи, бабушка-старушка?! Она всю жизнь, кроме завода и огорода, ничего не видела!

— Очевидно, вы плохо знали свою бабушку.

— Да это сюр! Иллюзия, господи ты боже мой... «Мосты округа Мэдисон» какие-то во Владимирской губернии! Ей девяносто шесть лет, с ума она, что ли, сошла за один месяц, что меня не было?!

— Нет, не сошла. В последний её визит, пару недель назад, она была бодра и в абсолютно ясном рассудке. У нас с этим строго.

— Это... Оно?

— Зачем вы так? Оно... Это она. Вернее — он. Прах вашей бабушки.

На офисном столе в кабинете нотариуса стояло что-то отдалённо напоминавшее одновременно утятницу, супницу, самовар и версальскую ночную вазу цвета «шоколад с 70-процентным содержанием какао». Огромные ручки в виде пудовых кренделей залихватски топорщились из боковин глиняного монстра-урны. («Руки в боки и пошла», — не к месту вспомнилось одно из бабушкиных выражений.)

— Господи, паноптикум какой-то... Где она это чудовище взяла?

— Местный умелец исполнил на заказ. У нас тут гончары питерские обособались, на всё лето приезжают. В прошлом году еще сваяли. Вам не нравится? По-моему, симпатично. Кстати, это, так сказать, обрамление. Сама капсула с прахом металлическая, она внутри.

Нотариус с жалостью посмотрел на взъерошенного пятидесятилетнего «мнука» Анны Харитоновны.

— Вы не расстраивайтесь так, Эдуард Борисович, всё хорошо. Анна Харитоновна знала, что вам будет непросто прилететь на похороны, поэтому сама позаботилась обо всём заранее. Вам осталась самая малость. При ваших возможностях это же не трудно — исполнить последнюю волю любимой бабушки?

— Да не трудно мне ничего... В другом дело. Вы поймите, она при жизни никогда не оригинальничала, и тут вот такое...

— И прекрасно. Все детали мы с вами обсудили, вот вам весь пакет документов на наследство, если будут вопросы — звоните, всегда рад помочь. Кстати, если надумаете продавать дом, обращайтесь, сосватаю вам хороших покупателей, многие сейчас интересуются жильём в глубинке.

— Гончарам из Питера?

— Да.

— Подумаю, спасибо. У вас случайно нет никакой коробки? Гм... Для бабушки.

— О, как хорошо, что спросили, есть, всё есть для перевозки. И об этом Анна Харитоновна позаботилась. Вот, держите.

И тут Эдуард Борисович расплакался. Не по-мужски, не скупую слезу обронив, а навзрыд, спрятав лицо в ладони и тряся по-бабьи плечами.

Сумка, которую подал ему нотариус, была сшита из старого стёганого одеяла, которым бабушка укрывала маленького Эдика в детстве и которое, как он думал, давно уже истлело за давностью лет. Невероятно тёплое, покрытое сплошь разноцветными, изрядно выцветшими латками.

— Эдуард Борисович, вот вода, возьмите, — нотариус протянул стакан, — соболезную вам. Необыкновенным человеком была Анна Харитоновна, мы все о ней скорбим.

— Извините...

Упаковав урну-монстра в одеяльную сумку, Эдуард попрощался с нотариусом и направился к машине. Долго размышлял, где поставить сумку с бабушкой, в конце концов пристроил на переднее сиденье, пристегнув кое-как ремнем безопасности.

— Сюр... Ба, чего тебе это всё в голову-то взбрело, ну, скажи на милость?! — обратился Эдуард к сумке.

Сумка предсказуемо промолчала.

Нужно было срочно возвращаться в Москву, но «мнук Эдик» решил ещё раз заехать в бабушкин дом. Нет, всё было хорошо заперто. И двери, и ставни. Внука бабушка воспитала человеком основательным и серьёзным, не шалопаем, положиться можно. Такой всё проверит перед выходом, ни форточку открытой не оставит, ни двери нараспашку и с печной заслонкой, знает, как управиться, даром что совсем городской стал.

Вернулся Эдуард совсем за другим.

В конце послания с посмертными распоряжениями, которое оставила ему бабушка, была написана странная фраза, которая изрядно озадачила Эдуарда: «Не забудь забрать деда, он стоит за ларём с пшеницей в снях, нечего ему одному в доме оставаться». Воображение нарисовало ещё одну страховодную, всю в пыли и паутине вазу, в которую был бережно упакован прах деда. «Хотя какой прах? Дед же похоронен на сельском кладбище, куда они с Анной Харитоновной регулярно наведывались... Ладно, на месте разберусь», — решил исполнительный «мнук».

На место Эдуард добрался быстро. Уже подъезжая, увидел в бабушкином дворе женскую фигуру.

— Я же вроде бы на замок калитку закрыл, как она во двор пробралась, а главное — зачем?

— Анна наша Харитоновна прибралась быстро да ловко, а мне велела яблоки собрать, да посушить, да варенья наварить. — Вечная бабушкина соседка Дамиля Батырхановна вышла навстречу Эдуарду со двора с двумя вёдрами антоновки. — Иди обниму тебя, сирота.... Иди... Хороший ты мой, жалко-то как тебя, как ты без неё теперь? И мы как? Семьдесят лет ведь бок о бок тут тёрлись, и вот...

— Теть Дамиля, ну хоть вы не рвите мне душу.

— Всё, не буду, не буду. А ты чего вернулся-то, немере?

— Да забыл кое-что, ата.

— Давай забирай, что тебе нужно, и приходи ко мне, я тебя накормлю, нельзя в дорогу голодным отправляться

— Я тороплюсь, аже.

— Ничего. Успеешь. Приходи, я жду.

— Хорошо, аже, зайду.

— Вот и хорошо... Слушай, — тётушка Дамиля немного замешкалась, — Анна-то с тобой?

— Со мной, да, в машине.

Тётушка Дамиля покачала головой и шустро почимчикovala (тоже бабушкино выражение) в сторону своего дома.

Эдуард вошёл в дом, всё ещё наполненный запахами той прежней жизни, когда бабушка была жива, — чабреца, сухих яблок и пижмы, которой Анна Харитоновна лечила деревню от всех недугов — от несварения желудка до инфаркта. Братьев же меньших нещадно ею глистогонила и избавляла от блох.

Всё было так, да не так в родном для Эда доме. Молчали ходики, опустив свою цепь с шишкой на конце до полу, не шумело рекламой и новостями «Радио России», которой бабушка слушала с утра до ночи на всю громкость, при этом категорически отказываясь от ношения слухового аппарата, оправдывая это тем, что «орган должен сам работать, пока может, иначе откажет совсем».

Что-то глухо ударилось об пол в соседней комнате, и не успевший ни удивиться, ни испугаться Эдуард увидел чинно, по-архиерейски, входящего кота Мартына — любимца Анны Харитоновны, который после её смерти куда-то запропал из дома, а тут, совершенно некстати, объявился.

Мартыном кота нарекли не по святцам, Мартын, по меткому бабушкиному определению, было именем нарицательным, производным от «мартышки». Мартыном она называла и маленького Эдика за невероятную шустрость и любовь висеть вниз головой везде, где можно было зацепиться ногами. Кота же она нарекла так за то, что тот был большим любителем высоко забираться на деревья и подолгу там сидеть, высматривая что-то вдаль. То ли свою кошачью мечту, то ли просто от безделья, что в бабушкиной картине мира было одним и тем же.

Мартын категорически не считал Эдуарда членом семьи, во все его приезды демонстративно не заходил в дом («Ревнует», — поясняла бабушка), проводя свой досуг в сарае и на яблонях. И сегодня он, не изменяя себе, со всем возможным презрением прошествовал к дырке в подполе, ловко в неё нырнул и был таков.

Судьба Мартына мало волновала Эда. Кот сельский, где-нибудь да пристроится. Особых чувств к презирующему его животному Эд не испытывал, взаимно считая того хитрым проходимцем, ловко манипулирующим чувствами бабушки. Такой не пропадёт, устроится со всем комфортом при чьём-нибудь дворе, тем более что все знали, чей кот, и любимцу уважаемой и любимой всеми Анны Харитоновны в миске молока не откажут, а мяса он себе и сам наловит — охотник знатный. Все восемь лет, что он жил у бабушки, баловал её приношениями каждый день — то свежеедушенной крысой, то полуживой мышью, то птичкой.

Однако надо было торопиться, ностальгировать времени категорически не было. Нужно было «забрать деда», как велела в подробном письме бабушка. Дед, по её словам, «стоит в присенках, за ларём с пшеницей». За ларём, отодвинуть который удалось лишь с третьей попытки, к счастью, не оказалось ни урны с прахом, ни саркофага с забальзамированным телом, чего так боялся Эдуард после бабушкиных неожиданных распоряжений. Там стоял старый кожаный портфель красно-коричневого цвета с двумя металлическими застёжками, изрядно потёртый, но крепкий. Задвинув ларь обратно, Эдуард не без опаски открыл его. Внутри лежали четыре конверта из плотной орехового цвета бумаги, перевязанных бечевой, и кожаный футляр с тусклой гравировкой «В воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и отечеству оказанные заслуги».

— Хозяин дома?! Войти можно?! — неожиданно проорал кто-то со двора.

— Да что б вас... — тихо выругался Эдуард. Футляр, который Эд достал из портфеля, чтобы получше рассмотреть, выскользнул из рук и со звоном ударился об пол.

— Напугал вас? Извините, не хотел. — На пороге возник мощный детина со шкиперской бородой — Ого, у вас тут никак расстрел дворянского собрания состоялся?! — Детина, многозначительно присвистнув, поднял с пола выпавшие из футляра награды и подал их Эдуарду. — Извините ещё раз за неожиданный визит. — Георгий. — Неожиданный визитёр протянул Эду руку молотобойца. — Мне Дамиля Батырхановна сказала, что вы здесь.

— Эдуард. — Эд ответил на рукопожатие, кивнул на футляр. — Разбираетесь?

— Немного. Высокие награды. Дворянские. Это кто-то из родных Анны Харитоновны был удостоен, простите за любопытство?

— Да. По всей видимости, да. А вы, прошу прощения, с каким вопросом ко мне? Я тороплюсь, мне сегодня нужно быть в Москве, вы меня случайно застали.

— Дело у меня к вам есть, точнее, просьба. Не могли бы вы мне продать кое-что из хозяйства Анны Харитоновны? Она как-то просила меня помочь ей ящики с чердака спустить, я там у неё видел старый ткацкий станок. Он неисправен, им давно не пользовались, но я мог бы его починить. Не для продажи, нет, у меня жена умеет таким пользоваться, будет ткать на нём.

Всё же лучше, чем пропадёт. Послужит ещё. Я понимаю, что не вовремя и неуместно, может быть, сейчас всё это, но когда вы теперь приедете...

— А почему у бабушки не купили, пока она жива была? Обращались?

— Она сказала, что как мнук приедет, так и распорядится, продавать или нет. — Георгий широко улыбнулся на слове «мнук».

— Вы гончар? Из Санкт-Петербурга?

— Нет, я кузнец. Из Москвы. Бывший аудитор. Из гончаров здесь Сергей Сергеич.

— Однако разброс мощный. Кузнец-аудитор. Но раз вы не гончар, забирайте так. «На помин души», — как бабушка говорила. Сколько стоит этот станок, я не знаю, да и не планировал я ничего пока продавать. А раз вещь послужит ещё в работе, забирайте.

— А вы не любите гончаров? — Георгий снова разулыбался — Чем они вам так насолили?

— Не то чтобы не люблю. Так. Личное. Извините ещё раз, тороплюсь. Второй комплект ключей есть у тётушки Дамилы, я ей скажу, что отдаю вам станок, вы с ней сговоритесь, когда сможете забрать. По рукам?

— По рукам. Спасибо вам, Эдуард. Не думал, что такой царский подарок получу. А Анну Харитоновну буду поминать, пока живой. Царствие ей небесное.

Эд застегнул таинственный портфель, запер дом, попрощался с кузнецом-аудитором и только направился в соседний двор, как краем глаза заметил на крыше автомобиля неподвижно сидящего и мечтательно смотрящего вдаль Мартына. У ног, точнее, у лап мохнатого проходимца лежала свежезадушенная крыса.

— Мартын... Хоть ты мне душу не рви... Нет больше бабушки. Не нужно ей больше крыс таскать. Иди к тёте Дамиле, с ней не пропадёшь. Иди. Не могу я тебя с собой взять. Некуда.

Кот, не шелохнувшись, выслушал Эдуарда. Даже голову не соизволил повернуть в его сторону. С минуту ещё посидел, после чего ловко спрыгнул на землю и скрылся в палисаднике, оставив мёртвую крысу на крыше автомобиля.

Эдуард, чертыхнувшись, достал из багажника скребок для снега, скинул им удушенного грызуна на дорогу и только собрался сесть в машину, как его окликнула бабушкина соседка.

— Эдик! Эдуард! Ну что же ты не зашёл? Накормить тебя хотела... Жду-пожду, а ты всё не идёшь!

— Тётя Дамиля, дорогая, прости, тороплюсь очень. Да и не голоден я.

— Всё вы бежите, всё торопитесь... Ладно. Езжай с богом. На, я тебе тут в дорогу собрала кое-что. Не отказывайся, не обижай старушку. Дорога вещь непредсказуемая, мало ли как добираться придётся, без еды и воды нельзя в путь отправляться.

— Спасибо, дорогая моя...

Эд подошёл к тётушке Дамиле, обнял.

— Конечно, я всё возьму. Кто меня ещё накормит настоящими шельпеками и самсой? Только ты.

— Сирота ты мой, сирота, приезжай, не забывай старушку Дамилю. Я всегда тебя накормлю...

— Конечно, приеду. Как все наказы бабушкины выполняю, так сразу и приеду.

Уже отъезжая, Эдуард посмотрел в зеркало заднего вида. Тетушка Дамиля стояла у калитки их дома, глядя ему вслед. Так же, как когда-то стояла его бабушка, провожая своего мнука. К горлу подступил ком. Эд выдохнул, посмотрел на сумку из лоскутного одеяла.

— Ну что, ба, поехали!

Наталья Белоедова

Человек поёт, шагая

так сидеть и
разговаривать
долгое такое слово

тянется, словно вечер
а потом улетает птицей
на ветку садится
глядит на меня во все глаза
крыльями машет

не спрашивай меня
не спрашивай
больше ни о чём

было, да прошло
разговаривай с тишиной
одну её слушай

всё хорошо, но жарко
ещё и тебе не признаешься
неловко неловко
божья коровка ползет по руке
кусается
трава до колен качается
тут там цветы
так и ты

Наталья Белоедова — родилась и живет в Ташкенте (Узбекистан). Публиковалась в журналах «Интерпоэзия», «Сибирские огни», «Юность», «Волга XXI», «Костёр», «Простокваша», «Звезда Востока» (Узбекистан) и др., на порталах «Textura», «Дактиль», «Формаслов», «Белый Мамонт».

просто голос услышать
говорит мама
звоня не часто

просто голос услышать
повторяю

звоню тебе
без надобности
слушаю

так если бы не приходили
не говорили
что-то бы не шептали
не напевали
оставляли бы сны в покое
явь в покое
мечты в покое —
но они покоя не знают

буду просто любоваться твоим светом
твоим образом
твоими намеками на
будущее
буду тебе отправлять
добрые что называется мысли
и тёплые что называется пожелания
буду не буду
буду не буду
ромашка в конце февраля
на исходе эта зима

вот она — монотонность
день переходит в день
тень наступает на тень
лето

подрагивает асфальт
добежать до ближайшего дерева —
утереть лоб

или ближе к арыку —
идти вдоль воды

ты это или не ты?
ты это или не ты?
летом

странная необходимость
бродить часами
по городу
странная компания
река берега
странные мысли покидают голову
летят
позвонить
написать без повода
вспомнить взгляд

трещины на саманной стене
во дворе
стоит зной
тихо-тихо

только горlinkа
звуком грудным звучит
тишину дробит
убаюкивает

спать пить
спать пить

не выходить из дома
где холод земляной держится
от кирпича отталкивается
к телу человеческому прижимается
остужает

смотри в окно
для чего время дано?

когда читаешь важное
или слушаешь важное
почему-то всегда хочется остановиться
или даже сесть

под могучим тутовым деревом
моего детства
на раскалённом асфальте греется платье
и тут либо бежать домой
либо умереть на месте

так когда-то читала книги
на главных страницах
где отчаянно влюблялись
или навсегда уходили

теперь замираю
над твоим сообщением
повисшим в воздухе —
грозовое облако
июньского полдня

вот и осенний воздух
притрагивается к волосам
школьник несёт рюкзак
говорит — Я сам!
сам с вершок
на голове гребешок новой прически
говорит говорит говорит
и куда-то бодро глядит
в будущее

а потом смотрю на человека
и успокаиваюсь
вроде бы мог помочь да
но он не лекарство от безысходности
он такой же надрез
на коже
оголенный провод в детских руках
ему бы помог кто
обогрел
спрятал
дал лапу
вытянул к свету

мне нравится
как ты смеёшься
или вот этот хитрый прищур
словно не бойся не бойся
уже не страшно

смотрю на тебя
узнавая

мир по каким-то деталям
по птицам — чёрточкам
по ветру в верхушках деревьях
по спутанным снам

в твоём дворе листья лежат ковром
небольшой прямоугольник
зажат двумя стенами дома
и ещё одной незнакомой
стеной
образуется как бы колодец

об этом дворе речь
не потерять уберечь
тепло
когда поднимаюсь по лестнице

крыльцо
вот отсюда считаю до десяти

потом лицо твоё и улыбка
рыбка плавает в небе
ныряет сквозь облака

вечно оттягивала
не успевала
и потом — не успела
тела не стало
оно улетело
тонкое стало
кружатся в небе
снежинки былинки
на землю садятся
снятся тебе её детские сказки?
редко
не снятся

так мне хотелось в тебя взглядеться
так мне хотелось найти это
детство
этот пруд
и скамейки в парке
эту осень
качели в небе
но отражение привирало
оно растекалось
необходимая
не находилась
малость

Анна Юрьева

Городок: в девяностых было детство

Цикл рассказов

Детство цвета зелёнки

Детство проглядывает сквозь время, смотрит в глаза, напоминает о прошлом запахами, солнечными зайчиками, беззаботным смехом и дурачествами.

Ссадины на коленях и вечная несмываемая зелёнка...

Прятки, велосипеды, «штабики», тайники и «войнушка». Вечера у костра. Всё это как будто и не из моей жизни. Словно кто-то прожил её... Не я. Воспоминания выплывают как-то не вовремя, невпопад и некстати, стирая всю значимость и ценность взрослой жизни и её постоянных атрибутов: погони за всеми деньгами мира, престижем, достатком, семьёй, такой, чтобы как положено: муж, жена, дети, кошка; все улыбаются, как в рекламе.

Если честно, как же хорошо было там — в детстве! Всё было иным: бесконечным, ярким, синим и зелёным, светящимся, солнечным. Мир был удивительным и очень понятным.

— А-а-аня-а-а! — на весь двор кричала мама. — А-а-аня-а-а!

Но я, Аня, не шла и не отзывалась.

— Ну, вот что ты с ней будешь делать? Опять ушла куда-то со двора! — жаловалась мама, стоя на крыльце, отцу, сидевшему на завалинке нашего двухэтажного грязно-зелёного барака.

— Ничего, ничего! Есть захочет, придёт, — улыбаясь, говорил отец и стряхивал пепел с сигареты. — Сорванец, а не девчонка!

В это время я могла заниматься чем угодно! Лето, солнце, друзья и уйма увлекательных дел.

Мы жили в Шимановске. Дом стоял на улице имени Плеханова, она была одной из главных в нашем городке и связывала центр с микрорайоном. Мы, дети, не знали, кто такой Плеханов. Знали мы одно — вдоль дороги шла канава. Бетонная. В неё после дождей стекала вода вперемешку с грязью и мусором. На дне канавы образовывался слой ила. Зелёный, скользкий. В этом иле даже рыба водилась, правда, мелкая — ротанчики в основном. Но нас этот ил привлекал не из-за рыбы. А из-за того, что по этому илу можно было скользить.

Разгоняешься, хлюпающая босыми ногами по воде, встаешь и скользишь, как по льду. Даже соревнования проводили — кто дальше докатится. Один пролет, два, три...

Анна Юрьева — прозаик, поэт и литературовед, печаталась в литературном альманахе «Амур», журнале «Слово». Участник литературной резиденции АСПИР (Пятигорск, 2022). Живёт в Благовещенске Амурской области. В журнале «Урал» печатается впервые.

Публикация осуществляется в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

Соперниками моими были мальчишки, потому что закон демографии в нашем дворе работал странно — одна девчонка на пять мальчишек. Лишь один раз я проиграла. Дело было так.

— Костя, давай! Ты первый! — крикнул Лёха.

Костя, худенький, но высокий, в рубашечке и шортиках, как-то неловко разбежался и проскользил совсем мало, меньше одного пролёта.

Лёха задиристо усмехнулся и сказал, что он сейчас, как чемпион, всем нам покажет, но в итоге проехал не так далеко — примерно как Костя.

— Нет, это нечестно. Здесь песок. Можно я еще раз попробую? — прогнусавил Костя, никак не признавая свой проигрыш, но понимая, что сейчас катиться буду я.

— Ой, да пробуй! Всё равно только один пролёт и проедешь, — задирился Лёха.

Костя разозлился, сжал кулаки, но побежал. Вдруг он поскользнулся и во всей своей чистой одежде — в рубашечке и шортах — плюхнулся спиной в зелёный-зелёный ил. Мы с Лёхой замерли — что теперь будет Костику, домашнему мальчику? И сам Костя оторопел. Встал, посмотрел на себя и растерянно заговорил:

— Ребят, а что теперь делать, а? Мама дома, увидит меня такого... Накажет и гулять больше не выпустит...

Мы с Лёхой пожалы плечами. А что тут сделаешь-то?

Лёха посмотрел на Костю и сказал:

— Мы, конечно, сейчас что-нибудь придумаем, стираем, например. Но пока вопрос о чемпионстве остается открытым. Анька, давай, твоя попытка!

Костя вылез из канавы, сел на траву и снял рубашку, грустно её рассматривая. Ил быстро высыхал, едко впитываясь в рубашку. Лёха сел рядом и толкнул товарища — гляди, мол, сейчас посмотрим мы на эту Аньку.

— Ань, ты хоть бегать умеешь? — дразнился Лёха.

— Смотри не упади... А то все дома будем сидеть! — грустно добавил Костик.

— Сейчас посмотрим, кто из нас чемпион. Все же знают, что я! — крикнула я и начала разгоняться.

Вот я скольжу — один пролёт, второй. Лёха даже привстал, не веря своим глазам. Я смотрю вперёд и вижу перед собой зелёное стекло разбитой бутылки. Видимо, кто-то, пока мы разбирались с бедой Костика, проехал и бросил эту бутылку. Притормозить я никак не могла — ил очень скользкий.

Порезалась сильно, но не плакала. Кровь капала на зелёный ил, зелёное стекло бутылки и потом на зелёную траву. Костик даже дал свою и так уже испачканную рубашку. Мы, грязный Костик, Лёха и я с порезанной стеклом ногой, сидели и боялись — домой страшно идти.

Тишина.

Лёха что-то говорил про подорожник для ноги, про колонку, где можно вещи постирать. Что скажешь — счастливчик! И целый, и чистый...

Вдруг я слышу, как мама меня зовет. Ничего не поделаешь — нужно идти. Мальчишки взяли меня под руки и повели.

Папа сидит на завалинке, курит, мама в халате и с полотенцем стоит на крыльце. Из-за дома появляемся мы, троица разбойников с большой дороги. Мама охает, всплескивает руками. Папа хитро улыбается.

— Ну что, оболтусы, где были, чего делали? — спрашивает папа.

— Да оставь ты детей... Аня, что с ногой? — беспокоится мама. — Костя, ты почему такой грязный и в крови? Ну-ка марш все в дом.

Дома мама обработала мне ногу, постирала Костины вещи и заварила чай. Мы наперебой рассказывали папе невероятную историю, как же с нами это всё произошло.

Через полчаса нога моя была забинтована, вещи Костика сушились, а мы пили чай с вареньем, малиновым. Только папа посмеивался и наконец сказал:

— Конечно, про гигантского ротана — это было почти правдоподобно. В следующий раз что-то поинтереснее придумайте!

Сейчас я с теплом вспоминаю детские дни. Только мама и папа уже не ждут меня на крыльце. Теперь я посмеиваюсь, слушая детские враки о приключениях во дворе, помогаю строить корабль из простыней, чиню велосипеды и рассказываю страшилки дочери, почти не страдающей от зелёнки.

Фишки

Знаете, в детстве меня так учили — будь для всех людей. А дальше добавочные — добрым, вежливым, заботливым. Меня учили относиться к людям с уважением, доверием и любовью.

Справедливость была главным ориентиром в моей детской жизни. Не «правильно» или «неправильно», «хорошо» или «плохо», а «справедливо» или нет. Наверное, это советское наследие, которое в девяностые только кристаллизовалось. Справедливость была важнее всего. Честно или нет? Причём не для меня, а вообще — честно так поступать или нет, справедливо ли?

В детстве, если помните, была игра — фишки. Круглые картонки разных мастей — с персонажами из мультфильмов, фильмов и покемонами. Особое место занимали бойцы из «Смертельной битвы». Все их коллекционировали. Сражения были серьёзными не на шутку.

Я была маленькая, азартная и совсем не умела проигрывать.

Где-то нашла одну. Играла. Стало у меня штук шесть-семь. И в один из дней я их все проиграла Костику во дворе. Обидно, плачу, как водится. Но честно. Просто ему повезло, а мне нет.

Прихожу, расстроенная, домой. Мама спрашивает:

— Что случилось?

Рассказываю — говорю, не повезло.

Вечером пошли в гости к Костику наверх, на второй этаж. Он, как и положено, хвастает. Да и я бы хвастала. От этого обиднее.

Я открыла дверь его квартиры и сбежала вниз.

Сажу на первом этаже нашего деревянного барака, на окне. Обнимаю колени. Думаю, а слёзы на глазах накипают.

Знаю, что мама не купит мне фишки. Денег особо нет, не до шалостей. В голове раз за разом последняя игра — сразу по пять фишек. И я первая бить должна. А они не перевернулись. Надо было руку по-другому повернуть. Ну да ладно. Не буду в следующий раз на много играть.

Опять плачу. Потому что не будет следующего раза.

Вижу, спускается мама. Суёт мне в руку фишку.

Я смотрю на неё и не понимаю:

— Мам, а ты где взяла?

— Какая разница... Держи, и давай не реви.

Мы пошли домой. Я сжимаю в руке эту фишку, на душе и радостно, и тревожно. Всё думаю, где же мама её взяла.

Утром ни свет ни заря бегу во двор — отыгрываться.

— Костя! — кричу. — Иди сюда, у меня фишка есть.

Костя молчит. Я подбегаю, тяну к нему руку с зажатой фишкой, разжимаю и говорю:

— Вот! Гляди!

Костя скривил лицо, выхватил у меня из рук фишку и говорит так неприятно:

— А я знаю, откуда у тебя эта фишка!

— Откуда? — спрашиваю я, а у самой ком в горле и ужасная догадка в голове.

— Это твоя мама у меня украла.

Я застыла. Стою, смотрю на него и на эту круглую картонку у него в руках. «Моя мама украла!» — кровь гулом шумит в голове.

Я толкаю Костю в грудь и кричу:

— Забери свою бумажку, а маму мою не трогай!

Я убежала и спряталась. И никак не могла понять — ну, неужели он не понимает, что это значит? Что мама это сделала для меня, чтобы я просто не плакала.

Фишки перестали что-то значить в этот день. Как и многие другие пустяковые вещи.

Я пришла домой, обняла маму и сказала:

— Спасибо, мама, за фишку. Но я её опять проиграла. А ты больше не бери у Кости этих фишек. Не нужны они мне. Я больше не буду плакать.

Снежное чудовище

Дело было весной, а точнее — шестого мая. Уже пытались зацвести первые робкие растения, набухшие почки выпускали молодые зелёные листочки. В воздухе так и витал аромат весны — запах костров, просыпающейся земли, вспаханных огородов и много чего ещё.

Городок готовился к одному из главных праздников — Дню Победы. Ранним утром солдаты в парадной одежде шли по главной улице — улице Орджоникидзе. Оркестр играл марш. Детвора из наших домов по улице Плеханова висела на заборах и смотрела на военных. Это было радостно и жуть как интересно.

Вечером после школы, как водится, собирались на брёвнах возле гаража и обсуждали — что за техника будет, кто бежит в эстафете из старшеклассников, какая школа победит. Если повезёт, то будет тепло и уже можно будет выкатывать велики и снимать ненавистные куртки и шапки. Да-а-а...

Разговоры велись яростно, с размахиванием рук и такими громкими криками, что встревоженные мамы периодически появлялись на крыльце нашего барака и смотрели — не дошло ли дело до драки. Криками интересовались не только мамы, но и Лёшкина собака, заходившаяся лаем от наших криков на другом конце двора. Красивая колли каким-то образом попала в очерченную сеткой-рабицей тюрьму и была вынуждена охранять сарай дяди Коли, Лёшкиного папы. Она была такая злющая, что всё время ходила в строгом ошейнике и сидела на цепи. Мимо проходить — страшно и неудобно. Особенно во время прятков — выдаст своим рыком и лаем. Поэтому Лесси мы и недолюбливали. Боялись и трусливо ругали.

Но сколько бы ни длился тёплый майский день, наступал вечер. По небу радостно высыпали звёзды, которые перекрывал дым, всё ещё шедший из труб над бараком. Старики, курившие на улице, глубокомысленно смотрели на него и говорили что-то про похолодание, ветер и давление. Мы смеялись и не верили — май же! Везде зелёные листочки и трава, какое похолодание? Без куртки скоро можно! И велик!

Но утром случилось чудо. Весь наш маленький городок седьмого мая завалил пушистый новогодний снег. Он начал идти ещё ночью, а днём даже и не подумал прекратиться, продолжив строить невероятно красивые сугробы. На расстоянии вытянутой руки сквозь хлопьями идущий снег ничего нельзя было разглядеть.

Мальчишки вытащили вместо долгожданных великов санки, надели зимние куртки и варежки. Конечно, и я с ними. Стали строить крепость, выставя по бокам невероятно красивых и чистых снеговиков. Кидались снежками, носились краснощёкие и счастливые. Через месяц лето — а мы в снежки играем!

И тут Лёха остановился:

— Ребят, а как же парад? Если снег не растает...

— Как это не растает? Куда он денется! — авторитетно заявил Костик. — Смотри, снег идёт, а на улице всего минус один. Уже завтра снега не будет.

— А если не растает? — упорствовал Лёша.

— Пацаны, а представьте, что что-то случилось и не будет больше лета... Всё, кончилось! — со страхом сказала я.

Мы начали строить ужасные перспективы белого плена в снегу. Лёха сказал, что, если снег не растает и лето не наступит, нас всех заставят ходить в школу и дальше. Страшнее и не придумаешь. Костя уныло напомнил про велики, а я предложила делать иглу для тепла и снегоступы, как у эскимосов. На перспективу. Мы уже и не верили, что наш любимый парад состоится. И никакого мороженого.

— Ну, давайте тогда учиться играть в прятки по-новому, — сказал Лёха.

Мы переглянулись.

— В снегу прятаться? Интере-е-есно. А давай! — сказала я.

Костя добавил, что если игрока долго не найдут, то у нас появится ледяная скульптура. За занудство мы его и назначили ведущим. Лёха и я побежали прятаться. Скрипел снег под ногами, а за каждым из нас шла вереница следов. Тут и сыщиком не надо быть, чтобы найти. Я стала хитрить и идти спиной вперёд, чтобы Костя точно не нашёл меня.

И тут... Я почувствовала, что позади кто-то бежит ко мне. Страшно было оборачиваться. Но я обернулась. И увидела, как из снежной пелены на меня выпрыгивает Лесси.

Оказывается, Лёха решил спрятаться в сарае. Он и не знал, что отец накануне спустил Лесси с цепи. И в открытую Лёхой дверь злющая собака рванула на свободу.

Сначала я застыла и, как в медленном кино, видела бегущую на меня собаку. Та рычала и морщила длинный нос. Я испугалась и сделала то, что ни в коем случае нельзя было делать, — я побежала по глубокому-глубокому снегу. Сапоги-аляски были полны снега, под пихору тоже набилось прилично. Я не кричала, просто бежала, вдыхая снежинки и холодный воздух. Глупая. Как я могла убежать от собаки?

Я и не убежала. Лесси опрокинула меня лицом в снег. В голове не было ни одной мысли. Дикий животный страх. Лицо обжёт холодный снег. Я рывком перевернулась и подумала, что сейчас меня загрызёт собака, и я умру.

Я зажмурилась и закричала.

В ту же секунду я почувствовала что-то влажное на своём лице.

Кровь!

Наверное, вот так и умирают... Раз — и всё.

Надо глаза открыть. Мама говорила что-то про рай и ад. Раз мокро, наверное, тепло. Раз тепло — наверное, ад. Эх, не надо было сарай поджигать!

Я подумала, что я что-то долго умираю. А потом почувствовала на своём лице шершавый язык.

Лесси и не собиралась меня грызть. Она облизывала моё красное замёрзшее лицо. Видимо, собака решила, что я с ней играю в догонялки.

Как понимаете, ничего ужасного не случилось. Но день этот впечатался в мою память навсегда.

Лесси после этого события продолжала оставаться злой собакой на цепи. По-прежнему было очень страшно ходить мимо неё. Но в глубине души я знала, что она добрая, а лает лишь потому, что на цепи и честно выполняет свою работу, охраняя имущество своего хозяина.

Был ли парад?

Конечно, был. Снег растаял на следующий день.

ДЕТСКАЯ

Станислав Секретов Рассказы для Лизы

Писатель

Мой брат Юрка сегодня сердитый. Бродит по комнате и повторяет одно и то же:

— «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий...»

— Ты чего там бубнишь? — пристала я к нему.

— Да вон стих выучить надо. В школе задали, — раздражённо кивнул он на учебник. — Этот старик бородатый написал двести лет назад, а я теперь зачем-то запоминать должен. Стихотворение в прозе. Ну что за нескладуха?!

Я заглянула в учебник и увидела старика, о котором говорил мой брат. С портрета на меня смотрел пожилой человек с седой бородой.

— А это кто? — спросила я Юрку.

— Иван Тургенев. Писатель.

— Писатель?

Бабушка поспешила меня увести:

— Лизочка, не мешай Юре учить стихотворение. Пойдём лучше прочитаем какого-нибудь другого писателя! Для твоего возраста. — И стала перебирать книжки: — Вот, например, Павел Бажов...

Она раскрыла книжечку, а на первой странице — большой портрет. Старенький дедушка с длинной бородой, как у Деда Мороза.

— Смотри, Лизочка, это — Павел Бажов! Писатель.

— Писатель?

Бабушка потянулась за другой книжкой. И в ней — тоже портрет на первой странице. Из книжки на нас с бабушкой смотрел старичок. Уже другой. Но тоже с длинной бородой.

— Лиза, это — Лев Толстой.

— Писатель? — уточнила я.

— Да, писатель. И в этой книге собраны его сказки.

— Сказки я люблю! Давай читать!

— Ой! — вскочила вдруг бабушка, посмотрев на часы. — Я же забыла совсем! Я хотела тебе совсем другого писателя показать! Сегодня в библиотеке на нашей улице обещали встречу с детским писателем. Собираемся скорее! Мы ещё успеем!

Станислав Секретов (1986) — литературный критик, журналист, детский писатель. Заведующий отделом общества и культуры журнала «Знамя». Автор детских книг «Не понимаю...», «Только этого мне не хватало!», «Пусть будет так, как я хочу!» и др. Живёт в Москве.

В библиотеке нас встретила молоденькая девушка. Красивая, улыбнулась мне:

— Привет! Как тебя зовут?

— Лиза, — серьёзно ответила я. — А ты тоже пришла на писателя посмотреть?

— Я и есть писатель! — засмеялась девушка. — Пишу рассказы для детей.

Я подняла на неё глаза и решительно заявила:

— Не ври! Обманывать — нехорошо. Ты — не настоящий писатель! Мне Юрка и бабушка показывали писателей. В книжках. Они там все старые и с бородами. А ты молодая и без бороды. Ты не можешь быть писателем!

— Лиза, а давай я тебе свой рассказ прочитаю? Послушай, пожалуйста!

И прочитала. Весёлый такой рассказ. Про зверят. Мне понравилось. Я смеялась.

А потом сказала:

— Да, ты всё-таки писатель... Хоть и не старая. И без бороды. — А подумав, добавила: — Вы там, писатели, между собой дружите? Общаетесь?

— Ну да, общаемся, — ответила девушка. — У меня много друзей среди писателей.

— Ты тогда в следующий раз приходи не одна. Позови с собой дедушек бородатых. Тургенева, Бажова, Толстого. Пусть они мне тоже что-нибудь прочитают. Только смешное!

Жила-была принцесса Елизавета

Когда я не очень хорошо себя веду, бабушка начинает рассказывать мне сказки про принцессу Елизавету. О том, что она никогда не хулиганила, не шумела и вообще была во всём правильной. Я эти сказки ни разу не дослушивала до конца. Просто давно уже поняла, что на самом деле они про меня. Ведь я — Лиза, значит — принцесса Елизавета. Бабушка сочиняет эти сказки, чтобы меня воспитывать. Чтобы я была хорошей. А мне иногда хочется делать всё наоборот. По кроватям прыгать или игрушки везде разбрасывать. Да, я знаю, что принцессы так себя не ведут. Об этом я и сказала бабушке. Сказала, что обо всём догадалась: эти сказки — про меня!

Но бабушка лишь покачала головой. Попросила хотя бы раз дослушать сказку до самого конца. И снова принялась мне рассказывать про хорошую принцессу Елизавету. А закончилась история тем, что принцесса выросла и стала английской королевой. Я бабушке не поверила. Но она принесла книгу об истории Англии и показала мне портрет, под которым стояла подпись «Елизавета Вторая».

Надо же! Принцесса Лиза хорошо себя вела и стала королевой. Я тоже так хочу! Буду Елизаветой Третьей. А пока надо поскорее разобрать игрушки и расправить смятые покрывала на кроватях, будто я по ним не прыгала. Интересно, а мне корону дадут?

Красивая

Дедушка часто говорит, что я красивая, а бабушка — редко. Очень редко. Бабушка говорит это только тогда, когда наряжает меня в разные платья. Она сама их шьёт. На швейной машинке. У неё увлечение такое. А потом просит меня примерить. Я примеряю, и бабушка начинает радоваться. Начинает говорить, какая я красивая в очередном платье. При этом сразу зовёт меня гулять. Чтобы все вокруг её, то есть моё, новое платье увидели.

Меня такие прогулки ну совсем не радуют. Когда я в новом платье и бабушка говорит, что я красивая, мне почему-то ничего нельзя. Нельзя по лужам бегать. Нельзя на землю садиться. Нельзя к себе прижимать дворовую кошку Муську. Зачем тогда вообще гулять?

Сегодня бабушка снова мне новое платье сшила. Розовое. А дальше вы знаете. Платье мне подошло, бабушка сказала, что я красивая, и гулять позвала. Ну вот, опять...

— Бабуль, давай лучше вместе сериал по телевизору посмотрим. А гулять не пойдём...

Бабушка ахнула:

— Лизочка, тебе же мои сериалы не очень нравятся...

— Давай тогда книжку читаем, — предложила я. — Книжки мне нравятся.

— Книжку мы вечером читаем. А сейчас пойдём гулять.

Ну что это за гулянье такое?! Лазить по горке в красивом платье бабушка не разрешит. Кувыркаться в траве — тоже. Даже носиться по двору с Юркиным игрушечным самолётиком — и то нельзя... О, я кажется, знаю, что сказать бабушке, чтобы мы никуда не пошли!

— Ба, ты меня ругала, что я игрушки везде разбрасываю... Что ничего на место не кладу... Я исправиться решила. Давай мы никуда не пойдём? Давай я лучше все разбросанные игрушки уберу?

Так сильно бабушка не удивлялась никогда.

— Лизочка, какая же ты у меня умница! Как ты здорово придумала! Только давай красивое платье снимем, чтобы ты его не испачкала во время уборки, ладно? Наденем что-нибудь попроще... Ты моя умница! Я очень рада!

Вот так! Для бабушки я — умная, а для дедушки — красивая. А на самом деле я и такая, и такая.

Дождусь сперва в красивом платье дедушку с работы. Может, он сам за меня игрушки уберёт?

Ты ничего не забыла?

Раньше я постоянно забывала делать одну важную вещь. Возвращаемся мы домой — и я сразу бегу к своим игрушкам. А бабушка меня останавливает:

— Лизочка, ты ничего не забыла? После того, как мы пришли с улицы, нужно обязательно вымыть руки!

Приходится мыть.

Или, например, зовёт меня бабушка кушать — и я плюхаюсь за стол. А она снова напоминает:

— Лизочка, ты ничего не забыла? Перед едой нужно обязательно вымыть руки!

Но я всё равно то и дело про это забывала. Тогда бабушка придумала для меня наказание: если я забыла вымыть руки, я должна встать на табуретку и прочитать стихок.

И вот — время обедать.

— Лизочка, суп на столе! Беги скорее сюда!

— Хорошо, ба! Уже бегу!

Прибежала я на кухню, только хотела сесть за стол — и вдруг свою наказательную табуретку увидела. Сразу заявила бабушке:

— Я ничего не забыла! Я иду руки мыть!

— Умница!

Вымыла я руки, вернулась на кухню, а у бабушки телефон зазвонил. Она взяла трубку, выслушала и ответила, что сейчас выйдет. А потом мне пояснила:

— Лизочка, там ко мне курьер приехал из аптеки, лекарства привёз. Я на минуточку выскочу на улицу, встречу его...

Бабушка действительно быстро вернулась. И сразу села рядышком со мной и ложку схватила.

Тогда я её хитро так спросила:

— Ба, ты ничего не забыла?

— Да нет вроде. Лекарства у курьера я забрала. Деньги заплатила. Сдачу получила. Он мне чек выдал... Нет, ничего не забыла.

— Бабушка, а что нужно было сделать после того, как ты вернулась с улицы? Что мы делаем перед едой?

— Ой, точно! Спасибо, Лизочка, что напомнила! Пойду вымою руки!

— погоди! Поскольку ты забыла, давай-ка сперва полезай на табуретку! С тебя стишок!

Тортик

Я уже поняла: бабушка забывает некоторые вещи из-за того, что она стареет. У людей в возрасте такое бывает. А если я вдруг что-то забуду, бабушка сразу называет меня невнимательной. А я внимательная!

— Докажи это! — предложила бабушка. — Посмотри на наш кухонный стол. Только очень внимательно. Всё-всё рассмотри!

А чего там рассматривать? Стол как стол. Солонка на нём стоит. Перечница, сахарница, вазочка с изюмом, графин с кипячёной водой. И больше ничего нет. Вот если бы посреди стола стоял...

Только я начала мечтать, бабушка воскликнула:

— Всё, Лиза, посмотрила — и хватит! Теперь выйди на минутку из кухни. Не подглядывай, хорошо?!

Через минуту я вернулась обратно. Бабушка показала мне на стол и спросила:

— Скажи, чего не хватает?

— Тортика! — с ходу ответила я. — На нашем столе не хватает тортика!

— Какого тортика? — не поняла меня бабушка.

— Клубничного, — охотно пояснила я. — Чтобы с ягодами был. Под ягодами — белый сладкий крем и орешки маленькие. А под ними такое хрустящее... Не знаю, как называется. Типа вафель, но не вафли. Вот такого тортика на столе очень не хватает.

— Так у нас на столе такого и не было, — продолжала не понимать меня бабушка.

— Правильно, не было. А хочется, чтобы было. У нас на столе вообще ничего нет. Только перечница, сахарница, изюм и графин. Ты ещё и солонку куда-то убрала...

— Лизочка, я тебя про солонку и спрашивала! Я её специально спрятала, чтобы проверить твою внимательность. А ты мне про какой-то тортик...

— Не про какой-то, а про клубничный! Зачем мне твоя солонка? В ней ничего вкусного нет... Я — внимательная! Это ты, бабуль, невнимательная! Я тебе уже целый час твержу: стол у нас пустой, на нём не хватает тортика. Тортика, понимаешь?! Где твоё внимание? Если бы ты была внимательной, ты бы уже давно заметила, что мне на столе не хватает тортика. Клубничного. Тортика. Ну как, ба, ты у нас внимательная или нет? Ты всё поняла?

Мария Лисаченко

Прятки *Детские стихи*

Кот

В узком тайном переулке
В тишине подвальной, гулкой
Проживает чёрный-чёрный
Желтоглазый и проворный
Кот.

Нам придумывает игры,
А себя считает тигром
И рассказывает сказку,
Мол, облился чёрной краской.
Врёт.

Матрёшка

В большом самолёте
Однажды
Летел самолёт...
Бумажный.

Лыжня

С небесного склона, и ниже, и ниже
Скользят самолёты, как будто на лыжах...
Прносятся мимо меня —
Белеют следы, как лыжня!

Мы бежим

Ветер! Снег! Кусты! Ограды!
Солнце! Птицы! Топот ног!
Мы бежим! Мы просто рады!
Я и Тузик — мой щенок!

Мария Лисаченко — учится в УрФУ, на направлении «фундаментальная информатика и ИТ». Окончила художественную школу. Публиковалась в журналах «Мурзилка», «Костёр», «Чердобряк», «Путеводная звезда», «Урал», альманахе «Детская» и т.д. Член жюри фестиваля-конкурса «Свободный стих» в Литературном квартале Екатеринбурга. Живет в Екатеринбурге.

Борода

Ледяными бородами
Обрастают города.
Мы идём — висит над нами
Из сосуллек борода.

Я кричу:
— Побрейся, дом!
Он в ответ:
— Я скован льдом!
Вот весной согреюсь
И тогда побреюсь.

Гроза

За окном грохочет буря,
Скачет гром по пустырю.
Я сижу, глаза не жмурю,
Я на молнии смотрю.

Небо скалится сердито:
«Не влезай, а то убьёт!»
На окне полуоткрытом
Занавески ливень шьёт...

Дедушка

Мой дедушка жил на даче.
Растил огурцы и перцы,
Чинил у сарая дверцы,
Выдергивал молочай...

С утра начинал работу,
А вечером на крылечке
Из трубки пускал колечки
И пил на веранде чай.

Он знал обо всём на свете
И мне обещал однажды,
Что, как подрасту, расскажет
Свой самый большой секрет.

И я никогда не думал,
Что всё может быть иначе.
Но вот я хожу по даче...
А дедушки больше нет.

Детский сад

В нашем парке есть поляна,
Там еловый детский сад —
Там в оградках деревянных
Десять ёлочек стоят!

Дыхание

Зимой не бывает обычных людей:
На улице правит мороз-чародей.
И стоит вздохнуть через рот,
Как ты — человек-пароход!

А рядом с тобой человек-паровоз,
И девочка-чайник свистит через нос,
А там переходит бульвар
Пыхтящий толстяк-самовар!

И громко фырчит, набирая разгон,
Летающий на санках мальчишка-дракон!
Смеётся мороз-чародей,
Играя с дыханьем людей.

Прятки

Мы с утра играем в прятки,
Я и солнечные зайцы.
Я гляжу на них сквозь пальцы —
Разбежались без оглядки!

Раз — играет бликом в луже,
Два — сияет на песке,
Три — в листве у старой груши,
Пять — блестит в дверном звонке.

А четвёртый так остался —
Заметался, заметался!
Прыгнул было на пенёк...
Шмыг! И спрятался.
В тенёк!

Плотина

Если в парке пруд утиный
Холод скроет слоём льда,
В центре города плотина
Не замёрзнет никогда.

Утки ей ужасно рады,
Обживают новый дом —
То кружат у водопада,
То дрейфуют под мостом.

И в мороз не знают горя,
И в метели декабря,
В Новый год салютам вторя
Восхищённым дружным «кря!».

БЕЗ ВЫМЫСЛА

Ирина Демченко

Солнечные зайчики на подоконнике

Путешествие во времени

*Посвящается моим родителям —
Антонине Кузьминичне и
Николаю Захаровичу Сидоровым*

Про подоконник из детства напомнила мне Юля. А ей — маленький сынишка. У нас у всех были разные подоконники. У сына Юли — подоконник в московской гостинице. Недолго — на время болезни... Окна в гостинице выходили на Александровский сад, на Манежную площадь, захватывали кусочек Красной. От происходящего снаружи под пристальным вниманием любопытного парнишки забывалась противная болезнь — весенняя простуда и связанная с нею хандра. Что у сына, что у мамы. А тут ещё Юля рассказала ему про свой подоконник из детства. Она умеет рассказывать так интересно и увлекательно, что дух захватывает. Забываешь обо всём на свете, только бы слушать её и слушать. И сын просто не сходил с насиженного места — под впечатлением от маминых рассказов. Правда, с Юлиного подоконника (по её воспоминаниям), конечно, не такой роскошный вид открывался, но девочке с тугими косичками хватало того, что она видела тогда. И до сих пор хватает, когда вспоминает о детстве. На всю жизнь запомнилось.

Мой же подоконник всплывает из более раннего времени: из пятидесятих–шестидесятых годов прошлого столетия. Двухэтажный дом на улице Уральских рабочих в Свердловске (ныне Екатеринбург), в котором прошло моё разноцветное детство, построили военнопленные немцы. Это был лучший дом, вмиг ставший родным, из всех, в которых мне приходилось когда-либо потом жить одной ли, с детьми. Он был очень удобным для проживания: тёплый зимой и прохладный летом. С просторными балконами — в каждой комнате, кроме кухни. Летом мы на них спали, а зимой хранили снедь: мясо, сало, деревянные бочонки с квашеной капустой, мочёными помидорами и солёными огурцами. А разные там заготовки (варенье, джемы, компоты, овощные лечо, икру, салаты) мама расставляла в большой кладовке, даже в двух на кухне. Картошку, свёклу, морковь, репку и редьку мы закладывали на зиму в подвале в дровянике. Зимы стояли тогда суровые, снежные, с крепким морозцем, поэтому приходилось тщательно утеплять осенью балконные двери всякими ненужными тряпочками и газетами. Отец через форточку в

Ирина Демченко (1952) — родилась в Свердловске. Окончила факультет журналистики УРГУ. По окончании работала в областной молодёжной газете в Благовещенске корреспондентом, затем заведомо культуры. Член Союза журналистов СССР. Автор и соавтор 11 книг. Книга про балерину Маргариту Окатову стала «Книгой года» и была номинирована на премию международного конкурса «Театральный роман». Основной жанр, в котором работает автор, — рассказы.

валенках и телогрейке лазил зимой на балкон и доставал порционные ку-сочки, опять же загодя, осенью, приготовленные мамой. Она из комнаты ко-мандовала ему, где что лежит и сколько надо взять. Запасов обычно хватало на всю зиму — благодаря бабушке с дедушкой. Как раскулаченные враги народа, у которых отобрали всё до последней нитки, они были сосланы в казахстанские степи на перевоспитание. Но даже в степи так и не смогли переродиться. У деда вновь сыграла предпринимательская жилка, и на пу-стом месте вскоре появилось большое хозяйство, ничуть не хуже прежнего, с садом, огородом, где успевали вызреть обожаемые мною и отцом арбузы. В хлеву резвилась скотина. Корова давала много молока. Овцы — шерсть. Про свиней говорили: «Опять опоросилась!» А уж всякой мелкой живности (куры, петухи, утки, гуси, индейки) всегда был полон двор. Дед в основном раздавал поручения, он значился генератором идей, главнокомандующим в крестьянском хозяйстве, фельдмаршалом в бабьем царстве. А солдат в его армии было раз, два, и обчёлся... Бабушка крутилась как заведённая с ранне-го утра и до позднего вечера, до ночи. Иногда им помогали две мои тётуш-ки с семейством. Отец с мамой часто приезжали с городскими гостинцами: конфетки, пряники, что-то из одежды, обуви, помню — мыло, соду с собой привозили. А уезжали — нагруженные под завязку всякой едой. Отец — с огромным рюкзаком за спиной и с тяжеленными сумками в руках. Даже мы с братом тащили поклажу, хоть и были совсем ещё маленькими. Нам нра-вилось это дело — быть полезными в большой семье, вовремя оказаться под рукой у отца. Наперегонки бежали, когда он звал нас подсобить.

Очень нравилось мне бывать летом в этих местах, но и нашу городскую квартиру искренне любила. Особенно — подоконник на кухне. Длинный и широкий. Так запомнилось. Видимо, по меркам моего растущего ещё тогда организма. На подоконнике умещалась не только я, сидящая на подушке, но и горшок с геранью или столетником (точно не помню), простенький аквари-ум (большая банка) с самыми примитивными рыбками — гупёшками (гуп-пи). Сейчас каждый знает, что писатель Довлатов всю жизнь мечтал иметь парочку дрессированных золотых рыбок. У нас в семье не было больших денег, чтобы купить золотых рыбок. Но дрессировать гупёшек мне удавалось запросто. Я даже отцу свои опыты показывала. Например, подносила руку к поверхности воды, и все рыбки тут же всплывали со дня. А я их щедро за этот трюк подкармливала мормышем. Отец говорил: «Рефлекс... Но вид-но, что они тебя любят. Продолжай!» Отец всю жизнь меня поддерживал: и маленькую, и подростковую, и взрослую. Стоило мне выкинуть очередной «фортель», и он заступался по всем правилам лучшей адвокатуры. У мамы в войну родилась дочка Ниночка, но в холодном роддоме простудилась и от воспаления легких тут же уагла. Потом в семье долго не было детей. Уж и не ждали родители, не надеялись... И вдруг я объявилась через одиннадцать лет — «здрасьте вам, пожалуйста». Отцу предложили хорошую работу за гра-ницей, как раз в 1952 году, но он отказался. Стал ждать моего появления с нетерпением, плохо скрываемым перед соседями и знакомыми. Так что я в семье второй ребёнок — долгожданный и в то же время неожиданный. Про Ниночку часто думаю теперь, какая бы она была... Думаю, не такая, как я, — другая. Не могу сказать, что жила и за неё. Это было бы преувеличением. Тем более я столько «накосячила» в своей жизни — она бы себе такого не позволила. Я совсем её не знаю, но очень люблю по рассказам матери.

Детские воспоминания до сих пор остаются со мной как самые радост-ные, самые светлые, самые наполненные добром и красотой. Когда болела и лежала в кровати с высокой температурой, отец читал мне книги по вечерам, придя с работы. Поужинает и сразу к Ирочке болезной. В книжных шкафах у нас стояли тома великих классиков: и русских, и зарубежных. Чаще всего он выбирал Тургенева, Чехова, Толстого. К детским сказкам я была равнодушна

почему-то. Любила их по телику смотреть. Кстати, телевизор (без линзы), по-моему «Рекорд», у нас в семье появился одним из первых в доме. Соседи часто просились в гости — посмотреть какой-нибудь интересный фильм про любовь или про недавно закончившуюся войну. Конечно, мои родители не отказывали. Так что по вечерам в нашей квартире стоял либо оглушительный хохот, либо лились в три ручья самые мокрые слёзы. Гости обычно приходили с гостинцами — пирожками, ватрушками. Мама угощала всех чаем с конфетами. В магазинах продавались тогда очень вкусные «подушечки» с разными начинками, вот их она и выставляла, да и стоили они по тем временам совсем недорого.

Рядом с моей кроваткой висела картина, подаренная отцом на моё трёхлетие, — копия «Сирени» Петра Кончаловского. Все, кто у нас бывал когда-либо, обязательно потом вспоминали её: «А “Сирень” ещё висит в спальне?» На кухне против большого обеденного стола с пузатыми ножками мы постоянно рассматривали копию Василия Перова «Охотники на привале». В альбомах хранились нежные акварели — тоже копии известных картин. Это было творчество полкового художника, с которым дружил мой отец. Подкармливал его мамиными пирогами и пельменями, не давал пить «горькую». Это был одинокий человек с неустроенной судьбой, война уничтожила всех его близких самым страшным образом. Но талант остался при нём, утончённый вкус, обширные знания — тоже. Он рисовал копии, будто это были подлинники, — и не подкопаешься. На что-то своё — не мог отважиться. Говорил, что война ему руки отрубила, глаза выколола. Хотя внешне всё было на своём месте. А самое ужасное — душу испоганила. Иногда начнёт рассказывать про какую-либо картину с упоением, с нежностью, будто стихи читает, и вдруг замолчит, уставившись в одну точку, жутко было смотреть тогда на художника, отец тут же его уводил, чтобы в чувство привести, вальеряжкой отпаивал. Мой первый муж тоже был художником. Довольный своими многочисленными успехами и регалиями, такой спокойный, уравновешенный, адекватный человек. Почему-то запомнилось, как он тщательно прорисовывал батарею на одном портрете, словно она была центром вселенной, символом мирового значения. Я их часто сравнивала потом. И мои сравнения всегда были не в пользу художника-мужа. Художника «из детства» я жалела, ему я сочувствовала, за него переживала, волновалась, тревожилась. А у мужа всё было хорошо, всё было в полном порядке, и эти мои чувства были просто не востребованы, они были никому не нужны.

Ещё помню из детства, что папа часто уезжал в командировки. В нашем окружении это считалось тогда очень редким и престижным явлением. Он привозил из разных краёв красивые вещи, которые невозможно было купить в наших городских магазинах. Я щеголяла в беличьей шубке из Таллина, в удобных сапожках (вместо неуклюжих валенок) ленинградской фабрики «Скорород». У меня были чехословацкие цветные карандаши из московского ГУМа, в железной коробочке, упакованные в несколько слоёв разноцветной шёлковой бумаги, каких не было тогда, наверное, ни у кого в нашем Свердловске. Когда я доставала эту коробочку из портфеля и раскрывала её для рисования, не только дети, но и педагоги застывали в восхищении, раскрыв рот, перед таким благолепием. До сих пор у меня хранятся баночки того времени: из-под фасоли от братьев-китайцев, из-под чёрной икры, кажется, от бакинских друзей. Отец, наверное, с рождения обладал способностью — видеть красивую вещь, любоваться, наслаждаться ею. И не мог устоять от соблазна купить, конечно, если позволяли средства. Это не было эгоистичным желанием выделиться среди друзей и знакомых, которые жили тогда в основном просто, скромно, небогато — одинаково; а скорее хотением — получить эстетическое, художественное удовольствие от красоты. Красота для него была волшебством. В наше время, наверное, папа мог бы

стать классным шоппером, персональным имидж-консультантом, стилистом для богатых людей. А в то время для многих моих подруг он стал неким эталоном мужской элегантности. Он и шляпы носил бесподобно, изысканно, как Марлон Брандо. И у детей своих воспитывал не тщеславие, не гордыню, преподнося в качестве подарков из далёких краёв диковинные вещи, а просто хорошие манеры, достойное поведение, учил удивляться человеческим способностям и возможностям, разнообразным талантам, умению общаться, в том числе и с природой. Отец никогда бы не стал рабом мещанского потребления («всё больше и больше, всё лучше и лучше, всё выше и выше»). В то послевоенное время, когда люди были ещё скованы, зажаты в своих горестях и страданиях, предпочитая что-нибудь черное и серое, немаркое, он, прошагав, проехав пол-Европы и насмотревшись на чужестранную красоту, захотел, чтобы и в его окружении стало больше радости, теплоты, свежего воздуха, одухотворённости, свободы, вдохновения, ярких, сочных красок, изящества. Это сейчас нам подавай, что пооригинальнее, да по самой последней моде, а в те годы поведение отца многим казалось невероятным, непонятным чудачеством. Не от мира сего человек — говорили про него некоторые сослуживцы.

В выходные дни, в праздники мы отправлялись куда-нибудь на экскурсию или в театр, или в парк на качели-карусели, или в лес за грибами-ягодами, или кататься на лыжах-коньках, плавать на озеро. Обязательно брали с собой мою подружку Наташу. Её родители, врачи, были так загружены на работе, что с радостью отпускали дочь вместе с нами — «проветриться». А в отпуск каждый год мы ездили к родственникам в другие города, союзные республики, к фронтовым друзьям отца или в санаторий на море, озеро, речку. Полстраны так объехали, изучая. Страсть к путешествиям зародилась во мне именно в те годы — детские. Помню, как я испугалась пароходного гудка. Пароходик был маленький, совсем крошечный, а гудок издавал такой сильный, будто львы рычали. И ни за какие коврижки не хотела я подниматься по трапу на палубу. Родители не знали, что со мной делать. Пришлось капитану при полном параде уговаривать несносную девчонку — взять себя в руки. Аргументами для меня, конечно же, стали не его слова, просьбы и уговоры, даже обещания чего-то. На меня неизгладимое впечатление произвели капитанский китель с потрясающими пуговицами, фуражка, кортик, чёрная дымящаяся трубка и свисток, в который мне даже разрешили дунуть.

Одно время фронтовой друг отца, дядя Гриша Аксельрод, работал председателем поселкового совета, и мы летом ездили к нему в деревню. Моё первое знакомство с крестьянским бытом началось... с козых кашепок на деревянном помосте. Увидела я их (маленькие, аккуратные шарики), насобирала в ладошку, ещё и тёпленькие, показываю проходящей тетеньке: «Ой, а что это такое? Ягодки? Как они называются?» А она как давай хохотать... Рассказала своим товаркам. Те — другим. Так по всему селу разнёсся этот анекдот, на меня пальцем все показывали и хохотали. Дядя Гриша прекратил обидный хохот. Я ведь уже всё знала, что к чему.

Его кабинет находился на втором этаже деревянного дома, окна всегда были распахнуты настежь, и он кричал нам, бегущим на речку: «Заходите чайку попить!» Пока недолгие тары-бары свершались, я рассматривала из окна церковь на пригорке. Ух, и красивой же она мне запомнилась... Такая нежно-нежно голубая... Знакомая бабушка рассказала, что раньше церковь была ещё лучше, просто загляденье, светилась божественным светом, а когда из неё «кинушку» сделали, стали по вечерам кино крутить да танцы устраивать, она как-то разом вся померкла. Правда, дядя Гриша выделил местным старушкам небольшое помещение в церкви для соблюдения православных обрядов. Они были очень довольны и такими крохами. А вот местное начальство сей факт сильно возмутил, тогда религия была под запретом.

И полетел наш дядя Гриша «под фанфары» со своего насиженного места куда подальше, будто ему пинка под зад дали, причём очень крепко приложились. В этом селе случилась у меня первая любовь. Володя был настоящим крестьянским парнем. Всё умел делать ладно и быстро. Больше всего ему нравилось за лошадьми ухаживать. Когда уезжали, пришёл в два часа ночи, вернее, прискакал на коне из ночного — проводить меня. Прощались, как оказалось, навсегда и не знали, что сказать друг другу, стеснялись своих чувств. Отец только крикнул из кузова уже отъезжающего грузовичка: «Володя, ты очень хороший парень!» Володя пришпорил коня и долго скакал за нами, а я махала ему из кабины косынкой в горошек, пока ветер не выдернул её из моих рук...

Я очень любила отца. Должно быть, вы это уже поняли. Рядом с ним было спокойно и радостно. Сидя на своём подоконнике, ждала его после работы с самым сильным детским нетерпением, то и дело поглядывая на часы-ходики с кукушкой. А увидев, махала ладошкой и строила смешные рожицы, прижимаясь приплюснутым носом к окну. Отец, приподняв шляпу, кланялся мне, улыбался и показывал сетку-авоську, полную разных продуктов. Тогда все ходили с такими сетками, которые растягивались до невозможных размеров. До размеров трёх больших арбузов — точно. Однажды отец уже с моей маленькой дочкой так разговорились, что забыли в троллейбусе сетку с нарядными туфельками для бальных танцев в коробке, с палкой сырокопчёной колбасы, банкой красной икры и коробкой дорогих конфет. Так сказать, это был обязательный продуктовый набор к празднику от профсоюза и администрации. Чем солиднее значилась организация, в которой человек работал, тем больше продуктов входило в этот набор. Вспомнили про сетку уже дома. Конечно, она пропала, не нашлась. Просто не могла найтись, потому что в сетке лежал невообразимый по тем временам дефицит. Представляю, как улупётывал с той злополучной сеткой, боясь застуканным на месте преступления, не пойманный «счастливым», неожиданно для себя вмиг ставший «богачом».

Моё «лежбище» на подоконнике обычно было завалено книгами, альбомами для рисования, тетрадками для записи умных мыслей и вообще всего того, что придёт в голову (из оригинального), конечно; куклами, плюшевыми мишками и разными другими игрушками. Здесь я мечтала о будущем, которое представлялось мне счастливым и прекрасным, о большой светлой любви и многодетной дружной семье (ну, по крайней мере, не меньше трёх ребятешек), о неперенных подвигах и героической профессии — космонавта (Юрий Гагарин был кумиром не только мальчишек), ну, на худой конец просто лётчицы. Здесь я строила планы на завтра, месяц, год, пять лет, на всю жизнь. Глядя во двор и наблюдая уличные сценки с моими соседями (незнакомые люди практически не заглядывали на нашу территорию), я открывала для себя многообразие реального мира. Он был не хуже и не лучше вымышленного. Эти миры существовали параллельно друг другу, шли в обнимку, но развивались (каждый) по своим канонам. Мой подоконник был и капитанским мостиком на корабле, лавирующим среди гигантских волн, и трибуной для выплеска негативных эмоций (с горячими слезами и бурными рыданиями), и жилеткой друга, которому можно было доверить всё самое тайное и сокровенное. Здесь я кого-то обвиняла, а кого-то оправдывала, прощала, миловала, действовала в мыслях так, как подсказывала моя детская колокольня.

Население наших близлежащих домов было крайне разношёрстным. И по социальному статусу: от интеллигентов дворянского происхождения, с голубой кровью, — до деревенщины без рода и племени, из холопов, удачно переехавших в город на строительство завода. И по образовательному уровню: от двух классов церковноприходской школы — до аспирантуры в

престижном вузе. По достатку: от шикарной автомашины «Волга» голубого цвета, мечты всех и каждого, — до самодельной, грубо сколоченной мебели в полупустой квартире, без ковров и торшеров. На национальность в нашем дворе никто тогда вообще не обращал внимания. Все были русскими — русский татарин, русский еврей, русский украинец. Дома они придерживались, наверное, своих обычаев (не наверное, точно), а во дворе среди детей добывали авторитет ловкостью, быстротой, силой, умственными способностями. И вот всё это разношёрстное население (так сказать, разноликий люд) умудрялось как-то дружно соседствовать в нашем не выдуманном мире. Особо дети.

Летом играли с утра до ночи: в вышибалы, в «штандер», в «цепи кованные», в прятки, в 12 палочек, в классики, в глухие телефончики, в дочки-матери, в магазин. Мальчишки — всё больше в футбол. Все вместе — в волейбол, в баскетбол. С мячом вообще были связаны десятки игр. И набивали об асфальт, приговаривая при этом: «Я знаю пять имён...» или: «Пять названий городов... рек... морей...». И бросали в стенку у дома, демонстрируя чудеса гимнастических и акробатических трюков. Пропустить мяч через ногу, поймать, через другую, снова поймать. Или из-за спины бросить и попасть точно в стенку. Или бросить мяч и, прежде чем его поймать, успеть прокрутиться вокруг себя. Самые ловкие успевали прокрутиться вокруг себя несколько раз и на лету ловили мяч в руки, не уронив его на тротуар. А чудеса на скакалках?! Не девочки, а артистки цирка. С одной верёвкой, с двумя, с тремя, с поворотами, задом наперёд... Самокаты делали сами из деревянных дощечек. В качестве колёсиков использовали подшипники. У многих были велосипеды. Причём никто не жадничал. Охотно давали покататься тем, кто ещё не обзавёлся «железным другом». Велосипеды были тяжёлые, громоздкие, неуклюжие. «Взрослые» — так их называли. Но это было средство передвижения. Настоящее! Ребята постарше катали на раме или на багажнике девочку, в которую были влюблены. А то и двух умудрялись — на раме и на багажнике. Были такие силачи-виртуозы. Если не доставали с сидушки до педалей по причине малого роста, тоже легко выходили из положения. Под рамой просовывали ногу. Смешно было наблюдать, как под таким ездоком виляет велосипед, зигзагами едет, а парнишка ещё на багажнике девочку везёт. Девочка визжит от страха упасть, но не слезит с багажника. Ей же нравится, что выбрали именно её среди других красавиц двора. А потом на скакалках она такой класс покажет, воодушевлённая вниманием влюблённого мальчика, что «мама не горюй»: и с переворотом, и задом-наперёд, и с убыстрением, когда глазами практически невозможно уследить за летящей вверх-вниз скакалкой, и много ещё чего. Вскоре стали появляться спортивные велосипеды с несколькими скоростями. Их обладатели потянулись в секцию на детский стадион, что процветал тогда на улице Кировградской. У меня была подружка Таня, тихая, скромная, до крайности застенчивая девочка, бросила музыкалку (никто от неё не ожидал такого поступка, в первую очередь родители) и занялась по собственному желанию профессиональными велогонками, добилась больших результатов. Правда, однажды сильно разбилась. Мы ходили её проводить: и в больницу, и домой. Вылечилась — и снова за велосипед, но уже с осторожностью. Результаты пошли на минус.

Во дворе у нас в разных концах, далеко друг от друга, стояли два деревянных стола. Один для детей — в настольные игры сражаться, книжки читать, рисунками делиться, стихи в заветную тетрадку записывать. Другой — для взрослых мужичков. Они каждый день после работы, если весенне-летне-осенняя погода позволяла, резались в домино. Это называлось «забить козла». Не могу сказать, что сильно шумели. И совершенно точно — не ругались. Забывшихся тут же осаживали. Кругом же были дети, женщины. А мамы наши по вечерам под грибочками-мухоморами на детской площадке

сидели на скамеечках. Разговоры разговаривали, шили, вязали, книжки читали, кулинарными рецептами делились. За малышнёй в песочницах приглядывали. Дети в ту пору любили в песке «секретки» зарывать, замки строить с подземными ходами, пироженки лепить. Ещё у нас во дворе стоял столб для «гигантских шагов», только вот верёвок на нём не было. Поэтому он простоял не у дел, без ребячьего шума и гвалта, совершенно без пользы лет двадцать, наверное. Мы уже съехали на новую квартиру, а он, бедненький, одинокий, так и остался стоять в грусти, тоске и печали. Зато в других дворах аттракцион «гигантские шаги» пользовался большой популярностью у молодёжи, вызывая самые бурные, самые неподдельные эмоции. А вот стол для настольного тенниса детворой нашего двора использовался очень активно. Мы такие шумные турниры устраивали, похлеще Уимблдона. Помню, что из соседнего дома с первого этажа в раскрытое окно наблюдал за нами в бинокль слегка подслеповатый будущий кандидат наук. Видно было, как хочется ему поиграть с нами, попрыгать с ракеткой в руках, забросив куда подальше учебники и научные книги. Но диссертация считалась святым делом, поэтому ни-ни, нельзя было ни на что отвлекаться, время поджимало. Единственное, что он мог себе позволить в качестве передыха от научных трудов, посмотреть на нас в бинокль с неподдельной завистью, как мы скачем и хохочем, подначивая друг друга.

Потом у моей подруги Наташи, наверное, одной из первых в городе появился бадминтон. И мы сразу же с неподражаемым азартом переключились на этот тогда ещё редкостный вид спорта. «Заиграли» ракетки до дыр, вернее, у одной порвали сетку, у другой сломали ручку. И жизнь без любимого бадминтона будто остановилась. Все ходили скучные и мрачные. Мама моей подруги работала врачом-невропатологом. В округе все её знали, уважали и любили. Потому в момент нашлись умельцы, которые заковали ручку в металлический штырь, а сетку заново переплели. И мы опять вернулись к своим спортивным сражениям, а жизнь вновь раскрасилась в радужные цвета.

Летом часто ездили на озеро Балтым купаться и загорать. С друзьями — на великах, с родителями — на автобусе. В воскресные дни приходилось выстаивать огромные очереди, чтобы втиснуться в переполненный автобус. Но однажды нам несказанно повезло. На автобусе стал работать сосед из дома напротив. Он сказал отцу: «Дядя Коля, не стойте в очереди. Пройдите с женой и детишками чуть вперёд по дорожке. Я вас прихвачу. Открою передние двери — вы и сигайте быстренько в салон!» Что мы и делали практически всё лето — сигали. И этот безобидный «обманчик» постоянно сходил нам с рук. Но в конце августа сосед, как обычно, открыл дверь, мы быстрехонько сиганули внутрь салона, но автобус не поехал — неожиданно для всех сломался. Чего мы только не натерпелись, горемычные, пока до дому пешедралом добирались...

Зимой бегали на лыжах по лесу, он у нас, можно сказать, под боком находился, катались с горок. Вечером на стадион «Уралмаш», на верхнее поле, — на коньках под музыку фигурять. Особенно это здорово получалось у моей подружки. У неё были настоящие фигурные коньки с белыми ботинками. Мы не завидовали — радовались и восхищались. А сами гоняли на простеньких «гагах». Ещё любили прыгать с гаражей в снег. Кто потрусливее да поосторожнее, прыгал с маленьких, а кто посмелее да побойчее — с высоких. Я обычно долго стояла на краю, прежде чем прыгнуть, всё принаравливалась, не торопилась. А моя подружка, топтыжка, не успеешь оглянуться, а она уже бултых — и в снегу. Устраивали санные поезда и гоняли наперегонки — какой поезд окажется скорым «Москва — Пекин».

Очень любили новогодние праздники. Мои родители обычно наряжали ёлку игрушечными персонажами из детских сказок. Фигурки, любые, мне нравились больше, чем просто шары для украшения, какими бы роскош-

ными и волшебными они ни были. Брат мой примеривал костюм зайчика с длинными ушами и хвостиком в виде пушистого помпончика. А я становилась снежинкой с маленькой коронкой на голове, в кружевном платье с блёстками. Из года в год мы не меняли с братом своих пристрастий. Никаких тебе принцесс, королей, лисичек, медведей с ежами или оленей, например. Заяц и Снежинка — и всё тут. На следующее утро после новогодней ночи в кровати у каждого лежал сладкий подарок, а под ёлочкой стояла нарядная коробка с книгами, игрушками, раскрасками, тёплыми свитерами или варежками, шарфиками, носочками. Мне нравилось распаковывать новогоднюю коробку, переживая ни с чем не сравнимое удовольствие, развязывать бантик в томительном ожидании, снимать крышку. Что же там на сей раз? И наконец: «Как красиво! Как здорово! Волшебство! Сказка!» — «Вы же у нас с папой чудные, самые замечательные дети! — это мама возвращала меня и брата с небес на землю. — Вот Дед Мороз со Снегурочкой и постарались! Порадовали! Со зверюшками приходили... Уж не стали вас будить...» Сколько мы с братом ни старались в новогоднюю ночь дожидаться сказочных героев, никогда не получалось, засыпали, утомлённые праздничной суетой, только голова касалась подушки. Чуть-чуть повзрослев, ждали уже не Деда Мороза со Снегурочкой, а маму с отцом, втихаря подкладывающих для нас подарки. Думала, вот открою хитрющие глаза и скажу: «Ага, мамочка, попалась!» Но она так и не попалась ни разу. Со временем я тоже стала дарить маме с папой подарки: «Ну, честно-честно! Дед Мороз со Снегурочкой просили вас передать. Вы чудные, самые замечательные, самые лучшие родители в мире!»

Я любила ходить на ёлку во Дворец пионеров на Вознесенской горке. Попасть туда, на Главную ёлку города, было непросто, как сейчас, предположим, очутиться в Кремле на новогодние праздники, но отцу удалось через знакомых приобрести один билетик. И брат благородно уступал его мне. Представление во Дворце было сделано всегда по отличному сценарию. Дед Мороз со Снегурочкой шеголяли в дорогих сказочных костюмах. Их всегда сопровождала многочисленная свита из зверюшек (зайчики там, лисички, олени, медвежата — тоже в правдоподобных костюмах). Убранство зала готовили, видимо, профессиональные художники, осветители, звукорежиссёры с хорошим вкусом. А сладкие подарки в конце праздничного представления были здесь самыми щедрыми в городе. Но я всегда чувствовала себя неудобно в этом большом холодном Дворце — как у Снежной Королевы за пазухой. Может быть, потому, что мне не хватало подружки. Или от чрезмерного ребячьего шума и гвалта, от постоянного мельтешения перед глазами прилизанных, чопорных девочек и мальчиков, читающих стихи и поющих песенки, чтобы обязательно понравиться Деду Морозу со Снегурочкой. Они так старались перед ними, так усердствовали, так лизоблюдничали, так желали быть замеченными и поглаженными по головке, что становилось нестерпимо скучно. Может быть, я просто завидовала талантам незнакомых ребят. А вот что мне очень нравилось во Дворце — так это кататься с горки. Меня удивляла и поражала сама эта горка — не ледяная, не снежная, как мы привыкли видеть зимой, а деревянная, с катушкой, покрытой скользким линолеумом. Получив подарок, я бежала в вестибюль, где меня ждал папа. И всю дальнюю дорогу до дома рассказывала ему взахлёб, ни на минуту не замолкая, о том, что видела на празднике. Много сочиняла и приукрашивала, возвеличивая свою роль до таких непревзойдённых размеров по части читки стихов или распевания песен, будто на этом празднике всё вертелось исключительно вокруг меня. А на ёлке в старом ДК «Уралмаш» я бывала по нескольку раз за время зимних каникул. Атмосфера здесь отличалась простотой, демократичностью, домашним уютом, отсутствием высокопарности и помпезности. Здесь было много знакомых лиц. Меня могли дёрнуть за косичку, запросто толкнуть в бок, а я в ответ небожно дать сдачи или удрать куда подальше.

Каждый год я ходила на ёлку к маминной подруге. У неё была большая квартира, в несколько комнат. В каждую можно было запросто забегать и прятаться, валяться на тахте или на мягком ворсистом ковре. А по длинным коридорам гости разъезжали на велосипедах. На кухне постоянно что-то варилось, жарилось, пеклось, скворчало и шипело. Это была территория прислуги. Тебе давали пирожок и выпроваживали побыстрее с глаз долой. В просторной гостиной величиной с нашу квартиру стояла небывалой красоты ёлка. На ней висели игрушки, как говорила хозяйка, «исключительно из Германской Демократической Республики», где служил в то время хозяин этой шумной квартиры. Да, таких игрушек в наших магазинах тогда не было. «Почему же?» — думала я. Нас угощали чаем не со сладкими пирогами, что было бы вполне привычным и обыденным, а с изысканными тортиками, пирожными, тающим во рту хворостом и миндальным печеньем. Хрустальные вазы на длинных ножках ломались от фруктов: яблоки, мандарины, апельсины и даже виноград с грушами. Приглашённая дама играла на фортепиано и прекрасно пела. Были здесь и клоуны, которые показывали фокусы и дарили воздушные шарики, а массовик-затейник предлагал поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах. Я любила с завязанными глазами срезать маленькими ножницами сувенирчики, подвешенные к верёвке, протянутой от одного стула к другому. И всё это торжество мамина подруга устраивала ради того, чтобы доставить удовольствие своей единственной дочери Ольге. Это была необыкновенной красоты девочка, просто Мальвина, с русой косой с блестящим бантом, как у дореволюционной гимназистки, в бальном платье, в белых колготках, которых не было тогда ни у одной знакомой девочки, и лаковых туфельках на небольшом каблучке (тоже большая редкость по тем временам). Я смотрела на капризную Оленьку, которой всё не нравилось, как на божество, сама ещё не понимая, что это такое, как на чудо из сказки. Со временем Оля почему-то сильно подурнела, но замуж вышла очень рано и за статного красавца. Они быстро расстались, разбежались в разные стороны, не родив детей. Оленька подурнела ещё больше. Один за другим ушли из жизни отец с матерью. Оленька поменяла огромную родительскую квартиру на комнатку в Москве, и больше я её не встречала. Слышала, правда, что второй брак с известным драматическим артистом тоже оказался неудачным. Ему показалась слишком маленькой жилплощадь супруги...

В этом же доме, где жила мамина подруга, на первом этаже располагалась детская библиотека. У нас дома было очень много книг — целых два книжных шкафа. Но мне хотелось ходить именно в библиотеку. Первая книжка, которую я взяла на абонементе, была «Красная Шапочка». На абонементе книжки выдавали на дом, а в читальном зале их можно было читать только в библиотеке. «Красную Шапочку» я прочла дома за 15 минут и пришла в библиотеку за новой книжкой. Библиотекарша, молодая красивая женщина, выдала мне новую книгу, «Приключения Тома Сойера», и сказала прийти не раньше, чем через неделю. Потом мы подружились с библиотекаршей. Я помогала ей оформлять стенды, обходить «должников» и даже мыть окна. За что мне дозволялось бывать на территории книжных фондов, в запасниках, я их досконально прошерстила с первой полки до последней. Знала, где какая книга стоит. Разбуди ночью — отвечу без запинки. Мне даже позволяли брать книги на дом из читального зала: на вечер и ночь. Потом к библиотекарше приехал жених из Ленинграда. Они вскоре поженились. Новоиспечённый муж постоянно торчал в библиотеке, всё критиковал и всем только мешал. Не понятно, где он работал, и работал ли вообще. Я его невзлюбила. А когда он раскритиковал моё сочинение, победившее в конкурсе на патристическую тему, не помню уже какую, раскритиковал за моей спиной, я перестала ходить в библиотеку, записалась в другую. Через год мне сказали, что библиотекарша умерла при родах. Муж, ставший вдовцом, уехал обратно в



Ленинград с новорождённой девочкой. А я, всё ему простив разом, собралась было помогать по хозяйству, гулять с девочкой, мысленно вымаливая прощение у библиотечарши. Не вышло, однако, не получилось...

Суровая морозная зима сменялась солнечной весной. А раз восходила на трон весна, значит, нам, детям, позарез нужно было пускать по мартовским и апрельским ручейкам самодельные кораблики с волшебными названиями, под гриновскими парусами мечты. И никто, и ничто, никакое наказание не могли изменить этот раз и навсегда заведённый кем-то порядок. Мамы ругали детей, больше для порядка, за мокрые ноги и холодные руки, лечили сопливые носы и охрипшее горло, выводили неприятные красные цыпки чудодейственным вазелином. Каждый из нас верил, правда не признаваясь друзьям, чтобы не обидеть, что именно его кораблик обязательно вырулит к морям-океанам, доплывёт до чужеземных экзотических стран и передаст местному населению привет от всего нашего дружного двора.

В моей семье было принято отмечать приход каждого времени года. Осенью морковка для супа резалась в виде кленовых листочков. Зимой мама готовила среди прочего пирожные «сугробики». Я тоже старалась украшать свою маленькую комнатку на подоконнике тополиными веточками с проклюнувшимися листочками, букетами ромашек и васильков, лохматыми астрами и гроздьями красной рябины, маленькими ёлочками с новогодним шариком. Я разглядывала эти приметы разных времён года и восхищалась матушкой-природой, создавшей столь совершенную красоту. А её кто создал — матушку-природу? Она чудо сама по себе или обычное явление, к которому надо давно привыкнуть? Я прекрасно понимала уже тогда, будучи ребёнком, что в природе заложена вера в ценность жизни, в то, что можно летать с расправленными крыльями. И каждый раз, преисполненная разных желаний и предчувствий, переживала «вместе с природой тот восхитительный миг, который хочется задержать на вечность». Так писал Ирвин Шоу, с творчеством которого я тоже познакомилась на своём подоконнике. Ирвин обрекал меня на вечную маету духа.

И летят облака,
а за ними душа
в неизведанный край,
где, конечно, есть рай...

(Людмила Кузнецова, моя одноклассница)

Оглядываясь в прошлое, в детство, я понимаю, что наши игры помогали взрослеть, скрашивая боль детских утрат, учили ценить дружбу, взаимовыручку, развивали таланты, фантазию, воспитывали порядочность, благородство, приучали держать слово, много трудиться, побыстрее дойти до цели. Да, это делали наши обычные детские игры. Благодаря играм мы становились сильнее, крепче, ловчее, организованнее и умнее, и при всем при том в этом было нечто большее, чем просто тупо качать в тренажёрке или на спортплощадке какой-то бицепс или трицепс.

Может ли подоконник объяснить целую жизнь, поправ непреодолимые законы времени и пространства? Наверное, нет. Скорее всего, нет. Да просто нет. Но то, что он открывал отчаянной голове и безудержному в порывах сердцу другие берега, — это точно. С высоты подоконника начинались во мне ответы на разные философские вопросы, как ни парадоксально, да просто невозможно звучит данное заключение. И детство у меня никак не закончится — опять же из-за подоконника. И воспоминания тоже из-за него не оставляют меня в покое, «накатывают волнами, только успевай выныривать».

Сию я на подоконнике и вижу, как моя подруга бежит в музыкалку с нотной папкой. Вот метроном сейчас есть у многих пианистов, даже начинающих, даже у школяров, даже дома, в личном пользовании. Инструмент многим не по карману купить, а метроном — пожалуйста, запросто, как и стул или кресло с вертящимся сидением (можно повыше поднять, а можно пониже опустить). Только вот нотную папку у бегущей сегодня в музыкалку девочки я, наверное, лет сто уже не видела. Сейчас студенты-художники и студенты-архитекторы, ходят с огромными папками — это да. На них заглядываются. Когда же я была девочкой, все заглядывались именно на нотную папку, именно к нотной папке относились с особым благоговением. Именно по ней определяли, что девочка учится музыке. А учиться музыке тогда было чрезвычайно престижно. Такую девочку сразу же начинали уважать. И её родителей — тоже, заочно. Надо же, смогли выделить огромные деньги (500 рублей), чтобы купить ребёнку пианино, при зарплатах в основном 80, 100, 120, ну, 140–160 рубликов. И каждый месяц ещё плату за обучение дочери исправно вносили в бухгалтерию музыкалки. Никто не считал эти деньги пустыми тратами, даже если дети не становились известными музыкантами. Если не дочь, так, может, внучка или правнучка... Мой папа вкалывал на трёх-четырёх работах (неофициально, конечно), чтобы семья могла жить достойно, и всё же смог купить инструмент для меня только в кредит. Тогда было принято в обществе учить девочку музыке. Вот, например, среди моих подружек почти все учились в музыкалке или у частных педагогов. Поэтому отец с мамой не захотели отставать от других родителей. Мне же больше всего нравилось ходить с нотной папкой. Казалось, что она украшала меня больше, чем белые кружевные фартучки и атласные ленточки. А первым моим педагогом по фортепиано стал Владимир Керский, недавно вернувшийся на родину после долгого жития в Шанхае. Одна комната в его обычной квартире на бульваре Культуры на Уралмаше была полностью отдана чёрному блестящему роялю. И ещё в ней было много китайских ваз, больших и маленьких. Одна большая стояла на крышке рояля...

На первом этаже в нашем подъезде, в маленькой однокомнатной квартирке, жила небогатая семья, в которой бабушка-трудяга воспитывала внуков-сирот: мальчика и девочку. Отдать девочку в музыкалку у бабушки не было возможности, но музыку они любили, слушали, как играют соседи, взрослые и дети. Девочка в этой семье одевалась очень скромно, если ни сказать — бедно. Но в своих простеньких приталенных платьях по тогдашней моде, сшитых бабушкой, смотрелась изящно и трогательно. На фигуристую девушку засматривались представители мужского пола разных возрастов. Со своего подоконника я это видела собственными глазами. Соседские тётушки переживали за сиротку — как бы чего не вышло. Не вышло. Валюше сделал предложение молодой инженер с Уралмашзавода, живший по соседству в большой просторной трёхкомнатной квартире, талантливый парень, подающий большие надежды. Вскоре его отправили в командировку на несколько лет в Индию. Валюша, как верная и преданная жена, отправилась вслед за мужем. Индия так Индия... Вернулась на родину совершенно другим человеком. Это была уже не застенчивая девушка, а уверенная в себе грандама, хорошо одетая и причёсанная. В Индии она не теряла зря времени — получила образование, занялась спортом, научилась классно готовить. Вот повезло сироте, — судачили кумушки, теперь уже наоборот. Однажды мы случайно встретились с Валюшей в трамвае. И пока ехали по своим делам больше часа, моя соседка рассказывала о своей жизни в Индии. В те времена за граница была закрыта для большинства советских людей. Поэтому весь трамвай попритих и с удовольствием слушал про Индию.

Но больше всего я была дружна с Нелей из шестой квартиры. Я ещё училась в школе, она — уже в институте, в УПИ, на вечернем отделении,

совмещала работу с учёбой. Разница в возрасте не мешала нам дружить. Я всегда приглашала Нелю в гости на день своего рождения. Она дарила мягкие игрушки, до сих пор помню, какие они были забавные и смешные. Сразу становились любимыми. Иногда Неля брала меня за руку и вела в магазин «Детский мир»: «Выбирай себе подарок!» Я знала, что денег у Нели не очень много, поэтому старалась сдерживать свой пыл. Представляете, сидят за праздничным столом мои гости, дети разных возрастов, и одна совсем взрослая девушка, на голову всех выше. Её это нисколько не смущало. Неля всегда хотела иметь младшую сестрёнку в семье, так что я вовремя подвернулась, подросла. Отец у неё умер довольно рано. Дядю Диму, так звали Нелиного отца, я тоже очень любила — весёлый, жизнерадостный, общительный человек. Всегда «козу» мне делал или «конфетами» угощал. Тетя Поля, вторая его жена и мама Нели, была удивительно спокойной, сдержанной, доброжелательной и трудолюбивой женщиной. От первой жены, отошедшей в мир иной, остался взрослый сын Борис. После смерти отца он будто «с катушек слетел» — начал пить, дебоширить, бросался с кулаками на сводную сестру и мачеху. Они закрывались в дальней комнате на замок, а Борис ломился к ним в дверь с угрозами. Тётя Поля и Неля жалели парня — милицию никогда не вызывали. Стены в доме были толстые, практически звуконепроницаемые, умели военнопленные немцы строить, поэтому соседи могли и не слышать «Борискиных» издевательских криков. Единственный, кто слышал всю эту вакханалию, был, конечно же, мой отец. По крайней мере, он один, не страшась попасть под горячую руку выпивохи, пытался утихомирить «вояку» разговорами по душам, заваривал крепкий чай, укладывал спать на диван. Когда-то отец дружил с дядей Димой, за рюмкой водки они вспоминали войну, помогали друг другу по хозяйству общими усилиями, если требовалась мужская рука. И Борис, думаю, всё это помнил, настоящую мужскую дружбу, крепкую, основательную, может быть, поэтому прислушивался к наставлениям моего отца: «Дядя Коля плохого не посоветует!» Да и вообще считал нашу семью, как он однажды выразился, «настоящей семьёй, которая делает человека сильным и счастливым». По вечерам, сидя на подоконнике, я с нетерпением ждала Нелю, боясь пропустить её возвращение с учёбы или работы, а увидев, радостно махала рукой. Неля помогала с математикой, физикой, химией. Мы правильно решали самые сложные задачки, за что мне ставили в школе пятёрки и приводили в пример на родительских собраниях. «Дай хоть ей умыться по-человечески да поужинать», — просила тетя Поля, открывая мне дверь. Пока Неля приходила в себя после напряжённого дня, я тихо сидела на диване и изо всех сил старалась «молчать», закрыв рот на замок. Но чаще всего меня приглашали за стол, и я с превеликим удовольствием уминала кулинарные шедевры хозяйки. Когда Неля уезжала в командировку, с задачками мне помогал справляться Борис. И тетя Поля, его мачеха, тогда говорила: «Он же очень способный парень! Ему бы только в институт поступить...» А я добавляла с не по-детски назидательным тоном и с мольбой в голосе: «Ты только не пей, завтра мне снова твоя помощь понадобится!» Борис — пьяный и Борис — трезвый — это были два совершенно разных человека, даже незнакомых друг другу, никогда не состоявших в родстве. Нечто подобное описывал у себя в книге и писатель Довлатов как странное явление. Однажды над Борькой взяла шефство красивая девушка — это было её комсомольским поручением от завода. Тетя Поля не могла нарадоваться: парень стал заниматься спортом, ходить в театр, читать газеты, помогать по хозяйству и в саду. Правда, исход этого шефства в итоге оказался плачевным. Девушка вышла замуж за порядочного парня, а Борис запил окончательно и бесповоротно. Не помню, что с ним стало... А вот Неля удачно вышла замуж за прекрасного человека, устроилась на хорошую работу, переехала жить в центр города. Я даже помню её именно в

те годы — счастливую, ясноглазую. И лицо мужа помню — благородное, интеллигентное. Помню, как он провожал её домой ещё женихом, а потом возвращался в свое тридевятое царство, тридесятое королевство. Глубокой ночью — и не боялся же... Однажды у нас во дворе подрезали деревья. И мы собирали с Нелей веточки с зелёными листочками, чтобы украсить столы на Первомайские праздники в студенческой столовке и в общежитии. Я так была рада, что хоть чем-то смогла помочь ей, хоть как-то поблагодарить за внимание и заботу, почувствовать себя в роли действительно младшей сестрёнки.

А за помощью по английскому языку и в школе, и в университете приходилось обращаться к соседке с первого этажа Изабелле Ивановне. Она преподавала язык в техникуме. Это была удивительная женщина, умная, красивая, эрудированная, начитанная, интеллигентная, с прекрасными манерами. На любой самый заковыристый вопрос я тут же получала полный и развернутый ответ. Она всегда была безукоризненно одета, ухожена от причёски до ногтей. Муж её боготворил, обеспечивая хороший достаток в семье. Соседи любовались чужим счастьем. Изабелла отличалась строгостью в общении, не допускала панибратства, но заносчивости, высокомерия за ней не наблюдалось. Деликатность — это да, ещё тактичность, сдержанность. Хладнокровие и выдержка — в критических ситуациях. А вот жеманства — не припомню. Моя подруга дружила с дочкой Изабеллы — Таней. Мой брат — с её сыном Витей. Вспомнила, что моя мама часто стригла сына Изабеллы, когда он был ещё маленьким, на нашей кухне перед большим старинным немецким зеркалом, «покрытым муаром времени». Потом Витя учился в Рижском авиационном институте. И уже ничего не боялся. А в детстве немного трусил ходить в парикмахерскую, поэтому его приводили на стрижку к моей маме, у которой были волшебные, ласковые руки. Когда-то она работала парикмахером. И благодаря своим способностям познакомилась с моим отцом. У того была такая роскошная шевелюра, с которой могла справиться только она, как специалист высочайшего класса. А я, если можно так сказать, дружила с Верой Васильевной, бабушкой детей по материнской линии. Историю этой семьи я не знаю досконально, но сердцем чувствую, что Вера Васильевна происходила из дворянского рода. У неё в разговоре часто проскальзывали французские словечки. Она прекрасно пела и играла на фортепиано. Инструмент был точно старинный, с двумя подсвечниками. То, как она одевалась, причёсывалась, носила брошку, а также её благородные манеры, скромная изысканность, «породистость» во всём облике, неспешная походка с прямой спиной и высоко поднятой головой, тихий мелодичный голос, постоянная книжка в руках со стихами навевали мысль, что она выпала либо из Серебряного века, либо из тургеневского «Дворянского гнезда». Отец моей подруги, хирург, делал Вере Васильевне операцию, когда её привезли в больницу с сильнейшим острым приступом. У нас в районе хороших врачей все знали тогда в лицо и по фамилии. Среди хирургов — Берестецкого, Юдина, Сухоручкина. Но чуда, к сожалению, не произошло. Вера Васильевна умерла. Я случайно подслушала разговор взрослых. После вскрытия печень просто распалась сама собой в руках хирурга. Вместе с соседями я проводила Веру Васильевну в последний путь. Вспоминала, как она играла нам с отцом на своём старинном фортепиано с подсвечниками, угощала чаем с печеньем в виде грибочков-маслят, испечённых собственными руками. Когда семья уезжала в отпуск, мы часто навещали к Вере Васильевне в гости — спрашивали про здоровье, не надо ли чего купить или чем-то помочь по хозяйству. Моя мама летними вечерами часто шугала ребятню, расшалившуюся под окнами: «Идите на детскую площадку играть. Не мешайте Вере Васильевне отдыхать!» А Вера Васильевна как-то сказала, что очень любит детский гамон под окнами, что под ребячьи голоса ей хорошо засыпать и радостно просыпаться, что они не дают ей забыть — она ещё жива, она ещё на этом свете.

Ну, а я со своего подоконника каждый раз видела, как к нашему подъезду, к крыльцу, подъезжает после командировки муж Изабеллы на служебной машине. Она уже ждёт его при полном параде. Леонид выходит из машины с букетом цветов, с «Киевским» тортом, её любимым, галантно целует руку. Тётушкам в нашем дворе казалось, что они не на скамейках под грибком сидят на детской площадке, а в зале кинотеатра и смотрят иностранный фильм про любовь. По крайней мере, это умиление было написано у них на благостных лицах. Не зависть даже, а именно умиление. И растворившийся в воздухе вопрос никогда не имел ответа: «Ну, почему мой муж не такой? Не кавалер? Почему я не Изабелла?»

Мои родители любили ходить на спектакли в театр оперетты. Фамилии актёров (Викс, Маренич, Мотковский, Виноградова, Сытник, Жердер, Курочкин, Евдокимова, Энгель и Энгель-Утина, многие другие) были у нас в семье на слуху. Когда родители уходили в театр или в гости, с нами, с детьми, со мной и с братом, оставалась Аля, взрослая дочь маминой подруги Лёли из соседнего дома. А вот у моей подруги родители предпочитали ходить в оперный театр. Сначала у них была домработница, няня, помощница по хозяйству. А потом, когда девочки подросли, старшую дочь они стали брать с собой в театр, а с младшей оставляли меня. Я была отличницей, а потому мне доверяли, считали серьёзным человеком, способным остановить любые проказы и баловство. Как же они все здорово ошибались... Только родители ступали за порог, как для нас с подружкой начиналось самое настоящее раздолье, будто мы находились не в трёхкомнатной квартире, а где-нибудь в бескрайнем поле или на лугу. Мы носились друг за другом, играли в ляпки, в прятки, придумывали себе бальные наряды и причёски, разыгрывали по телефону друзей. Не забывали при этом хорошо подкрепиться. Большой по тем временам холодильник «ЗИЛ» (завод имени Лихачёва) в семье подружки всегда был туго набит продуктами, до отказа, под завязку. В нашей семье считались роскошью всякие там колбасы, окорок, буженина. Мама предпочитала что-нибудь готовить сама из мяса, курицы, рыбы, так было экономнее по деньгам. А в семье подруги с более высоким достатком, где все работали днями и ночами, от этого добра в холодильнике у меня просто разбегались глаза в разные стороны. Ещё в этой семье меня приучили есть творог с клубничным вареньем. А когда мы спешили на улицу, я всегда выручала подружку — втихоря доедала за ней кашу. Потому что Наташина мама говорила: «Пойдёшь гулять после того, как съешь кашу». И как только она выходила с кухни, я тут же незаметно уплетала за обе щёки зловредную для подружки, но в общем-то безобидную, любимую для меня манную кашу. И подруга показывала вернувшейся маме пустую, подчистую вылизанную тарелку.

Больше всего мы любили играть, сидя на полу, в дочки-матери, в дом, в семью. Нашими персонажами были шахматные фигурки. Король — отец, королева — мама. Пешки — малые дети. Слоны — старшие. Коней мы запрягали и ездили в каретах на бал. Для мебели использовали домино и шашки, разные коробочки. Перевернутая тура становилась торшером. Мой сын в детстве говорил: «Шортер». А неперевёрнутая тура — дедушка в гости приехал. В наших играх не было неполных семей. Обязательно присутствовали отец с матерью, видимо, по подобию наших собственных семей, и много детей, иногда до десяти. Наши семьи ходили друг к другу в гости, и что мы только при этом не придумывали, какие только предметы не использовали. Своей игрой занимали всю детскую комнату. Иногда заглядывала мама подруги, приносила тарелку с пирожками, и мы рассказывали ей взахлёб, что у нас тут происходит, кто родился, кто женился, кто машину купил и повёз всех к морю. За то время, что я знала маму подруги, а умерла она уже в солидном возрасте, в 90 лет, не было случая, чтобы София Алексеевна повысила на меня голос или каким-то образом задела моё человеческое достоинство. Не было никаких оскорблений

или унижений. Я всегда чувствовала себя комфортно в её обществе. Сколько подарков от разных людей давно канули в Лету, а маленький бюстик Владимира Маяковского, подарок от неё на мой день рождения, мы с поэтом в один день родились — 19 июля, до сих пор стоит на книжной полке, и ничего с ним не делается, наверное, уже лет пятьдесят — не меньше.

Летом мы с подружкой любили загорать в саду под яблонями, читали книги, рисовали, вышивали, наряжали кукол. Садовыми участками в то время обзавелись многие соседи. Земля под садовыми участками ничего не стоила. Моему отцу много раз предлагали землю в разных местах: и совсем близко от дома, и чуть подальше, очень далеко. Отец постоянно отказывался. Когда-то давно его родителей, как зажиточных крестьян, сослали в казахстанские степи в ссылку, отобрав всё имущество, дом, скотину, мастерскую по пошиву и ремонту овчинных тулупов, пекарню и, по-моему, мельницу. Но, даже оставшись сырыми, голыми и босыми, им и на новом месте удалось развернуться и создать крепкое хозяйство. Может быть, мой отец боялся повторения прошлого, когда про них говорили «кулачье проклятое, вражины», поэтому и не брал землю.

Сидя на подоконнике, я видела, как возвращаются из сада нагруженные сумками, рюкзаками, тележками наши соседи — дружная еврейская семья Раппопортов. Мама каждый год покупала у них всё необходимое для заготовок на зиму: ягоды, фрукты, овощи, зелень. Перед тем как раскладывать в стеклянные банки варенье большой серебряной ложкой из специального, кажется, медного тазика с длинной деревянной ручкой, она тихо говорила: «Ну, с богом!» Такие тазики с длинными деревянными ручками я часто видела в фильмах про чеховские времена. Почему-то у мамы никогда не было взорвавшихся банок или заплесневелого ближе к весне продукта. Варенья, джемов, повидла, салатов, солёных огурцов и помидоров, кабачковой икры, хреновины нам хватало на целый год, как раз к новому урожаю. Мама записывала в тетрадку всё, что она покупала у Раппопортов в кредит, сколько это стоило, суммировала, а потом в течение года потихоньку-помаленьку возвращала деньги, в аккурат до следующего сезона. И всё повторялось вновь. Соседи никогда не проверяли мамину тетрадку — доверяли ей безоговорочно, «больше, чем себе». И она от них ни одной копейки не утаила, это уж мне доподлинно известно. Таков был мамин кредит, один на весь год. Не очень большой, совсем не официальный. И платить по нему можно было тогда, когда появлялись деньги.

У отца же было два больших и официальных кредита: за пианино и за подписку на газеты и журналы. И платить по ним следовало обязательно каждый месяц. Последний взнос по второму кредиту он делал тоже незадолго до новой подписки. В те годы каждая семья должна была беспрекословно, безоговорочно на что-то подписаться. Формально не принуждали, конечно, но фактически без подписки с вами никто бы не стал разговаривать ни в цехоме, ни в профкоме: ни по поводу новой квартиры, ни по поводу места в детсадишке, ни по поводу путёвки в санаторий. Фактически подписка была обязательной. Папа же добровольно так много выписывал газет и журналов, что наши соседи просто диву давались, изумлялись и удивлялись и не могли понять, зачем это было ему надо. Хотя постоянно просили почитать какой-нибудь журнал, ту или иную газету. Отец никому не отказывал. Более того — часто рекомендовал, зная вкусы окружающих его людей. Круг интересов папы был чрезвычайно обширным и разносторонним: «Известия», «Литературка», «Новый мир», «Иностранка», «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Работница», «Крестьянка», «Советское фото», «Крокодил», «Здоровье», «Журналист», местные газеты и журналы и много ещё чего. Потом стал «выкапывать» редкие издания, например, «Чешское фото». Бумажные книги покупали тогда многие. Страсть к чтению охватила интеллигентных людей. Не находя ответов на сложные

жизненные вопросы в эпоху застоя, люди искали их в книгах, в журналах, на встречах с писателями и поэтами. Конечно, были и такие «книгочеи», кто покупал многотомные издания классиков под цвет обоев в гостиной. В библиотеке отца встретила потом редчайшие книги, авторы которых были мало известны, я в этом уверена, широкому кругу читателей. Он находил такие книги в «Букинисте», на барахолках, иногда даже на помойках. Видимо, читал, а уж только потом покупал. Знаю, что на помойке он нашёл книжку стихов Арсения Тарковского, внешний вид у неё оставлял желать лучшего, но содержание захватило отца настолько, что не ушёл с помойки, пока не прочитал книгу до конца, благо она была тоненькая, но мама тем не менее уже успела его потерять. Значит, папа обладал (так я думаю) хорошим художественным вкусом от природы, в чём-то даже изысканным. По числу подписных журналов и газет отец тоже был впереди планеты всей, в числе лидеров или в числе избранных, как кому нравится. Он не хотел никому и ничего доказывать. Просто выписывал то, что нравилось, что заинтересовало, показалось любопытным. Он всегда любил читать: после работы перед сном, по субботам и воскресениям, особенно под аккомпанемент осеннего дождя или под завывания январской вьюги, кутаясь в тёплый плед, конечно, на отдыхе в санатории. Даже в последние дни жизни, когда уже не вставал с постели, читал...

Раньше на входной двери каждой квартиры висел почтовый ящик. И почтальоны с тяжелой огромной сумкой наперевес, обычно это были женщины, обходили этаж за этажом, раскладывая в почтовые ящики многочисленную корреспонденцию. Со строительством высоток почтовые ящики стали устанавливать на первых-вторых этажах. И сразу, кстати, начались пропажи, жалобы от жильцов. Для отца в пору квартирных почтовых ящиков сделали исключение. Его корреспонденция не входила ни в один почтовый ящик, даже в два, даже в три. Он сам заходил на почту после работы — благо было по пути — и забирал все свои газеты и журналы, письма, открытки, ему много писали друзья, родственники, извещения на посылки и бандероли, какие-то счета. Когда отца не стало, многочисленные письма с открытками как-то сами собой перевелись. Мы постепенно растеряли адреса его друзей, приятелей, родственников... Переписка сошла на нет. И это было очень грустно. Отец слыл мастером по написанию «весточек», недаром же любил читать письма Чехова, Тургенева, Толстого, даже что-то переписывал у них, хитрюга. Часто бывало, что, пока папа решал на почте свои дела, я усаживалась за большой стол и, макая перо в чернильницу, шариковых ручек тогда не было, заполняла бланки телеграмм: «Дорогой дедушка! Мы с папой на почте! У нас всё хорошо! Приезжай к нам в гости! Нет, лучше мы к тебе приедем! Береги здоровье!» Ну, и всё было в таком же духе. Отец брал мои телеграммы домой, не считал их белибердой, давал почитать маме, и они весело шутили по поводу первых дочкиных сочинений: «Писательницей будет!» А когда почтальон приносил домой настоящие телеграммы, иногда даже ночью, потому что доставлять их нужно было срочно, всего за несколько часов, родители обычно пугались, как бы чего плохого не случилось. И с облегчением вздыхали, когда выяснялось, что друзья приглашают их на свадьбу детей или на юбилей или сообщали, что будут проездом, нужно встретить. Сон моментально улетучивался куда-то, и родители на кухне обсуждали до утра, как встретить, чем угостить, какой подарок приготовить и т. д. На нашей почте были установлены кабинки международной телефонной связи. Мы могли позвонить в любой город или в районный центр. Но перед этим тоже нужно было отправить телеграмму, предупредить тех, кому мы звонили, чтобы в назначенный час они пришли на свою почту у себя в городе. И когда удавалось вовремя состыковаться, и та и другая сторона испытывали самую настоящую искреннюю радость (да ещё если новости были приятные) по поводу «невиданного технического прогресса».

На садовые участки соседи добирались в основном пешком или на велосипедах. Автомобили могли купить единицы, да и не проехать было тогда по бездорожью, по лесным тропкам. В нашем доме не оказалось ни одного такого счастливица с автомобилем. В доме напротив владельцем голубой «Волги» стал военный лётчик, вышедший на пенсию. Он водил машину в шикарных перчатках из тонкой натуральной кожи, пояснила мне мама. Для местных тётушек и дам это считалось особым шиком, чем-то иностранным, заграничным, запредельным, а потому особо желанным. Думаю, все они были влюблены в лётчика, но он оказался однолюбом, верным и преданным жене. В лётчика были влюблены и местные мальчишки. Иногда он катал их по двору на своей «Волге». Рассказывал о профессии. Моя мама подружилась с женой лётчика, и мы ездили вместе с ними за грибами, за ягодами, один раз даже на рыбалку. Помню, какую гордость я испытала, проезжая мимо одноклассников и делая вид, что это наша «Волга». Но чаще мы ездили за грибами на грузовике вместе с папиными сотрудниками. Я брала с собой подругу Наташу. Не помню случая, чтобы кого-то покусал клещ или ядовитая змея.

Дядя Володя Карих (машина так и осталась для него несбыточной мечтой) добирался до сада на велосипеде. Участник Великой Отечественной войны, бывший разведчик, преодолевал туда и обратно, крутя педали, огромные расстояния, да ещё нагруженный разной поклажей. Выносливый был мужик, сильный, высокий, плечистый. Однажды в лесу на пустынной дороге столкнулся с пьяными бандитами. Они сбили его с велосипеда. Видимо, хотели покуражиться. Да не на того напали. Разведчику удалось подняться, встать на ноги. Слегка кружилась голова, и сильно болела спина. Но страха не было. «Что ж, пора вспомнить, как ходил в штыковую атаку на фрицев», — сказал дядя Володя. Вовремя успел схватить лопату и отбить первый удар.

— Ну, дед, сейчас мы из тебя отбивную сделаем... Готовься...

— Мало каши ел, сопляк!

И пошёл молотить тяжёлыми кулачищами, будто снова на войну попал. Еле утихомирил злость, когда увидел двух лежащих на земле и одного позорно убегающего. Собрал вещи, не спеша сел на велосипед и покатил домой знакомой дорогой. Пришёл к моему отцу: «Выпить есть? Что-то меня немного колотит...» И рассказал папе свою историю.

— А вдруг перегнул палку?

— Брось даже думать об этом. Так им и надо — подонкам. Стонали — значит, живы. Трусливый вернётся — поможет друзьям.

Мой отец пытался успокоить соседа, как мог.

— Ты пока на этой дороге не появляйся один. Воздержись...

— Я? Да я не я буду, если твоим советом воспользуюсь, Коля!

И правда не воспользовался. Так и ездил той же дорогой до сада. А вот хулиганов тех больше не встречал на своём пути.

Дочь его Алла как-то попросила в день рождения отца, я тогда на радио работала, в качестве музыкального подарка передать песню Баснера и Матусовского «На безымянной высоте» из кинофильма «Тишина» — про тех троих, оставшихся из восемнадцати в живых.

Мне часто снятся все ребята —
друзья моих военных дней,
землянка наша в три наката,
сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
стою на огненной земле,
у незнакомого посёлка,
на безымянной высоте.

Слушал песню дядя Володя и плакал, не стесняясь слёз. Хотя никто раньше не замечал за ним особой сентиментальности. И было это незадолго до кончины нашего соседа...

Однажды поздно вечером хулиганы-подростки напали на моего отца в двух шагах от дома.

— Эй, закурить дай...

— Я не курю. И вам не советую.

— Ах, ты ещё и не куришь... Ты ещё чего-то советуешь...

Ударили по голове сзади, со спины, подло. Обшарили карманы у бесчувственного человека — забрали деньги, сняли с руки часы, украли дорожную шапку, которая и спасла отца от тяжёлых последствий. Соседка, возвращаясь с работы, увидела и побежала к маме.

— Там Николай Захарович лежит в крови...

Вызвали «скорую». К счастью, всё обошлось благополучно, без последствий. Брат с друзьями нашёл этих подростков. Милиция не могла найти, а брат нашёл очень быстро. Вычислил. В подвале они ночевали — беспризорники. Не говорит до сих пор, какой «разговор» между ними произошёл.

— Не встревай. Это мужские дела...

Отцу молча вернул часы — подарок фронтовых друзей на юбилей. Брат с друзьями занимался спортом профессионально. Дослужился до кандидата в мастера спорта СССР по плаванию. Добиться большего помешали проблемы со зрением. А я дослужилась до первого разряда по плаванию. Нас тренировали в бассейне «Уралмаш» классные специалисты, очень жесткие, беспощадные, но классные: Тучкова, Сумароков, Криницын... Целая плеяда классных специалистов. Таких потом больше не было. Я очень любила и своего первого тренера — Галину (фамилию уже не помню). И родители наши тоже её очень любили, не давали особо скучать по дому. Она приехала на работу в уралмашевский бассейн по распределению сразу же после окончания в Ленинграде института физкультуры и спорта. Красивая, стройненькая, в модной шубке — такой я увидела её первый раз на подходе к бассейну.

Поначалу мы занимались плаванием вместе с подружкой. На тренировки ходили с маленькими чемоданчиками, сейчас такие не выпускают. В них умещались: купальник с шапочкой, шлёпки, большое полотенце, в него можно было завернуться и не трястись от холода после бассейна, ещё мыло с мочалкой, расчёска и сувенир на удачу. А в чемоданчике подружки всегда лежали вкусные бутерброды, на них мы набрасывались сразу же после плавания: с волчьим аппетитом — я и с кроличьим — она. По дороге домой заходили перекусить в столовку — «червячка заморить», потому что голод не оставлял активных спортсменок даже на полчаса. Да и дома не отказывались от обеда или ужина. Растущий организм, превращающийся из детского в девичий, требовал дополнительного топлива. Я ходила ещё в лыжную секцию к Горностаевой, легендарному мастеру спорта. Она специально пришла по мою душу в школу к учительнице физры Анфисе Николаевне, чтобы та уговорила меня заниматься беговыми лыжами. Ну как я могла отказать легендарной спортсменке?! Никак. Помню, первый раз пришла в лыжную секцию в полушубке, отороченном красивым мехом. На фоне мужеподобных девиц смотрелась, конечно, вызывающе кокетливо. Мне нравилось, а они морщились. Горностаева смерила меня удивлённым взглядом, но ничего не сказала. Так я и бегала в нём, пока он окончательно не порвался. А легендарная спортсменка говорила тогда всем: «Видите, лыжами увлекаются даже очень красивые модные девушки!» В школе я занималась также волейболом. Удар у меня был мощный, силушки хватало от природы. Противник на другой стороне спортивной площадки просто отбегал в сторону, когда мяч подавала я. Боялся, видимо, быть сбитым или травмированным. Пробовала себя в баскетболе. Тогда мужская уралмашевская сборная по баскетболу гремела на

всю страну. Тон задавал Александр Кандель, в которого, кстати, были влюблены все мои подружки и особенно я. Мы, девочки-пловчихи, тоже пользовались особой популярностью у местных мальчишек. Летом, когда двери бассейна открывали настежь для проветривания, возле них собирались толпы парней. Для нас это было дополнительным стимулом к рекордам и победам. Ох и «пахали» же мы тогда на виду у всех! Однажды в Летнем парке я на спор решила пригласить на танец местного «короля» — мастера спорта СССР по плаванию. Он был такой единственный в городе. Не скажу, что очень красивый, но слава ходила за Славой по пятам. Парень отказал мне, правда, вежливо, деликатно. Но я очень расстроилась. Не потому, что проиграла спор, а потому, что на него не подействовали мои чары. Очень быстро забыла эту историю, а Слава вдруг стал за мной ухаживать. Но мне его ухаживания уже совсем были не нужны. Не знала, как отделаться от парня, чтобы не обидеть. Повезло, что он переехал в другой город, лучшие условия для тренировок предложили, — очень далеко. У него были родственники — два парня-двойняшки, но повторить успех старшего брата ни один из них так и не смог. Однажды, побывав у Славы в гостях, привезли мне шикарную коробку конфет, правда, открытую и уже початую. Передали, опустив глаза, видно, что стыдно было за своё недостойное поведение, за невыдержанность. Я выставила коробку с конфетами на всеобщее угощение, так они и там изрядно откушали.

Моя подружка увлеклась другими видами спорта, нежели я. Ей купили дорогие фигурные коньки с белыми ботинками, да ещё по телевизору стали показывать чемпионаты мира, где побеждали наши спортсмены, вот она и полюбила от всей души фигурное катание. И у неё неплохо получалось делать разные прыжки, «дорожки». Я бы так не смогла, даже если бы у меня были дорогие фигурные коньки с белыми ботинками. А летом она резалась в бадминтон. И это тоже неплохо получалось у «божьего одуванчика из музыкальной школы». Иногда я так по-доброму подшучивала над подругой, но шутить над ней другим ребятам ни за что бы не позволила.

В нашем дворе было много спортсменов. Я со своего подоконника видела, как бежала на тренировку моя соседка Люда Крестьянинова, ставшая потом мастером спорта СССР по баскетболу, игравшая за сборную страны на мировых чемпионатах. Как готовил мотоцикл к соревнованиям парень из дома напротив Василий, тоже ставший мастером спорта, только по мотогонкам. Постоянно получал травмы, порой очень серьёзные, но из своего любимого спорта не уходил. Тренировался и тренировался, радовался успехам и победам. И мы за него радовались.

У Василия был родной брат Павел, психически не совсем здоровый человек. Василий не позволял над ним подшучивать никому, над его неадекватностью, как сейчас бы сказали. Трогательно о нём заботился, помогал в быту. Иногда тёплыми летними вечерами, когда Вася уезжал на соревнования, Павел выбегал во двор и, размахивая руками, кричал в тёмные окна домов. Всё, что в голову придёт, в основном на политические темы. Павел обожал говорить, спорить на политические темы. Хлебом не корми — дай только поговорить о политике. Вот такое у него было странное пристрастие. Выберет себе «жертву» и долго не отпускает, пристанет как репейник к человеку: «А ты как думаешь? Скажи, что я прав!» По вечерам во дворе под окнами соседей он изображал выступающего на трибуне оратора.

— Царь был? Был. Скинули. Ленин был? Был. Скинули. Сталин был? Был. Скинули. Хрущёв был? Был. Скинули. И Брежнева скинут...

«Психический», но безобидный Паша в итоге оказался провидцем. Сейчас меня поражает, что никто из соседей на Пашу-горемыку не настучал в соответствующие органы. И милицию никто не вызывал, когда Паша особенно сильно мешал спать. Мой отец только выходил на балкон, когда ему надоеда-

ли эти вечерние концерты, переходящие в ночные, и строго говорил: «Паша, побойся бога! Нам завтра на работу рано вставать. А ты мешаешь всем спать. Иди-ка, голубчик, домой. Дай нам отдохнуть, пожалуйста. По-человечески тебя прошу...» — «Хорошо, дядя Коля! Я тебя уважаю! А Ваське скажу, чтобы на мотоцикле тебя прокатил, когда приедет...» И правда ведь уходил восвояси — спать до утра... Меня однажды прокатили на мотоцикле в детстве. Было так страшно, что до сих пор не отважилась прокатиться во второй раз.

Паша слыл безобидным «психом», а вот на первом этаже в соседнем доме одно время жил самый настоящий уголовник, только что вернувшийся из мест заключения, вот это был жуткий персонаж, волк в овечьем обличье. С виду — «тихушник», и нашим и вашим — пожалуйста, извиняйте, не надо ли помочь. А внутри — гад и сволочь, каких свет ни видывал, лицемер высшей пробы. Глазки опустит и нам, девчонкам-малолеткам, всякие мерзости непристойные говорит. Прежде посмотрит, чтобы никого из взрослых поблизости не оказалось. А у нас язык не поворачивался передать родителям его гнусности — молчали, не жаловались. Ещё клянчил наркотики у родителей моей подруги — врачей. Уже тогда в пятидесятые–шестидесятые годы прошлого столетия эта зараза была в ходу, прежде всего в тюрьмах. Мы про неё узнали у себя во дворе как раз от уголовника. И насколько нам была противна эта страшная, мерзкая, уродливая рожа, настолько нам стало отвратительно и его зелье. Отец моей подруги, хирург, прошедший всю войну, Вторую мировую, в разных передрягах побывавший, словом, «тёртый калач», не знал даже, как успокоить жену и дочерей, когда эта тварь бесшумно скребла по ночам в дверь. Уголовника вскоре снова посадили, все вздохнули с облегчением, и больше я никогда его не видела, и никто из соседей больше никогда и нигде его не видел. Родители уголовника, отец с матерью, жили между собой дружно, но сына явно боялись и тоже вздохнули с облегчением, когда его «повязали». С соседями они ладили, никто на них зла не держал, но никто и понять не мог, как у таких добропорядочных людей вырос отъявленный негодяй, отщепенец. Родители много работали, точно хотели тем самым искупить вину перед богом и людьми за пропавшего сына. Я видела со своего подоконника, как тётя Тася, мать уголовника, после тяжёлой работы на заводе ещё шила и вязала одежду на заказ. До двух часов ночи горел у неё на кухне свет. А то выходила во двор и на скамейке под большущим тополем занималась своим рукоделием: и по вечерам, и в выходные дни.

У нас вообще было много рукодельниц, но особыми талантами отличалась девушка-инвалид. Она была загружена заказами под завязку, так что «на продохнуть» времени совсем не оставалось. Ноги у неё не ходили, сидела дома, вообще нигде не училась, даже в школе, никаких курсов не посещала, читать, писать выучилась самостоятельно. Мама у девушки тоже была инвалидом, с трудом обихаживала дочь и дом. А вот надо же, какие они чудеса творили: и по журналам мод, нашим, иностранным, и по собственным фантазиям... Клиентки в очередь выстраивались. Моя подруга платье на выпускной вечер после восьмого класса отдала девушке-инвалиду искусственным жемчугом расшивать. Красиво получилось. Сегодня бы сказали — дизайнерская работа. К девушке-инвалиду, мастерице на все руки, наши женщины и просто за советом приходили, как лучше сшить, украсить, скроить, она никому из них не отказывала. За советы, конечно, денег не брала, но каждый старался её чем-нибудь отблагодарить. Девушку-инвалида в нашем округе все любили, почитали и, как могли, помогали. Даже балкон пристроили к её окну на первом этаже, чтобы могла выезжать на своей инвалидной коляске и дышать свежим воздухом. И никаких согласований на этот благородный поступок не понабилось тогда.

Со своего подоконника я часто видела ещё одного инвалида. Это был молодой мужчина, загорелый, чёрные густые вьющиеся волосы с проседью,

лицо — очень красивое, благородное, будто выточенное талантливым итальянским скульптором, широкоплечий, про таких говорят, «косая сажень в плечах», руки — сильные, мускулистые, с огромными ладонями. И совершенно... без ног. Таким он вернулся с войны в победном 1945-м. С каталкой на колёсиках. От земли он отталкивался тяжёлыми железными культяшками (даже не знаю, как их назвать), к ним были приделаны ручки, он брался за них и быстро-быстро перебирал культяшками по земле. Тележка катилась на большой скорости: и зимой по снежным дорожкам, и весной по скользкой наледи, и осенью по мокрым лужам, а уж тем более летом, когда ничто не мешало парню управлять своей «каретой». Местные тётушки судачили за глаза, кощунственные вещи говорили: «Надо же, каким бы мужиком справным был при ногах-то. Он же и хозяйственный, и работающий, и красавец видный. Женился бы, детишками обзавёлся. А ноги у него, наверное, хороши были: длинные, стройные, мускулистые. Высокого росту был бы парень. Эх, война-злодейка, что наделала ты, будь проклята, окаянная...» Инвалид отличался сумрачным характером, смотрел исподлобья, никогда не вступал в разговор первым, ни с кем не здоровался, не откровенничал, зло огрызался, если к нему обращались не по делу. Не помню улыбки на его лице, хмурый, угрюмый, без друзей, без семьи, никому не верил, ни в людскую доброту, ни в искреннее сочувствие, жутко сквернословил, когда кто-то пытался его пожалеть. С утра до вечера околачивался в «Американке» (так называли пивнушку в районе) или на рынке, и тоже у пивного ларька. Однажды инвалид пропал. Говорили, что упал с тележки, был сильно пьян и замёрз под забором. А ещё говорили, что выслали его за город куда подальше, на север области, чтобы не портил своим внешним видом благополучную статистику в районе, не мозолил глаза местному начальству, не дай бог, заезжому из столицы. Зачем кому-то лишние хлопоты. Нет человека — нет проблемы. Словом, сгинул инвалид ни за что ни про что. И никто его не стал разыскивать. Посудачили немного, повздыхали, даже всплакнули, да и перестали. Что тут поделаешь? Видно, такова уж была «планида» у этого человека.

Мой отец никогда не был членом КПСС, единственной тогда в стране партии. И мама — тоже. Что с неё взять — домохозяйка. А вот отец занимал высокие посты, при которых членство в партии вроде бы считалось обязательным условием. Он не лицемерил, не лизоблюдничал, не пробивался, расталкивая локтями других, в подлости не был замечен. Скорее всего, отца ценили за деловые качества, поэтому и назначали, выдвигали, продвигали и т.д. По примеру отца я тоже не вступила в партию, но и меня ставили на руководящие должности без членства в КПСС, думаю, за некоторые литературные способности, которые вышестоящее начальство каждый раз хотело использовать в своих корыстных целях. Но я обычно не гнула ни в ту, ни в другую сторону. Стояла на своём. Говорила и писала, что думала. Этот ген некоего свободомыслия и свободолюбия, видимо, достался мне от предков. Это им я обязана своим внутренним диссидентством, своей оппозиционностью по отношению к любым властям, альтернативностью мышления. За что постоянно получала щелчки по носу, а то и пинки под зад: то строгача влепят, то без хорошей квартиры оставят с двумя детьми, то вообще с работы поганой метлой погонят. Предки помогли мне выбрать свободу, а вот отвечать за её последствия не научили — самой приходилось отдуваться по полной, собственной головой рисковать.

К отцу часто приезжали в гости фронтовые друзья из разных городов страны, из союзных республик. Они спорили на кухне до хрипоты. Папиросный дым стоял коромыслом. Уже плохо различались силуэты предметов, а они этого не замечали. Спорили и спорили, разгорячённые сорокоградусной «Столичной» или «Московской». И если такие горячие баталии «под перекрёстным артогнём» велись не только на нашей кухне, но и на многих

других, а это было именно так, то почему же они самым решительным образом не повлияли тогда на всю застойную атмосферу в целом по стране?! Непонятно.

« — Что, я должен весь свой век маяться? Спорить с дураками? Терпеть весь этот цинизм, двуличие? Бояться слово сказать, потому что погонят с работы и меня, и жену? Детей отставят без высшего образования...

— Насоздают кумиров, и разбирайся потом с ними... А то как начнут ни-спровергать всех подряд, только перья летят...

— Эх, братцы, ропщи на судьбу — не ропщи, а ведь легче не станет...

— Аха, если ничего не требовать, то ничего и не получишь.

— Кто мы такие, чтобы требовать? Гольтьба? Бедные родственники? Гости в этом мире?

— Я считаю, рано или поздно всякой беде обязательно придёт конец. Поэтому я лучше в стороночке посижу, на солнышке погреюсь... Дождусь, когда само всё утрясётся, когда само всё уладится...

— Да, знаем мы, мать продашь за коврижки, променяешь на обеспеченность...

— Ну, ты, поосторожней! Не нарывайся! Могу и стукнуть! Скажу только, обжѣгшись на молоке, на воду дуешь... Какой прок от твоих словесных баталий? Каков результат? Разбитые лбы? Плетью обуха не перешибѣшь. Они же просто физически не способны воспринимать иное мнение...

— Рабы им нужны, а не сознательные граждане, требующие законности...

— Ой, нет, господи, пронеси! Человек предполагает, а бог располагает. Худой мир лучше доброй ссоры...

— Повторяешь как попугай банальные истины. Не может быть мир — худым. Эко, сказанул... Это и не мир вовсе.

— Хорошо классик написал: «Нет счастья без свободы!»

— А другой классик написал, что человек ко всему привыкает, к чему вынужден привыкнуть.

— И всё-таки в человеке есть предел терпения...

— Бессилие хуже всего. Человек не может жить в постоянном ожидании, что вот завтра, или послезавтра, или послепослезавтра, через месяц, через год станет лучше. Так с ума можно сойти. От постоянных дум...

— Дело до абсурда доходит. Не желают они видеть очевидных фактов. Система та же осталась. И снова будет рождать Сталиных.

— «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь».

— Лучше другую цитату привести: «Ворон ворону глаз не выклюет».

— Вот вы всё критикуете, критикуете... А на одной критике да на одном отрицании ничего путного построить невозможно... Вообще невозможно жить одной критикой да одним отрицанием... Опомнитесь!

— Да мы и не живём вообще-то — той настоящей красивой жизнью, о какой мечтали на войне, а так партизанам, или обороняемся, или прикидываемся, под дурочка косим...»

Напомню всем известную цитату, что «после XX съезда КПСС в обществе появился долговестный оптимизм, и этот оптимизм скончался, когда хрущёвская оттепель («кукурузная») превратилась в новый вариант сталинщины». С оттепелью в нашу жизнь пришли большие радужные светлые надежды. А когда эта оттепель дала дуба, разочарованиям не было конца.

Иногда я задавала вопросы маме по поводу ночных разговоров на кухне. Она отвечала коротко: «Не бери в голову!» Мол, подрастѣшь, вот тогда и будешь решать, судить, оценивать, кто прав, а кто виноват. Но я уже начала подвергать сомнению и статьи в учебниках, и сцены в спектаклях, в фильмах, когда патриотизм казался приторным, слащавым. Училась отличать настоящий, истинный от ложного, показного. Помню, часто ставила в тупик своими рассуждениями любимых педагогов по истории и по литера-

туре Ирму Фёдоровну Медведеву и Марину Наумовну Батину из 103-й школы, где училась. Они не отнекивались, не отмахивались от моих вопросов, а пытались честно вместе со мной рассуждать. И выводы мы часто делали не в пользу официальной пропаганды. И сами же удивлялись от этого. Ирма Фёдоровна за уши тянула меня на исторический факультет университета. А Марина Наумовна — на филологический. Кстати, факультативы по истории, по литературе посещала в основном я одна. А как мои педагоги радовались, когда я побеждала на разных конкурсах, в том числе всесоюзных! В школе их все поздравляли, обнимали, они прихорашивались, говорили взволнованным голосом. Словом, это был праздник не столько для меня, сколько для них. Наш класс был математическим. Из более чем 30 человек лишь четверо стали «гуманитариями». В споре «физиков» и «лириков» в нашем классе победили первые.

Я поступила на журфак в УрГУ после того, как стала одним из лауреатов конкурса «Проходной балл», который проводил журнал «Журналист» при поддержке трёх университетов: МГУ, ЛГУ и УрГУ. Помню, что даже не готовилась к поступлению. Лето было тёплым, солнечным, и я отдыхала на полную катушку — ездила купаться на озёра. В итоге сдала все экзамены на четвёрки и прошла в университет вне конкурса. В ту пору я была очень счастливой девочкой.

Так что мне здорово повезло с бабушкой, дедушкой, с родителями, со школой и педагогами, с друзьями во дворе и одноклассниками, наконец, с моим подоконником в начале жизни, с высоты которого я открыла столько интересного, увлекательного и познавательного.

На моём подоконнике в ту пору (это пятидесятые–шестидесятые годы прошлого столетия) гурьбой гуляли солнечные зайчики. Напротив, в соседнем доме, жил одноклассник Саша, спокойный, застенчивый, скромный мальчик. Его окно через двор совпадало с нашими. И Саша с помощью большого зеркала с утра пораньше атаковал мою спальню целой армией самых живых, самых весёлых солнечных зайчиков. Никогда потом я не видела такого сказочного представления. Зайцы танцевали на стенах, прыгали со стула на стул, даже в кастрюлю с манной кашей заглядывали. Я просыпалась с улыбкой и бодренько покидала кровать с уже радостным на весь день настроением. Проглатывала завтрак и вприпрыжку бежала в школу. За мной уже с маленьким зеркальцем едва поспевал самый лучший на свете укротитель солнечных зайчиков. Когда я возвращалась домой после какой-нибудь поездки, например после соревнований по плаванию, родители встречали шутливым приветствием: «Ну, наконец-то, а то Саша с Уралмаша заскучал — не пускает зайчиков». Но только я садилась за обеденный стол на кухне, как моментально вновь начиналось сказочное представление: по всем стенам летали, кружились в танце, прыгали, скакали маленькие солнечные творения. Иногда, сидя на подоконнике, открывала форточку и грозила Сашке кулаком. А кулак у меня был увесистый, я вообще была физически сильной девочкой — спортсменкой с рано развившимися формами. Иногда при встрече говорила Сашке: «Ох, побью! Надоел всем!» Но и он и я прекрасно знали, что никогда так не сделаю. Я жалела Сашку, потому что была яркой отличницей, а он — серым троечником; потому что я была боевая, решительная, деятельная, председателем пионерской дружины школы, а он — тихоня и молчун, всегда в последнем ряду, на последней парте, последним плёлся в строю, всегда, как самая медленная на свете черепаха, никуда не спешил, ни с кем не спорил, ни перед кем не красовался и не выпендривался. Но больше всего я жалела Сашку, потому что он жил с мамой в одной маленькой комнатке в коммунальной квартире с многочисленными соседями, а я — в хорамах, по тогдашним представлениям. И у него не было отца. Вот этого

я совсем не могла понять, как можно жить без отца. Пыталась представить, что у меня нет моего папы, и не могла себе такого представить. В ту пору матери-одиночки встречались не так часто, как сейчас, хоть и война прошла, мужчин поубивало несметное количество. Но вот в нашем доме, например, жили в основном полные семьи, не только с отцами, но и с бабушками, дедушками. Однажды утром зайцы неожиданно пропали. Какая-то необъяснимая тревога, беспокойство прокрались внутрь меня. Оказалось, что Сашку побили мальчишки из тех, кто за мной откровенно ухаживал, и он попал в больницу с сотрясением мозга. Обидчиков Сашка не сдал. Они, кстати, и сами здорово испугались, не ожидая такого исхода, а я носила «побитому» в палату горячие котлеты и пирожки от моей мамы. Вот вам и тихоня, молчун, черепаха... Урок на всю жизнь — невзрачный троечник оказался лучше и сильнее блестящей отличницы... Главное — не что снаружи, а что внутри... А через месяц на моём подоконнике вновь заиграли весёлые, радостные солнечные зайчики...

Послесловие

Порой мне хочется написать что-нибудь такое-этакое: нафантазировать, насочинять, напридумывать, словом, загнуть, зажечь, растормошить; о том, чего никогда со мной не было и не могло быть. Да и вообще не про себя. Но воспоминания держат мёртвой хваткой за душу, не отпускают. Казалось бы, ну, вот всё — они закончились, можно вздохнуть с облегчением и приняться за другую работу, совершенно не похожую на предыдущие. Ан нет — в памяти всплывают новые воспоминания и будто говорят: «О нас ты тоже должна написать. Если не ты, то кто? Это же с тобой происходило. Мы не можем просто так кануть в Лету». И я чувствую перед ними какую-то особую ответственность... и снова пишу, и снова вспоминаю. Будто они, эти воспоминания, — какие-то живые субстанции. Так и есть, наверное, ведь я описываю реальных людей, реальные события, реальные факты, хоть и давно ушедших лет, сохраняю их для истории. Но не становлюсь ли я при этом заложницей своих воспоминаний?

Елена Глухова, психолог из Москвы, таким образом ответила на мой вопрос: «Преклоняюсь перед всеми ходящими между мирами и веками. Не отрицая ни новое, ни прошлое, они как раз соединяют основы миров и веков. Принимая новые технологии, помнят фундаменты, из которых мы все вышли. И обязательно позволяют дополнять всему новейшему и всему прошлому друг друга. Может быть, в этом и есть смысл интеграции? Не в отрицании и разрушении «до основания, а потом», а в соединении и реконструкции, в строительстве...»

Ну, вот я даже не думала про себя раньше, что хожу между мирами и веками и соединяю мысли, ценности, идеи. Хожу из века в век, из мира в мир и соединяю их. Это же здорово... И что тогда? Пусть не заканчиваются воспоминания — «обитель моей души»? На ум приходят строки из Ивана Бунина: «Вскоре юношеская сила овладела им — дерзкая решительность, уверенность в каждой своей мысли, в каждом своём чувстве, сознание, что он всё может, всё смеет, что нет более для него сомнений, нет преград. Он исполнился надежд и радости».

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Сергей Кибальник

Пора ли уже понимать Россию умом?

*К 150-летию со дня смерти
Ф.И. Тютчева*

1. Тютчев и Россия

Федор Иванович Тютчев служил России во многих своих качествах. Как дипломат, политический публицист, наконец, как чиновник и придворный высокого ранга, вращавшийся в высших кругах и влиявший на принятие многих важнейших внешнеполитических решений.

И как поэт, в творчестве которого преломились самые разные моменты истории России на протяжении полувека. Так что тема России — одна из центральных тем поэзии Тютчева.

Как дипломат, политический публицист и чиновник он иногда даже служил России чересчур рьяно, а то и, может быть, оказывал ей медвежью услугу.

Сергей Кибальник — ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии наук, доктор филологических наук. Автор двенадцати книг по истории новой русской литературы (от Пушкина до Набокова), а также двух литературно-художественных книг. Член редколлегии научных журналов «Филологические науки», «Spesimina Slavica Lundunensia» (Лион, Франция) и др. Ведущий YouTube-канала «Литературотерапия» (https://www.youtube.com/channel/UCeALOWvJir6CWTd_MeuQSEQ). Литературно-критические работы, а также стихи и прозу публиковал в журналах «Нева», «Звезда», «Знамя», «Волга», «Текстура», «Литература», «Формаслов», газетах «Русская мысль», «Литературная газета» и др. В журнале «Урал» публикуется впервые.

Например, в 1850 году, накануне 400-летней годовщины падения Византийской империи (1853), он так рьяно призывал Николая I в своем стихотворении «Пророчество» пасть пред «Христовым алтарем» древней Софии, находившейся на территории Османской империи, и встать «как всеславянский царь», что император даже повелел «подобные фразы не допускать»¹.

Однако все же в политической лирике Тютчева неверные ноты звучали реже, чем в его публицистике и общественной деятельности...

2. «Давно пора... умом Россию понимать»

Первое, что приходит на ум, когда заходит речь на тему «Тютчев и Россия», — это, конечно же, его стихотворная миниатюра, ставшая своеобразным крылатым выражением.

Не каждый русский сразу вспомнит, что оно принадлежит Тютчеву, но каждый его слышал...

Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная статья —
В Россию можно только верить.

(2, 165)

В последнее время эта мысль все чаще — то в шутку, а то и всерьез — подвергается сомнению: дескать, пора уже нам понимать нашу страну умом.

Одним из первых, наверное, его в этом плане обыграл поэт Игорь Губерман:

Давно пора, мать,
Умом Россию понимать².

Однако мне больше по душе вариация на эту тему нашего петербургского поэта Виктора Мальцева:

Хотел умом Россию я понять —
Теперь, пардон, ни сесть, ни лечь, ни встать!³

Некоторые современные русские писатели пытаются спорить с этой мыслью Тютчева и всерьез. При всем уважении к ним это все-таки немного напоминает хрестоматийную крыловскую басню. Как говорил Толстой, без

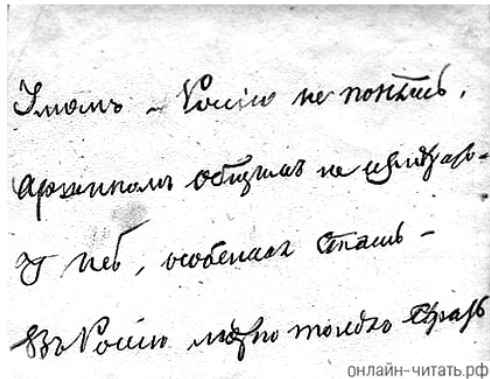
стихов Тютчева «нельзя жить»⁴. Без творений же этих современных русских писателей жить вполне можно...

Не то чтобы с Тютчевым нельзя спорить. Конечно же, можно и даже нужно: далеко не во всем и не всегда он был безукоризнен. Например, он считал Россию оплотом против европейских революций, а на деле все оказалось совсем не так.

Главное, вначале все же хотя бы сделать попытку разобраться, что именно имел в виду Тютчев в этих своих стихах...

3. Ключ к стихотворению

Иногда разгадку их пытаются найти в необычной пунктуации, которая имеется в автографе:



Конечно, тире после слов «умом» и «статья» вносят существенные акценты в то, как нужно читать эти стихи⁵. Однако к их разгадке они нас все же не продвигают.

Скорее, для этого нужно постараться увидеть, что стоит за этими несколькими строчками в его творчестве и судьбе. Помочь тут могут и ответы на вопросы о том, каковы были убеждения Тютчева и как они изменились ко времени создания этого стихотворения.

4. Был ли Тютчев славянофилом?

Как правило, это объясняют близостью Тютчева к русским славянофилам. Однако в действительности никакой особой близости с ними у него не было.

Начинал как поэт Тютчев действительно в кругу московских поэтов-«любомудров», из среды которых вышли старшие славянофилы: братья

Киреевские, Хомяков, Кошелев. Однако сам Тютчев еще в 1822 году уехал на дипломатическую службу в Германию и шел своим особым путем. У него тоже была своя «особенная статья»...

Славянофилов же он всегда воспринимал как умных, но односторонних и оторванных от жизни теоретиков. Не раз именно в таком плане Тютчев отзывался о них в своих письмах:

«Я только что пришел от Хомякова, у которого собиралось общество **умных и, в особенности, многоречивых людей. Говорилось опять все то же**»⁶.

Ф.И. Тютчев —
Эрн.Ф. Тютчевой. 6 июня 1858 г. (5, 27)

Что же касается, например, идеализации народа и «опрощения» дворян, которыми увлекался, скажем, молодой Толстой, то оно даже вызывало у Тютчева насмешки. Так, на повесть Толстого «Казачьи» он отозвался эпитаграммой:

Затею этого рассказа
Определить мы можем так:
То грязный русский наш кабак
Придвинут к высотам Кавказа.
(2, 118)

Правда, в январе того же 1866 года, в котором 28 ноября было написано стихотворение «Умом Россию не понять...», на старшей дочери Тютчева Анне женился известный славянофил Иван Аксаков. Однако разве тесть так уж обязан иметь с зятем одинаковые убеждения?

А жизнь Тютчева сложилась так, что смолоду многое, напротив, толкало его в сторону западничества. Прожив с 18-летнего до 40-летнего возраста в Западной Европе, Тютчев отвык от России и, вернувшись в нее в 1844 году, оставил немало неллицеприятных отзывов о российском климате и порядках.

Так, в июне 1856 года он писал своей дочери Екатерине из Петербурга: «Да, какая подлость быть приговоренным к такому климату, порой спрашиваешь себя, за какое преступление ты сюда сослан».

Ф.И. Тютчев —
Е.Ф. Тютчевой. 22 июня 1856 г. (5, 240).

Как чрезвычайно эмоциональный человек, поэт иногда позволял себе не самые осторожные высказывания...

Когда он спустя много лет попал в свое родовое имение Овстуг Брянского уезда, в котором прошло его детство, то написал об этом так:

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные...
(1, 204)

При публикации этого стихотворения в некрасовском «Современнике» «места немилые» заменены на «места печальные». По предположению К.В. Пигарева, это счел необходимым сделать И.С. Тургенев⁷.

О Петербурге, в котором он окончательно поселился с конца 1840-х годов, при первой встрече с ним после возвращения в Россию Тютчев писал:

Всходили робко облака
На небо зимнее, ночное —
Белела в мертвеном покое
Оледенелая река.

Такие картины заставляли его мечтать о «теплом» итальянском юге:

Я вспомнил, грустно-молчалив,
Как в тех странах, где солнце греет,
Теперь на солнце пламенеет
Роскошный Генуи залив...
(«Глядел я, стоя над Невой» — 1, 193)

Впрочем, Тютчев был человеком необыкновенно переменчивым, и у него мы то и дело находим высказывания об одном и том же совершенно противоположного характера.

Так, например, об особенно теплом петербургском лете 1854 года он, напротив, писал:

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, <с>прошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?..
(«Лето 1854» — 2, 64)⁸

А русское общество, в котором он сразу начал блистать как один из самых остроумных собеседников и «светских львов», Тютчев оценил сразу же по возвращении:

«...Петербург, в смысле общества, представляет, может статься, одно из наиболее приятных местожительств в Европе, а когда я говорю — Петербург, это Россия, это — русский характер, это — русская общительность. <...> достигнув сорокалетнего возраста и никогда, в сущности, не живши среди русских, я очень рад, что нахожусь в русском обществе, и весьма приятно поражен выдаваемой мне благожелательностью».

Ф.И. Тютчев —
И.Н. и Е.Л. Тютчевым.
13 ноября 1844 г. (4, 304)

Не только окружающие воспринимали Тютчева как «европейца», но и сам он прямо говорил о своей «западной жилке». Ко многим из так называемых «западников», при всем его идейном расхождении и с ними, например, к П.Я. Чаадаеву, И.С. Тургеневу, — Тютчев относился с глубочайшей симпатией. Например, о Чаадаеве он отзывался так: «человек, с которым я согласен менее, чем с кем бы то ни было и которого, однако, я люблю больше всех»⁹.

И жил ведь Тютчев в России после возвращения из-за границы не в Москве, а в Санкт-Петербурге...

5. Поэт «двойного бытия»

В одном своем известном стихотворении Тютчев, как и Достоевский, писал о современном ему человеке как о человеке «двойного бытия»:

О вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги, —
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
(«О вещая душа моя» — 2, 75)

Таким человеком в значительной степени был он сам. Это сказывалось и в том, что он был одновременно и «европейцем», и глубоко русским человеком.

За границей Тютчев был дважды женат и оба раза на немках. После смерти первой жены у него осталось три дочери. Еще трое детей родилось от второй жены.

Две европейские семьи поэта, конечно же, свидетельствовали скорее о его увлечении всем европейским. Даже

после своего возвращения в Россию он иногда сетовал на то, что в России называют «Европой» то, что следовало бы прямо называть «цивилизацией»:

«Очень большое неудобство нашего положения заключается в том, что **мы принуждены называть Европой то, что никогда не должно бы иметь другого имени, кроме своего собственного: Цивилизация.** Вот в чем кроется для нас источник бесконечных заблуждений и неизбежных недоразумений. Вот что искажает наши понятия».

Ф.И. Тютчев —
П.А. Вяземскому. Март 1848 г.

Правда, при этом он оговаривался: «Впрочем, я более и более убеждаюсь, что **все, что могло сделать и могло дать нам мирное подражание Европе, — все это мы уже получили**».

(4, 444)

Вторая половина жизни Тютчева проходила в России.

С 1850 года он жил в гражданском браке с Еленой Денисьевой, и у него родилось еще трое детей. При этом Тютчев не порывал отношений со своей женой Эрнестиной Федоровной и, уж само собой разумеется, со своими детьми как от первого, так и от второго брака.

До конца жизни Тютчев гораздо больше говорил и писал по-французски, чем по-русски. Льва Толстого при знакомстве с ним сначала даже оттолкнуло то, что поэт «говорил и писал по-французски свободнее, чем по-русски»¹⁰.

Только стихи, за редким исключением, Тютчев писал по-русски...

6. Тютчев — русский националист?

Иногда миниатюру «Умом Россию не понять...» объясняют имперским мессианством Тютчева, которое якобы ему было присуще. Однако в стихотворении утверждается лишь уникальный характер России и ни о каком превосходстве русских над другими народами речь не идет. В середине 1860-х годов Тютчев был уже далек от панславистских настроений, которые владели им накануне Крымской войны.

Беспримерное и унижительное поражение в ней России, которое

Тютчев приписывал «недомыслию» в «нашем политическом образе действий» и «в военном управлении», окончательно положило конец этим его настроениям:

«По-видимому, то же **недомыслие**, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, **сказалось и в нашем военном управлении, да иначе и не могло быть. Подавление мысли** было в течение многих лет руководящим принципом правительства. Следствия подобной системы не могли иметь предела или ограничения — ничто не было пощажено, всё подверглось этому давлению, **всё и все отупели**».

Ф.И. Тютчев —
Эрн.Ф. Тютчевой. 21 мая 1855 года (5, 210)

Памятником этому стала известная тютчевская эпитафия Николаю I:

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

(2, 73)

Конечно, патриотом и державником Тютчев был. Величие России он во многом связывал с расширением и укреплением Российской империи. Что в XIX веке — веке складывающихся государств и изменяющихся границ — было обычным делом. Однако шовинистом и ксенофобом он никогда не был...

7. Тютчев в 1864—1866 годах

Середина 1860-х годов была для Тютчева эпохой суровых испытаний уже не политического, а личного характера. В августе 1864 года умерла от чахотки его гражданская жена Елена Денисьева.

Переживаниям, связанным с этой утратой, посвящено его известное стихотворение, написанное им в Ницце.

О, этот юг, о, эта Ницца...
О, как их блеск меня тревожит —
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
(«О, этот юг, о, эта Ницца» — 2, 131)

А уже в мае 1865 года от той же болезни скончались их незаконно-рожденные четырнадцатилетняя дочь Елена и двухлетний сын Коля. Всего год назад Тютчев каждый вечер ездил гулять на острова с дочерью Еленой, которую, по словам мемуариста, «он особенно любил и даже баловал вопреки иногда требованиям педагогики...»¹¹.

В июне 1865 года он писал сестре недавно умершей Елены Денисьевой:

«...Не было ни одного дня, который я не начинал без некоторого изумления, как человек продолжает еще жить, хотя ему отрубили голову и вырвали сердце»¹².

Ф.И. Тютчев —

М.А. Георгиевской. 29 июня 1865 г.

Все чаще он думает о смерти. Так, в июле 1866 года Тютчев пишет жене: «Ах, какие все это перепевы одного и того же — и до чего тошнотворно существование в определенном возрасте, и как **пора было бы с этим покончить...**»

(6, 166).

А в конце 1866 года подруге покойной Елены Денисьевой он даже посылает шуточное извещение о собственной смерти:

«Несчастный г-н Тютчев, мой закадычный друг, поручил мне известить вас, сударыня, что, не снеся произошедшего ночью обострения болезни, он скончался после короткой агонии между 5 и 6 часами утра. — Своим последним волеизъявлением покойный назначает вас, сударыня, наследницей бутылки сливок и фунта масла...»

Ф.И. Тютчев —

Е.К. Богдановой. 16 октября 1866 г. (6, 182)

8. Тютчев в середине 1866 — весной 1867 годов

Последнее письмо Тютчева свидетельствует, конечно, о том, что к этому времени он все же более-менее оправился от понесенных им утрат.

Постепенно он возвращается и к участию в политической жизни. Впрочем, близкое общение камергера и председателя комитета по иностранной цензуре Тютчева с правительственными кругами навеивает на него довольно печальные мысли. Он видит в этих кругах господство космополитизма.

Хотя царствование Александра II в целом Тютчев считал «оттепелью», своей жене Эрнестине Федоровне в июле 1866 года он писал о том, что «единственное, что совершенно отсутствует» при дворе, это «**русская точка зрения на вопрос**»:

«Я только что провел три дня между Ораниенбаумом и Петергофом, ведя политические споры с разными членами августейшей семьи, которые все разделены между собою своими немецкими симпатиями и антипатиями — сплошь немецкими... Словом, это — Германия в сокращенном виде. **Одно только начисто отсутствует — русский взгляд на вопрос.** <...> Это люди, которые **если бы не в тот вагон, но, по счастью, опоздали на поезд**».

Ф.И. Тютчев —

Э.Ф. Тютчевой. 21 июля 1866 г. (6, 165)

Возмущение Тютчева вызывало намерение Александра II принять участие в Парижском конгрессе 1867 года, задуманном для примирения Наполеона III с Бисмарком. Тютчев был убежден, что если это произойдет, то Франция и Германия снова объединятся против России.

Еще больше поэт был разочарован нежеланием правительственных кругов поддержать восстание, вспыхнувшее против турецкого владычества на Крите:

«Трагична участь бедных кандиотов, которые будут раздавлены. **Наше поведение** в этом деле **самое жалкое**. Иногда **преступно и всегда бесчестно** быть настолько ниже своей задачи».

Ф.И. Тютчев —

Э.Ф. Тютчевой. 29 июня 1866 г.¹³

Западные державы всячески поддерживали Турцию, а русское правительство проявляло, по мнению Тютчева, преступную нерешительность...

9. «Греческие» стихи Тютчева

Стихотворение «Умом Россию не понять...» было написано 28 ноября 1866 года. В декабре того же года другое свое яркое политическое стихотворение Тютчев посвятил критскому восстанию:

**Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?
Ужель, навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?
Все гуще мрак, все пуше горе,
Все неминуемой беда —
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись — теперь иль никогда.
(«Ты долго ль будешь за туманом...» —
2, 168)**

Вовсе не факт, что Тютчев был прав по существу — ведь сдержанная в этом смысле политика канцлера князя Горчакова в конечном счете привела к успеху. В результате франко-прусской войны 1870 года Россия смогла разорвать кабальные условия Парижского мирного договора 1856 года, запретившего России держать флот в Черном море. Однако стихи Тютчева от этого не становятся менее прекрасными. Не правда ли?

Итак, стихотворение «Умом Россию не понять...» написано не тем относительно благополучным человеком, каким Тютчев был до августа 1864 года. А тем, по его собственному определению, «убитым, но живым» Тютчевым, каким он стал после смерти Елены Денисьевой и их двоих детей.

И тем резко критически воспринимающим политику России человеком, которому лишь время от времени удавалось донести свою точку зрения до канцлера А.С. Горчакова и императора Александра II.

Между прочим, за несколько месяцев до создания Тютчевым этой стихотворной миниатюры, в апреле 1866 года, состоялось первое покушение на жизнь Александра II. И Тютчев воспринял его не менее болезненно, чем Достоевский.

Так что никакого ура-патриотизма или имперского мессианизма в этом стихотворении нет. Напротив, в нем мы можем услышать биение того «полного тревоги» сердца поэта, о котором он сам поминал в других своих стихах.

«Верить» в Россию было тогда единственным из того, что оставалось Тютчеву в этой жизни...

10. Другие стихи Тютчева о России

Постичь смысл стихотворения «Умом Россию не понять...» могут помочь и параллели к нему, которые заключены в некоторых других его стихотворениях.

Так, через 2-3 дня после его создания в стихотворении, написанном к 100-летию со дня рождения Н.М. Карамзина, он вопрошает:

Какой пошлем тебе привет —
Тебе, наш чистый, добрый гений,
Средь колебаний и сомнений
Многотревожных этих лет —

При этой смеси безобразной
Бессильной правды, дерзкой лжи,
Так ненавистной для души
Высокой и ко благу страстной...
(«Великий день Карамзина...» —
2, 166)

Предпоследнюю строку этого стихотворения: «Быть верноподданным России...», запрещенную цензурой, — Тютчев соглашается изменить скрепя сердце и предлагает в таком случае вариант:

Царю быть другом до конца
И до конца служить России.
Ф.И. Тютчев —
П.В. Анненкову. 2 — 3 декабря 1866 г.
(6, 187)

Стоит также вспомнить в этой связи знаменитое стихотворение Тютчева «Эти бедные селенья...». Оно было написано вскоре после окончания Крымской войны, тяготы которой, как обычно, принял на себя в первую очередь народ, в Рославле, через который Тютчев обычно проезжал по дороге из Москвы в свое родовое имение Брянской губернии Овстуг:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты Русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
(«Эти бедные селенья...» — 2, 71)

В этом стихотворении преломилось давнее убеждение поэта, высказанное еще в его статье «Россия и революция» (1848), — в том, что «**русский народ** является христианским не только в силу православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той **способности к самоотвержению и самопожертвованию**, которая составляет как бы основу его нравственной природы» (3, 144).
Ф.И. Тютчев. *Россия и революция* (1848)

Представление о Христе, будто бы исходившем Россию, благословляя ее, символизирует у Тютчева святость русского народа, постигаемую только прозрением в его внутреннюю сущность.

Сказав впоследствии, что в Россию «можно только верить», Тютчев варьировал свою прежнюю мысль о невозможности чисто умственного ее постижения.

11. Чем же тогда надо понимать Россию?

Противопоставление веры рационалистическому пониманию — вообще одна из самых заветных мыслей Тютчева. «В несчастье сердце **верит, т.е. понимает**», — писал он еще в 1838 году поэту В.А. Жуковскому (4, 113). Значит, «вера» для Тютчева и есть истинное понимание.

Не только патриотические, но и космополитические убеждения, по Тютчеву, — не столько принципы, сколько инстинкты:

«Следовало бы рассмотреть современное явление, приобретающее все более патологический характер. Речь идет о **русифобии некоторых русских** — причем весьма почитаемых... Прежде (во времена Николая I. — С.К.) они говорили нам, и говорили совершенно искренно, что Россия их отвращает отсутствием прав, свободы слова и т.д. и т.д., а Европа внушает им нежную любовь именно наличием

там всего этого... Что же мы видим теперь? По мере того как Россия, добиваясь некоторых послаблений, все более самоутверждается, отвращение к ней этих господ только растет. Ибо, судя по всему, прежние порядки никогда не вызывали у них столь лютой ненависти, как современные направления национальной мысли... И напротив, сколько бы ни попирали в Европе право, нравственность, саму цивилизацию, это, как мы видим, ничуть не уменьшает их расположения к Западу. <...> Словом, в означенном мною явлении **принципы, как таковые, никак не замешаны, тут нет ничего, кроме инстинктов...**»

Ф.И. Тютчев —

А.Ф. Аксаковой. 20 сентября 1867 г. (6, 271).

Сам поэт испытывает теперь инстинкты противоположного рода. Жена Тютчева Эрнестина Федоровна в феврале 1867 года так писала своему брату Карлу, который советовал ей уговорить Тютчева получить назначение на дипломатический пост за границей:

«...мой муж **не может более жить вне России**; главное устремление его ума и **главная страсть его души — повседневное наблюдение над развитием умственной деятельности, которая разворачивается на его родине**».

Э.Ф. Тютчева —

К. Пфедфелю. 6/18 февраля 1867 г.¹⁴

Эпилог

Современники Тютчева единодушно поражались тому, как мало значения он придавал своим стихам. Из двух небольших поэтических сборников, вышедших при его жизни, первый издавали Тургенев и Некрасов, а второй — его зять Иван Аксаков. Причина этого, судя по всему, в том, что его гораздо больше волновала судьба России, чем собственная поэтическая слава.

В июле 1873 года, почти через 7 лет после создания стихотворения «Умом Россию не понять...» и почти ровно 149 лет назад, Тютчев долго и мучительно умирал на даче в Царском Селе.

В то время шла военная кампания по покорению Хиванского царства, и

духовника, пришедшего, чтобы напутствовать его к смерти, поэт прервал вопросом: «Какие подробности о взятии Хивы?»

На смертном одре в последние дни, а то и часы своей жизни он спрашивал не о последних литературных, а о последних политических новостях — новостях, относящихся к судьбе России.

Это было едва ли не единственное, что волновало его до самого конца...

¹ Тютчев Ф.И. Пророчество // Полн. собр. соч. и писем: В 6 т. Т. 2. М.: Издат. центр «Классика», 2005. С.14, 347. Далее стихотворения и письма Тютчева цитируются по этому изданию: 2002–2004 – с указанием номера тома и страницы арабскими цифрами в тексте.

² Губерман И. Штрихи к портрету. Гарики на каждый день. Екатеринбург: У-Фактория, 1999. С. 564.

³ Домовой Малец Питерский. Литературные петербуржники. СПб.: ИД «Петпрополис», 2007. С. 6.

⁴ Лазурский В.Ф. Из «Дневника» // Современники о Ф.И. Тютчеве. Воспоминания, от-

зывы и письма. Тула: Приокское книжное издательство, 1984. С. 76.

⁵ Точно так же, как в автографе, оно было опубликовано и в прижизненном собрании стихотворений Тютчева: Стихотворения Ф. Тютчева. М.: Типография А.И. Мамонтова, 1868. С. CLXXIII.

⁶ Здесь и далее выделено полужирным шрифтом. — С.К.

⁷ Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. Подготов. К.В. Пигарев. Т. 1. М.: Наука, 1965 (сер. «Лит. памятники»). С. 248.

⁸ В третьем стихе все же, по-видимому, необходима корректура: «И как, спрошу, далось нам это...»

⁹ Жихарев М.И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в.: Люди и идеи (Мемуары современников). М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 88. Оригинал по-французски.

¹⁰ Маковицкий Д.П. Из «Яснополянских записок» // Современники о Ф.И. Тютчеве. С. 77.

¹¹ Георгиевский А.И. <Тютчев в 1862–1866 гг.> // Федор Иванович Тютчев / Литературное наследство. Т. 97. М.: Наука, 1989. Кн. 2. С.137.

¹² Там же. С.124.

¹³ Старина и новизна. 1916. Кн. 21. С. 225.

¹⁴ Литературное наследство. Т.97. Кн. 2. С.387.

ТОЛСТЯКИ НА УРАЛЕ: ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА

ПЕСНЬ УТОМЛЕННОГО СЕРДЦА

Борис Лейбов. Вторая любовь. — «Знамя», 2022, № 11.

Говорят, поварам при приеме в «мишленовский» ресторан, чтобы оценить их мастерство, предлагают приготовить самый простой омлет. Смысл этого блюда заключается в том, что при внешней простоте рецепта есть сложные нюансы, постичь которые может только профессионал с большим опытом работы. Хорошая, в сущности, практика. Следуя ей, для оценки мастерства писателя следует посмотреть, как у него получается писать о юношеской любви. Об этом предмете уже написан миллион книг, томление юного сердца, вздохи, неуверенность, испепеляющая страсть — все уже, казалось бы, сказано, и все равно есть возможность добавить что-то свое. И в этом смысле можно сказать, что Борис Лейбов — писатель хороший. Короткая повесть «Вторая любовь» тому подтверждение.

Очень простые декорации: дачный поселок Малаховка, лето, дача, на даче живет главный герой со своим отцом. Отец — офицер, часто уезжает, подросток остается на даче один с котом. Время действия не так важно, хотя, наверно, существенно для понимания упомянутых бытовых мелочей (цены на продукты, названия сериалов и шоу по телевизору), — лето 1993 года. На самом деле время грозное, опасное, и отец героя уедет куда-то срочно, а вернется уже в звании полковника, — остается только догадываться, что там, за кадром, произошло.

Но у главного героя (он же рассказчик) иные заботы. Знакомых в поселке нет, дачное лето — царство скуки. Правда, приходит к нему Ленка, живущая с отцом в пятнадцати минутах

хотьбы. Такая же полусирота — у героя мама в другой семье, у Ленки мама умерла. Ее отец продал московскую квартиру за какие-то безумные по меркам 1993 года деньги (20 тыс. долларов) и теперь постепенно проживает капитал, отправляясь ежедневно к ближайшему ларьку. Ленка приносит герою то зефир, то шоколадный батончик. Все равно скучно. «Жара, пыль, мухи», — как писал Анатолий Гаврилов в рассказе с показательным названием «В преддверии новой жизни». И тут...

«Как и когда она въехала в соседский дом, я не заметил. Дом ее знали как «дом двух академиков», которые оказались ее родителями. До этого лета мы не подозревали, что у них есть дочь. Неделию, нет, восемь дней назад я красил яблони и вдруг перестал дышать, как будто разучился это делать. Она была в голубом платье на бретельках, причем правая никогда не сидела на плече, где ей следовало, а висела немного выше локтя, на обветренной руке. Она обвела меня взглядом и, не найдя ничего привлекательного, легла на поваленную лупу, служившую ей скамейей».

Кто она, как ее зовут (кажется, Инна, хотя имя не так важно — ведь и имени главного героя «Второй любви» мы не узнаем), — не это главное. «Вторая любовь» — повесть короткая, за вечер можно прочесть. Лучше не торопиться. Лейбов создает тщательно выстроенную, выверенную, точную прозу, в которой каждой эмоции, каждому душевному движению находится единственно верное место. Даже ударам влюбленного сердца — оцените, как подросток с нетерпением ждет приезда своей возлюбленной: *«То, к чему стремился весь этот день, не отличимый ничем от вчера или завтра, начнется сейчас. Сердце ведь живет в настоящем, только когда тебе четырнадцать. До этого знания еще много лет, а вот до встречи с ней — пара его громких сумеречных ударов. Только сверчки, и протяжный стон электрички из зала, и уже родной скрежет ее двери».* Эти «сумеречные удары» очень хороши, так и видишь этот неверный круг света на соседней даче, слышишь хруст ключа в замке, шаги, голоса, звуки дачного вечера.

Как-то критик Станислав Секретов сказал о прозе Бориса Лейбова, что, если бы его журнальные публикации не сопровождалась короткой биографической справкой, можно было бы решить, что мы имеем дело с опытным писателем в возрасте, маститым таким товарищем 50+. А Лейбову между тем неполные сорок. Родился в Москве, по образованию — социолог (диплом по органической солидарности и уровню суицидов в военное время). В прошлом году в издательстве «Лайвбук» вышла его книга «Дорогобуж», заставляющая вспомнить антиутопии Владимира Сорокина. Мы делали с Лейбовым интервью (я отправлял ему на почту вопросы, он отвечал, сидя в магазине в Тель-Авиве, где он тогда работал, — живет на два города, Москва и Тель-Авив), и он признался, что для него Сорокин — главный учитель в литературе. Так и сказал: *«Я очень люблю прозу Владимира Георгиевича и уверен, что в далеком будущем наше время в истории отечественной литературы будут называть «эпохой Владимира Сорокина»... Когда я получаю новую книгу Сорокина, я отключаю телефон и два дня ни с кем не общаюсь, читаю и перечитываю».*

При этом «Вторая любовь» не содержит никаких заметных «сорокинских» влияний. Ну, немного режут слух грубоватые шутки, которыми любит забавляться Владимир Георгиевич (*«скрипит половая доска. Во мне — половая тоска»*). Но и это можно списать на то, что мы же слушаем речь подростка, который, скорее всего, впервые в жизни говорит о любви и не может найти соответствующих слов, даже пытается немного подтрунивать над собой.

«Вторая любовь» — прежде всего очень простая, линейная, понятная история юношеской любви: подросток влюбился в соседку по даче, а у той роман с приезжающим на собственной машине Андреем, и девушка (она немного старше, скорее всего, студентка, читает «Здравствуй, грусть» Саган) вообще не замечает никого вокруг. Они целуются с Андреем, не зная, что *«так, наверное, целуются только во Франции. А успокоившийся кот лизал мою шею, и щеку, и слезы, бежавшие по ней, и ему было интересно».*

И боже мой, кто не испытывал в 14 лет подобных чувств? Кто не изнывал от невозможности подойти к девушке, которая поселилась в твоих снах и фантазиях, кто не страдал от того, что она опять обнимается (и целуется, целуется!) с другим? И кому не хотелось об этом написать, подвести, так сказать, итог томлениям сердца, упоенного первым романтическим чувством? И какими же чаще всего банальностями оборачиваются эти тексты! Везде одно и то же, высокое чувство, будучи облеченным в заурядный текст, становясь пошлостью. Первая (вторая, как в случае с Лейбовым, — понятно, почему автор не назвал повесть «Первая любовь», — сколько их с таким названием уже написано) любовь — чувство нежное, интимное, беззащитное. Не обязательно и писать о нем. Как, помните, в «Бесах» Достоевского есть такой молоденький учитель, тихий и благородный юноша, который говорит прожженному цинику Кармазинову, только что прочитавшему напыщенный и пафосный рассказ о любви: *«Если бы я имел счастье так полюбить, как вы нам описали, то, право, я не поместил бы про мою любовь в статью, назначенную для публичного чтения...»*

Борис Лейбов написал хорошую повесть о любви. Она по сюжету так же проста, как прост рецепт омлета, но сделана с немалым мастерством — в описании тонких нюансов, переживаний, оттенков чувств в удивительной дачной стране. Которая кроме скуки, копания огорода, купаний, тихих вечеров с отцом и визитов странноватой Ленки способна одарить настоящим чудом, остающимся в памяти на всю жизнь.

Владислав ТОЛСТОВ

КЛЮЧ К ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Нина Горланова. Только не вставляй это в литературу! — «Знамя», 2022, № 10.

Беспредельное разнообразие журнальной периодики — и того, что в ней печатается, — сформировало почву для рождения экзотических, тайных,

полузабытых интонаций. Под ними я понимаю письмо, которое невозможно определить в категории современного литературного процесса — и даже вынести за его скобки.

Письмо это характеризуется вневременной, «отсутствующей» методологией, способной лишь отдалённо напомнить о признаках заложенного в неё хронотопа. И ладно бы время: данная разновидность письма не предполагает отклика. Она существует внутри застывшего, неподатливого стиливого мира, где — что год тысяча девятьсот шестидесятый, что — две тысячи двадцать третий — за окном по-прежнему шелестят берёзы, а в огороде недостаёт влаги.

Роман (?) — заметки на полях (?) — бытовой путеводитель (?) Нины Горлановой — яркий пример подобного письма. В нём отсутствует дистанция между образом и вещью. Упрощённый инструментарий, невнятная афористичность: «Мои рассказы припахивают горелым: если курица варилась, а рассказ пошёл, то курица выкипит и пригорит... Видимо, это священная жертва рассказу».

Из конкретистских, «домашних» сентенций и состоит большая часть повествования. Обрывочные ассоциации рождают музыку, с трудом определяемую камертоном: это — лирическая проза? Хорошо; вот оно, размышление о письме, спаянное с не самой удачной метафорой. Что дальше?

Дальше — фундаментальное теоретизирование. О поэзии, сакральности, смыслах. «Поэзия нужна — чтоб стало легче, чтоб мы не умерли от трагизма жизни (Ницше)». Появляются имена великих; появляются слишком часто, чтобы не задержаться на них взглядом. Список можно протянуть далеко вперёд: Ницше, Шкловский, Мандельштам, Чехов, Эйзенштейн...

Здесь-то и рождается колкое, едва ли приятное читателю недоумение. Но недоумевать посреди этого романа не хочется. Хочется — понимать, к чему бесконечные упоминания творцов и авторское с ними отождествление. Уже точно не из неуверенности или незрелости. Всё здесь ощущается «своим», подогнанным по форме и размеру. Другое дело, что формы и размеры кажутся нетривиально условными.

Этот процесс можно перенести на факт вуайеризма: мы подглядываем за ежедневными мыслями пишущего человека, — мыслями, что важно, далеко не возвышенного свойства. Такова стенография практической деятельности мозга, которую не особо хочется подвергать анализу. Дневник — дневником, но здесь границ размышления нет. Художественное их буйство лишено структуры.

Спайка анекдотов, притворно кокетливых ситуаций («Соло на Ундервуде» Довлатова работало хотя бы по той причине, что — смешило) мало к чему приводят. Живущие сами по себе, автономно, без давления сюжетного каркаса (элемент не найден), «гротески и арабески» Н. Горлановой нивелируются в сплошную культурологическую массу, различить в которой детали и акценты становится невозможно.

Упраздняя высокопарное (святость, ритуал, магизм) — и бытовое, «тутошнее», Н. Горланова явно наследует отошедшим в прошлое концепциям письма. Она подбирает ключ к открытой двери, стараясь вывести новую породу нарратива. Получается — по-прежнему *условно*.

Дополнительный парадокс обусловлен тем, что роман Горлановой вскользь живописует нам человека параллельной биографии, своеобразный гибрид Кандинского-Шагала-Дали, художников, отметившихся большим вкладом в мемуаристику. Интерес к изображению как таковому объясняет пластическую сверхнасыщенность, цветовую накипь синтаксиса, из которой и образуется проблема здешней антиструктуры.

Обратим внимание на подзаголовок. «Роман с искусством» (М. Агеев ни при чём) и есть факт подлинного кокетства. Это попытка переписать свою же методологию. С одной стороны, мы встречаем Горланову-писательницу, бытие которой упорядоченно и полновесно. Радость систематического наблюдения мира дарует и читающим ощущение цельности. С другой стороны, мы встречаем Горланову-художницу, что, блуждая тенью за оригиналом, так и норовит сместить на себя основные регистры повествования. Возникает двоemiрие. Тень не выдерживает сконструированной роли и остаётся

чем-то излишним, кажущимся, непонятным. Реальный же стиль, обнаруживаясь, уходит в никуда.

Хуже всего этому стилю осознать себя по соседству с многомыслием Нострадамуса, механизмами барокко:

«Сам Сидур тоже взял это у Беллинга, «Трезвучие». Так сейчас можно изобразить трёх сестёр чеховских в Перми. Под зонтиками.

— Зонтики должны быть вывернуты ветром.

— Это ветер судьбы.

— Нет, это ураган грядущей революции...»

Если читать последние строки обособленно, вне контекста, то можно невзначай предположить, что перед тобой ампутированный диалог из «Рабы любви» Михалкова или очередной демарш советской ностальгии. Предчувствия, туманные изыскания, ловля звезды в консервную банку — что угодно, но только не активная проза о живом времени.

Возвращаясь к начальному тезису: я не хочу культивировать ощущение неловкости или тщетности прочитанного. Роман Нины Горлановой интересен деталями и нежен синтаксически. В нём, пристальном, скрупулёзном, можно усмотреть и Розанова, и Нагибина, и Лихоносова. Отдельные эпифании, вызволенные из сердца, а не из головы, мгновенно синхронизируются с запросами души.

Я говорю о том, что этот роман чересчур декоративен. Желваки оммажей, перекатывающиеся мышцы реминисценций блуждают в тумане неведения, где всё — как было; те же цветы, те же палисадники, запечатлённые раз и навсегда, обросшие родными эпитетами и непререкаемыми деталями.

И все же это — автономия жизни, параллелизм трудов и дней, которым можно искренне наслаждаться. Преодолев смущение от того, что подобная литература появилась не сегодня, не вчера, а много лет назад. И поняв, что здесь она — часть метода, естественного, как солнце или ветер, метода Нины Горлановой, состоявшейся и яркой художницы.

Стоит ли выводить отрицание из недоумения и озадаченности? Достаточно того, что «роман с искусством»,

представленный Н. Горлановой, честнее иных конструкций письма, буквально вопящих о собственной актуальности. «Только не вставляй это в литературу!» — элемент стиливого прошлого, но в этом прошлом много света и воздуха; и, стоит заметить, воздух этот ни у кого не сворован.

Кирилл ЯМЩИКОВ

МУЧИТЕЛЬНЫЙ ДАР

Леонид Борисов. Праздник памяти. — «Звезда», 2023, № 5.

Главная мемуарная книга Леонида Борисова (1897–1972) «За круглым столом прошлого» вышла полвека назад, в начале семидесятых. Выход ее совпал с кончиной автора. За эти полвека Борисов стал прочно забытым писателем.

Нынешняя публикация «Звезды» — хороший повод о нем вспомнить.

Биографию его вкратце вспоминает О. Дмитриев в своем вступительном слове. Роман Борисова «Ход конем» (1927) похвалил Горький. Книгу о Грине, вышедшую в 1945 году, а перед этим печатавшуюся как раз в «Звезде», обругал Жданов. Но в постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» фамилия Борисова не попала. (На этот счет у Борисова была своя версия, о чем немного ниже.) После смерти Сталина Леонида Борисова снова стали издавать. Но читают ли сегодня его книгу об А. Грине «Волшебник из Гель-Гью»? Едва ли. Так же, как и его романизированные биографии Жюль Верна и Стивенсона. Забыты и его книги о Римском-Корсакове, Рахманинове, Шаляпине...

Документальность и достоверность не были его союзниками. К подлинным биографиям своих героев он относился более чем вольно. И так же вольны были собственные его устные воспоминания. Репутация фантазера преследовала его. Художник Анатолий Давыдов вспоминает свой разговор с Федором Абрамовым:

« — Как же, знал, знал этого старика, чудной был писатель, фантазер, выдумщик, по одной лестнице жили. Бывал у него дома. Вр-а-а-ль!»

Но «враль» к Леониду Борисову едва ли подходит, он был выдумщиком высокой пробы, не столько воссоздающим реальность, сколько пересоздающим ее. Устные его рассказы бывали замечательны. И. Басалаев вспоминал образцы этих рассказов:

« — Сегодня сижу за столом и вдруг вижу, открывается дверь, и в комнату вхожу я сам... — Он рассказывает об этом с явным удивлением и даже не иронизирует.

Или такой:

— Вчера утром в окно влетел жук. Летал, летал по комнате, сел на стол, похлопал себя по ж..., сказал: «Эх, дела, дела...» и улетел... ».

Любил Леонид Борисов вспоминать и доклад Жданова, и последующее постановление. Уверил себя и уверял других, что к Зощенко и Ахматовой его не пристегнули потому, что Сталин велел его не трогать. «Усатый» де нежно полюбил его «Волшебника из Гель-Гью». Это, положим, фантазия в чистом виде, но с Ахматовой и Зощенко связаны два достоверных эпизода, в которых чудачество Л. Борисова превращается как минимум в гражданскую позицию.

Вот воспоминание Д. Гранина о похоронах Зощенко. «Церемония заканчивалась, когда вдруг, растолкав всех, прорвался к гробу Леонид Борисов. Это был уже пожилой писатель, автор известной книги об Александре Грине “Волшебник из Гель-Гью”, человек, который никогда не выступал ни на каких собраниях, можно считать, вполне благонамеренный. Наверное, поэтому Александр Прокофьев не стал останавливать его, тем более что панихида проходила благополучно, никто ни слова не говорил о травле Зощенко, о постановлении ЦК, словно никакой трагедии не было в его жизни, была благополучная жизнь автора популярных рассказов.

“Миша, дорогой, — закричал Борисов, — прости нас, дураков, мы тебя не защитили, отдали тебя убийцам, виноваты мы, виноваты!”»

А вот письмо Леонида Борисова к Анне Ахматовой, датированное ноябрем 1960-го года. «Как смогли Вы, Анна Андреевна, назвать Блока «трагическим тенором эпохи»? /... / Вместо «трагического голоса эпохи» Вы

по-Собиновски окрестили великого современника своего, — ох, как страшно изменил вам вкус, такт, память...»

Однако в написанных в 1965 году мемуарных записях с не слишком выигранным названием «Праздник памяти» ничего этого нет. Он, знавший всех великих и знаменитых своих современников, лишь мельком упоминает то Блока, то Грина, то Пастернака... Это воспоминания писателя не о писателях. Это, прежде всего, воспоминания о ранних своих годах как о потерянном рае.

На первый взгляд — это сырой материал. Отчасти так и есть — рукописи, не дошедшие до печатного станка и десятилетиями дремавшие в архивах, часто не отделаны. Но, строго говоря, память так и работает. Может так работать. Человек долго вспоминает, как он собирал в детстве грибы, как волшебен был Кресловский лес в Псковской губернии. Внезапно память вдруг метнется на станцию, куда прибывает отец на утреннем поезде. И снова в лес, где герой вдруг встретит местного помещика Брянчанинова и изумится, что господин «обращается на «вы» к шестнадцатилетнему, бедно одетому юноше».

Сперва «Праздник памяти» больше похож на скорбный список, который автор длит и длит, не в силах остановиться. Погибло все, чем жива память о детстве и юности. «Ничего не осталось памятного мне на родине моей матери — даже сам Михайлов Погост сегодня состоит всего лишь из пяти домов. А было, еще так недавно, сорок шесть. В 1913 году — сто десять. /... / В 58 году я побывал в Михайловом Погосте. Все ощущения мои, испытанные в детстве и юности, я пережил в моем воображении, представляя, где что было: вот здесь одно, здесь другое, вот тут колодец, а тут камень, наполовину ушедший в землю. Колодец уже не колодец — и нет воды в нем, и едва держится деревянный сруб. /... / Ни Кресловского леса, ни рощи в Щукине, ни Абарина бора, пусто и голо вокруг невыразимо...»

Но рецепт давно известен — то, чего больше нет, можно воскресить и сохранить на страницах воспоминаний. Леонид Борисов поэтично воскрешает звуки и запахи, цвета и от-

тенки. Но хранит еще и сотни имен, кличек, названий, витрин, вывесок... Петербургская повседневная жизнь начала 20 века предстает в многообразии деталей. Как и какие пели песни, как и что читали вслух по вечерам, собравшись за столом под керосиновой лампой... По каким правилам играли в городки и серсо, в орлянку и палочку-воровалочку... Все помнят журнал «Нива» с его знаменитыми приложениями, но память Борисова цепко хранит и журналы «Шут», «Живописное обозрение», «Старые годы»... И «переплетенные годовые комплекты детских журналов: «Тропинка», «Путеводный огонек», «Задушевное слово» — этот журнал мне не нравился, я любил «Природа и люди» и журнал, издаваемый братом Антона Павловича Чехова — Михаилом Павловичем, — «Золотое детство».

Мы привыкли к образу каменного, изначально каменного Петербурга, — в противовес старой деревянной Москве. Тем удивительней напоминание Л. Борисова, что Петербург мог оставаться деревянным и отчасти деревенским еще в двадцатом веке. «На Большом — да что там Большой, даже и на Невском! — /.../ стояли деревянные дома, многие уцелели до конца тридцатых годов. А в конце улиц Спасской, Гребецкой, Большой Разночинной во дворах разгуливали свиньи с поросятами, на деревянных щитах подле калитки у ворот среди объявлений о сдаче квартир и комнат выгорали на солнце выведенные чернилами по-печатному крупно: «МОЛОКО ОТ СВОИХ КОРОВ».

Помня, что всю жизнь автор этих воспоминаний считался выдумщиком и фантазером, ждешь и здесь каких-то красивых фантазий. Однако не находишь почти ничего, что смахивает на откровенный вымысел. Даже если

автор с ужасом и восторгом рассказывает, как встретил в 1913 г. в Кресловском лесу Льва Толстого, он тотчас сообщит, что после этой встречи выводывал у местных, не живет ли поблизости какой-нибудь мужик, разительно похожий на Льва Толстого.

Но автору все же жаль, что в 1913 году нельзя встретить в лесу подлинного Льва Толстого. Недаром так любит он вспоминать встреченных в ранние годы профессиональных вралей — им вольно вспоминать все, что угодно. Вот странница Палага, которая кормится тем, что ходя по домам, рассказывает истории из своей удивительной жизни, иногда выпрашивая у доверенных лиц, не слишком ли онахватила через край.

« — Тут долго говорить, — повествовала Палага, — спустя год в новой моей жизни завладел мною дьявол. Небольшого размера — прежде чем залезать внутрь меня, копыта вазелином смазывал, рога в лоб прятал, только шишки оставались, ужасно большое неудобство было мне от них...»

Или столетний с гаком Василий Симаков с его достоверным рассказом о похоронах Пушкина, гроб которого студенты несли на вокзал. Когда ему говорят, что тогда еще никаких вокзалов не было, он ничуть не смущается — он помнит вокзал, и ничего тут не поделаешь.

На склоне своих лет Леонид Борисов своей памяти таких вольностей не позволяет. Что не мешает ему осознавать себя волшебником. «А для чего, к чему такая память? Мучительный дар. С ним я, впрочем, как волшебник, преподносящий чудеса и подарки самому себе. А ежели себе, значит, и кому-то другому».

Федор ОТКИН

ТОМАС МАНН И ЕГО СЕМЬЯ

Колм Тойбин. Волшебник. / Пер. с англ. М. Клеветенко. М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022.

Нобелевский лауреат Томас Манн является одним из столпов немецкой культуры и носителем идей гуманизма. Вынужденный в годы Второй мировой войны уехать в Америку, он регулярно выступал с обращениями к немецкой нации, надеясь вывести ее из припадка нацистского безумия. Сегодня он воспринимается как титан духа и ключевая фигура европейской культуры 20-го века. О нем и его творчестве написано много книг. Исследователям хорошо известны гомосексуальность писателя и его семейные проблемы. При обращении с фигурой Томаса Манна возможны две стратегии. Либо можно рисовать образ человека, устремленного ввысь и несущего свет слова, либо изображать обывателя, погруженного в дразги и нерешительного. Известный ирландский писатель Колм Тойбин выбрал второй путь и в своей романизированной биографии представил Томаса Манна мечтателем, влюбленным в юные тела молодых людей, человеком сомневающимся и почти без стержня, который даже для детей не смог стать авторитетом. О творчестве писателя Тойбин пишет до обидного мало, так что после прочтения «Волшебника» даже непонятно, а что такого великого сотворил Томас Манн?

Роман Тойбина подчинен строгому закону хронологии, и мы последовательно движемся от юных лет нашего героя к закату жизни. Томас Манн родился в 1875 году в Любеке в семье сенатора и торговца и его жены, которая была родом из Бразилии. Отец имел хорошую предпринимательскую хватку и больше всего на свете хотел

бы, чтобы дети продолжили его дело. Поэтому, когда маленький Томас вдруг интересовался судами, страховками и банками, отец это приветствовал. Он не понимал, что в действительности его сына влекло другое. Куда больше тому нравилось слушать рассказы матери о Бразилии, где все носило белое и смеялись, что было так не похоже на Любек. Мать и сама воплощала образ этой свободной далекой страны. Например, в Любеке она приветствовала людей по именам, что считалось верхом неприличия.

Когда в 1891 году отец умер, из завещания стало понятно его истинное отношение к своим отпрыскам. Он наказывал отворотить Генриха, старшего брата Томаса и тоже будущего писателя, от занятий литературой, а Томаса приставить к какому-нибудь полезному делу. Фирма была продана, Томасу назначались опекуны, но без денег семья не оставалась. После смерти мужа мать Томаса с другими детьми решила перебраться в Мюнхен, что снова вызвало осуждение жителей Любека. Ведь Мюнхен — это юг, там богема и безнравственность.

Томас начинает работать в страховой конторе, вернее, просиживать там штаны. Томас вроде застенчив, но, с другой стороны, ему хочется бросить вызов своим наставникам и опекунам, которые его сюда определили. Куда больше его интересует литература. Он начинает писать стихи и даже читать их некоторым своим знакомым. Здесь Колм Тойбин ненавязчиво, почти без пикантных подробностей, но все-таки весьма последовательно начинает рисовать нам портрет юного гомосексуалиста. Томас посвящал стихи парням, которые ему нравились, но бывало и так, что парни после этого от него отдалялись. Впрочем, были и успехи. Тойбин довольно прямолинейно описывает контакты Томаса с парнями и мужчинами, которые незамедлительно превращаются или пытаются превратиться во что-то больше. Трудно не увидеть в этом логике дешевого эротического фильма. Когда читаешь описание любовных сцен, не до конца понятно, то ли автор хочет постичь душу своего героя, то ли просто покопаться в его грязном белье.

Тем временем Томас, очевидно, пишет «Будденброков». Тойбин ни слова не сообщает о том, как шла работа над книгой, и говорит только о том, что она посвящена вырождению одного любекского рода и прототипами ее героев послужили члены семьи самого писателя. Позже некоторые из этих членов семьи возмутились, узнав себя в романе. Тетя Томаса стала жаловаться, что горожане считали ее неприятной героиней из книги. И хотя знакомые, читавшие «Будденброков» в рукописи, говорили, что никто эту книгу никогда не опубликует, а Любек после публикации был возмущен, к Томасу пришла известность. Он знакомится с Катей Прингсхайм, дочерью мюнхенского профессора математики, и вступает с ней брак, в котором у него родится шестеро детей. Дневники дают основание полагать, что Томас, влюблявшийся в юношей вокруг себя, задыхался в атмосфере традиционной семьи, которая казалась ему душной. Однако Тойбин ни разу не говорит о том, что брак угнетал писателя. Наоборот, в семье царил взаимопонимание, Томасу очень нужно было общение с женой, и многие вещи даже утрачивали для него смысл, если он не мог обсудить их с Катей. А Катя была готова терпеть гомосексуальность Томаса, если это не создавало помех в ее тихой семейной жизни. Не будем забывать и о том, что брак Томаса продлился до самой смерти, чего не скажешь о связях некоторых его ветреных детей.

Тема гомосексуальности нашла отражение в знаменитой повести Томаса Манна «Смерть в Венеции», по сюжету которой пожилой человек влюбляется в подростка. В этом произведении писатель хотел свести всю жизнь к одному разочарованию. После выхода повести прогрессивная бабушка Кати сняла свои возражения по поводу брака внучки, которые были у нее раньше.

В годы Первой мировой войны писатель хотел выступить как публицист и долго писал тексты, которые впоследствии вошли в книгу «Размышления аполитичного». Германия для Томаса была великой страной, тогда как для его брата Генриха она была машиной убийства и подавления. Томас приветствовал намерение немцев защищать себя силой оружия, потому что таким

образом нация защищала немецкий дух и классиков немецкой культуры. Война как таковая, по его мнению, началась из-за того, что враги захотели помешать возвышению Германии. Теперь немецкий дух, для которого характерны иррациональность, беспокойство и внутренняя борьба, должен дать отпор. Агрессивность своего народа Томас оправдывал следующими словами: «Воинственный дух немцев зиждется на нравственном чувстве, а не на тщеславии или имперских амбициях. После войны Германии станет еще краше и свободнее. Если же ей суждено проиграть, Европа никогда не будет знать покоя. Только победа Германии гарантирует общеевропейский мир». Однако «Размышления аполитичного» вышли уже после войны и потеряли актуальность. При этом Тойбин отмечает, что Томасу не хватало знаний, потому что он не читал политических философов.

После поражения Германии писатель увидел, как на улицах бедные швыряли яблоки в богатых бюргеров. И он тоже был таким богатым бюргером. Еще в 1914 году Манна строят дом в Мюнхене. Очевидно, что финансово Манна благополучны, и дом выходит роскошным. Томас беспокоился о том, что дети воспринимают богатство семьи как должное. Именно поэтому во время мюнхенского восстания 1919 года, которое привело к образованию просуществовавшей почти месяц Баварской советской республики, семье Томаса угрожала реальная опасность. В своем доме он боялся подходить к окнам. Конечно, он прекрасно понимал, что эти бури были вызваны социальным недовольством. Инфляция в Германии — это месть победителей, которые обложили страну экспортными пошлинами. Уже тогда писатель ясно осознал, что народное возмущение в будущем будет нелегко подавить. Правда, сам Томас от инфляции не страдал. Гонорары за публикацию его книг за границей выплачивались в долларах.

Были и другие угрозы — популярность в стране начал приобретать Адольф Гитлер. Когда газеты начинают печатать фотографии Гитлера, брат Томаса Генрих замечает, что толпа обнищавших людей легко пойдет за таки-

ми, как этот выскочка. Томас отвечает, что Гитлер — это демагог-неудачник. Они еще не до конца понимают, в какую силу превратятся организованные нацистами народные выступления.

В 1927 и 1928 годах в день объявления лауреата Нобелевской премии по литературе у дверей дома Маннов дежурили репортеры. Они ожидали, что премию присудят Томасу. Так и случилось, но в 1929 году. Правда, чета Маннов в некотором смысле боялась этой премии. Они не хотели, чтобы немцы, среди которых было два миллиона безработных, обсуждали ее сумму. Томас отказывается верить, что у Гитлера есть поддержка, однако один из сыновей бросает ему факты в лицо: митингующих нацистов все больше, они кое-где уже побеждают на выборах и даже собирают свою армию. И эти нацисты уже выразили свое мнение о премии Манна на страницах «Иллюстриртер Беобахтер». Они обвинили писателя в буржуазности и космополитичности, заявив, что культура Германии должна быть другой. Вскоре Томас начал видеть нацистов на своих выступлениях. Они перебивали и оскорбляли его, не давая говорить.

Кончилось все тем, что писатель вынужден был покинуть Германию и перебраться в Америку. Дочь Эрика требовала от отца публично выступить с осуждением Гитлера, но Томас все медлил. На самом деле тот просто хотел успеть вывезти из страны как можно больше родственников. В Америке он встречался с самим президентом Рузвельтом и был вторым по значению немцем после Эйнштейна. Однако и здесь Тойбин проводит идею о том, что писатель был как бы не совсем самостоятельным и был пассивной пешкой в игре других. Американцы призывали его заняться общественной деятельностью, направленной против Гитлера, и Томас в итоге последовал этим призывам. Он настаивал на вине всех немцев, однако также высказывал идею, что немецкая культура, породившая нацизм, способна породить и семена новой демократии. Совершенно такие же противоречия германского духа воплощал Мартин Лютер. Он нес свободу, но вел себя как безумец во время Крестьянской войны 1524 года.

Люди Рузвельта высказывали идею, что Томас мог бы стать главой правительства в послевоенной Германии. Писатель посчитал эту идею совершенно безумной. Но когда Германия была повержена и он решил посетить родную страну, ему совершенно четко дали понять, что визит в Восточный Берлин, находившийся под контролем Советского Союза, ему крайне не рекомендован. Писатель не послушался, потому что для него Германия была единой. В итоге в Америке он в одночасье лишился былого влияния. Он и сам не видел, за какие американские идеалы теперь имело смысл сражаться. А если бы он вдруг решился критиковать Америку, это было бы всего лишь позой. Получается, что его просто использовали во время войны, а сам по себе он никому не был нужен. Доходило до того, что его детей часами допрашивала полиция.

Кем является Томас Манн для поколений читателей всего мира? Титаном духа, властителем дум, гением и небожителем. Тойбин же рисует совершенно другой портрет. В «Волшебнике» писатель не может защититься даже от нападок собственных детей. Дочь Эрика постоянно его критикует за старомодность и отсталость от жизни, а сын Михаэль прямо обвиняет отца, когда тот пишет «Доктора Фаустуса». Что он, какой-то писатель, вообще может знать о музыке? Несмотря на это, дети часто брали у отца деньги. И вряд ли мы можем обвинить Тойбина в предвзятости. Есть все основания полагать, что Томас Манн вполне мог прожить жизнь, описанную в «Волшебнике». Тойбин вряд ли что-то сочинял, а в конце его книги приводятся многочисленные источники. И тот же сын Михаэль после похорон своего брата-наркомана Клауса пишет отцу строки, наверняка взятые Тойбиным из документов: «Уверен, мир благодарен тебе за пристальное внимание, которое ты уделяешь своим книгам, но мы, твои дети, не испытываем ни малейшей благодарности ни к тебе, ни к нашей матери, которая всегда рядом с тобой. <...> Ты великий человек. Твой гуманизм признан повсеместно. Уверен, ты радуешься аплодисментам, которыми тебя встречают в Скандинавии. Скорее всего, тебя не волнует, что

эти льстивые чувства не разделяет никто из твоих детей». О чем здесь еще говорить?

Дети Томаса и Кати Маннов жаждали скандалов, они были бисексуальны и ветрены, подавали надежды, но так ничего и не добились. Они не оставили никакого заметного следа и потому не заслуживали особого уважения. Их отец был человеком другой эпохи. Тойбин рисует его пленником своих сексуальных фантазий и упоминает особо интимные дневники, которые писатель очень хотел вывезти из Германии после эмиграции.

Безусловно, «Волшебник» Тойбина — работа серьезная и основательная. Но иногда о важных вещах здесь может сообщаться вскользь. Вот чета Маннов строит новый дом в пригороде Мюнхена, причем в доме будет ванная комната, что является признаком достатка. А уже через несколько

страниц мы отказываемся в разгаре войны, и Тойбин сообщает мельком, что Катя с большим трудом достает муку и яйца на черном рынке. А ещё через несколько страниц после поражения Германии Томас Манн боится выйти из дома, чтобы его не убили революционеры-социалисты. Этот сухой ритм ровных пропорций не позволяет ни на чем сделать акцент. Напомним также, что Тойбин почти ничего не пишет о творчестве писателя. Поэтому «Волшебник» — это исключительно книга о Томасе Манне как человеке семейном, который спорит с братом Генрихом, общается с женой и терпит выходки и упреки никчемных детей. Именно дети в кругу семьи когда-то называли его волшебником, но в итоге он превратился для них в оторванного от жизни старика.

Сергей СИРОТИН

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

«НЕПРАВДА ВАША, ДЯДЕНЬКИ...»

«Операция “Неман”», сериал, Россия, 2023;

«В августе 44-го», фильм, Россия–Белоруссия, 2001;

Владимир Богомолов, «В августе сорок четвёртого» («Момент истины»), «Новый мир», 1974

Как-то не получается в последнее время писать о простых вещах: вот фильм (сериал), снятый по оригинальному сценарию... и всё! А тут за что ни возьмись, как минимум трех-, а то и четырехэтажные конструкции получаются.

В данном случае писатель Богомолов построил прочный фундамент (роман), и на нем сначала Жалакявичюс¹ попытался возвести первый этаж, почти досняв фильм «Момент истины» (1975), но по воле автора романа фильм был закрыт и пленки уничтожены, так что посмотреть его нам с вами, увы, не удастся. Потом, в 2001 году, на освободившемся фундаменте Пташук² возвел простой, но добротный, до сих пор нисколько не устаревший морально и никем не превзойденный одноэтажный дом — ну, то есть фильм, конечно. Замечательный, по-моему, фильм, максимально приближенный к первоисточнику... но, видимо, не максимально для автора. Правда, на сей раз запретить выход фильма Богомолов не смог или не захотел и только снял свою фамилию с титров.

Ну а в наше замечательное время нашлись новые продюсеры и режиссеры, которые поверх этого строения возвели аж пять этажей (серий), используя традиционные японские технологии. То есть вместо кирпича

или бетона выстроили свой домище исключительно из бамбуковых планок и рисовой бумаги. Ясно ведь, что не на века строили, а исключительно к праздничной дате. Лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай!

Презентация, то бишь премьера, сериала прошла в кинотеатре Музея Победы «Поклонка». Журналисты «Известий» посетили премьеру и поздравили создателей с творческой удачей. А также взяли несколько интервью, в том числе и у продюсера сериала Андрея Тартакова. Далее — цитата:

«Продюсер сериала Андрей Тартаков рассказал, что одной из задач создателей было соответствие замечательной литературе Богомолова. Приступая к работе над сценарием, они связались с семьей писателя. И вдова Владимира Богомолова одобрила его...»

И почему, спрашивается, я совершенно не верю, что вдова писателя сидела и добросовестно сравнивала текст сценария с текстом романа? Наверное, потому, что сравнивать там практически нечего. Ни один эпизод, ни одна страница романа в сценарий не вошла. Разве что отдельные фразы типа «Закон порядок любит!» — но и ее вместо Алехина произносит совершенно случайный, безымянный контрразведчик. И «бабушка», как неоднократно отмечалось в рецензиях и отзывах зрителей, так и не приехала. А главное — из сериала напрочь исчез **Момент Истины...**

«— Мы дофантазировали, расширили образ Мищенко, который в романе появляется ближе к финалу. А у нас Леша Кравченко играет его с самого начала. Ну разве не интересно посмотреть, как забросили диверсанта? Это же художественное кино, — объяснил «Известиям» Андрей Тартаков.»

Вот дофантазировали они, и дофантазировались до того, что Алехин чуть ли не в первой серии очень просто и очень скучно додумался, что этот самый диверсант, на заброску которого, по мнению Тартакова, нам так «интересно посмотреть», не кто иной, как Мищенко. Додумался, на бумажке написал и Таманцеву показал. А тот только в затылке почесал и даже «Ты, Паша, — мозга!» — не сказал. Не мог сказать. Потому что они всего-то полчаса назад познакомились. И Алехин

¹ Витаутас Жалакявичюс (1930–1996) — советский и литовский режиссер. Самая известная работа — фильм «Никто не хотел умирать» (1966).

² Михаил Пташук (1943–2002) — советский и белорусский режиссер. Народный артист БССР.

Таманцеву пока вовсе не Паша, а товарищ капитан.

Для того чтобы это произошло, расширяющим все подряд авторам пришлось оживить давно убитого (в романе) Басоса — ну и тут же его быстренько прикончить, чтобы Алехин мог занять его место. Прикончили беднягу в самом, пожалуй, глупом эпизоде сериала: во время засады на Мищенко Басос вместо того, чтобы спрятаться за дверь, как сделал бы *настоящий*³ Таманцев, и оглушить диверсанта рукояткой нагана по голове, изобразил из себя какого-то романтического героя, вскричав из дальнего угла комнаты: «Руки! Оружие на пол!..» — ну и натурально началась пальба в доме и на улице, диверсант (не Мищенко, кстати, а герой-любовник Павловский) легко убежал от пожилых, толстых и задыхающихся чекистов, и тут уже сам Мищенко предложил Басосу его подвезти и убил, конечно, коварно, гад, а Павловского спас...

После этого в сериале не начали оживать и действовать разве что фонарные столбы. Вначале оживает только упомянутая в романе Верка-модистка... Пардон, Верка — это «Место встречи...», а тут была агентурная кличка Модистка, а стала мадам Гролинская, модистка, к которой посылает с паролем свою возлюбленную Павловский. И уже совсем лихо возникает разоблаченная Таманцевым Ивашова (которая все сыночка искала у воинских эшелонов), и оказывается... Не падайте со стула — Ивашова оказывается не то женой, не то любовницей Мищенко. Затем возникает уже совсем ниоткуда секретарша штаба фронта, которая за просто выписывает модистке пропуск в штаб, и тут же мимоходом является некий полковник Соломатин, про которого мы сразу понимаем, что это и есть немецкий шпион Матильда, — ну не стал бы ведь сам Сергей Маковецкий играть в незначащем эпизоде!

Это, кстати, единственный более-менее удачный вставной эпизод в сериале (вы, надеюсь, помните, что Матильда тоже лишь упоминается в

конце романа). Просто Маковецкий, в отличие от всех остальных исполнителей ролей, не умеет играть плохо и создает очень достоверный и даже вызывающий сочувствие образ. Чего, увы, не скажешь про остальных.

Ужасен генерал Егоров в исполнении Андрея Смолякова. При взгляде на него сразу вспоминаются строки Мандельштама:

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет...

Егоров, конечно, не вождь, и если уж не то пошло, не место простому генерал-лейтенанту в кабинете вождя. Для этого в романе был Колыбанов, который, несомненно, Абакумов — зам наркома обороны и начальник контрразведки СМЕРШ. Абакумов, кстати, как раз в сериале очень даже неплох, прям как настоящий... А вот Егоров в этом вечном кителе с золотыми погонами в недавно освобожденной Лиде — еще бы мишень на спине нарисовать! Ну ладно, к Сталину при параде, но неужто дома нормальной гимнастерки не нашлось? И совсем он при том не *настоящий* Егоров, каким был великий Петренко. Только и может орать «Трибунал!» и «Иасстрелять!» да настаивать на войсковой операции — а *настоящий* Егоров, если помните, был категорически против.

Просто плохи все без исключения главные герои. Невыразительный Алехин, откровенно старый и неинтересный Таманцев, никакой Блинов. Эти двое последних особенно смешны рядом: маленький, худенький Блинов и старообразный и громоздкий Таманцев. И притом капитан у них почему-то в пилотке, как и было в романе описано, а эти двое в нелепых командирских фуражках. Даже интересно, куда они их засовывают, когда Алехин приказывает снять ремни, погоны и головные уборы... В карман галифе, в отличие от пилотки, было бы затруднительно.

Диверсанты тоже не лучшие. В фильме Каролина Грушка и Радослав Пазура такая красивая пара, даже жалко парня, когда он застрелился, хоть и шпион, а здесь... И девица так себе, а он... ну, не герой-любовник, в общем, скорее очень

³ Слово «настоящий» здесь и далее я употребляю исключительно по отношению к героям романа Богомолова и фильма Пташука. Настоящий Алехин, настоящий Таманцев и т.д. Все персонажи сериала — не настоящие.

жесткий солдафон. Ну и Мищенко, который должен был лишь в самом конце предстать пред светлые очи Алехина, с самого начала светится, носится по городам и вескам⁴, как злобный колобок, и стреляет во все, что движется. Даже Павловского и то он застрелил — так, чтобы по любовницам не бегал. Зато и прикончили Мищенко просто замечательно, такого точно вы нигде больше не увидите. Алехин, у которого по сценарию осколок в сердце, километров десять гнался за Мищенко по лесам и оврагам, потом они долго дрались в реке, и, когда Мищенко уже почти убил Алехина, тяжело раненый лейтенант, который зачем-то оказался тут, подкрался и укусил (так!) Мищенко в плечо, а Алехин вынырнул и успешно задушил злодея ремнем.

А вы говорите Момент Истины... Момента Истины, если уж на то пошло, добивался как раз Мищенко, которому подсунули дезу через Соломатина, а он тому на слово не верил, хотел собственными глазами увидеть и убедиться. Убедился в конечном счете, и тут его и укусили...

Кстати, не понял я, почему Мищенко подчиненные называют «господин полковник». Полковник чего? РОА⁵. Как-то не очень авторитетно для немцев. Абвера — уж совсем невероятно! Чтобы какому-то русскому агенту немцы дали полковника? Дитрих («Щит и меч») уж на что аристократ и потомственный военный, и то едва до майора дослужился. А Иоганн Вайс до гауптштурмфюрера, то бишь капитана СД, а тут русский — целый полковник. Не верю!

На этой прекрасной ноте предлагаю с сериалом покончить, пять этажей из бамбука и бумаги снести и считать небывшими. И обратиться ненадолго к старому и любимому фильму.

Естественно, в отзывах на сериал неоднократно упоминался фильм Пташук, и всегда в положительном смысле, иногда даже в превосходных степенях, однако нашлись и желающие покритиковать. Иногда по мелочи: типа не имел права Алехин перед

майором удостоверением СМЕРШа фигурировать и тому подобное. Но была критика и посерьезнее.

Так, например, одна дама (не записал сразу, кто, а потом именно этой статьи и не нашел) высказалась примерно в том духе, что, несмотря на отличных актеров, в результате у Пташука, в отличие от романа, получился довольно заурядный боевик. Я вот специально перечитал роман и еще раз с удовольствием посмотрел фильм, и хотел бы эту даму попросить указать конкретно хоть один эпизод фильма, который отклонился бы от текста романа *в сторону боевика*. Да, в фильм некоторые эпизоды романа не вошли, это правда, и кое-какие нюансы были утрачены, но ведь Пташук и так был на пределе метража (оригинальная версия 1 час 58 минут, которую продюсер урезал еще на 13). Ну не было у него второй серии в запасе!

А другому критику, который заявил, что не должно быть у Таманцева морских татуировок, потому что нет никаких указаний на его морское прошлое, мы с Ваней Солнцевым прямо скажем: «Неправда ваша, дяденька!» И чтобы не быть голословными, приводим три цитаты.

«— Болотом пахнет, — сказал, однако, Таманцев. — Заметьте, во всех реках вода отдает болотом. Даже в Днестре.

— Ты, понятно, меньше, чем на море, не согласен, — вытирая лицо, усмехнулся Алехин.

— Именно!.. Вам этого не понять...»

Это пока только намек, но давайте глянем дальше.

«...Но она только плакала... Совсем как в порту, когда еще мальчишкой, салягой я уходил *надолго в плавание...*»

Кажется, достаточно. Но все же поставим последнюю точку.

«— Я жить не буду!!! — Обеими руками он ухватил ворот своей расстегнутой наверху гимнастерки и, рванув, разодрал ее до пояса, обнажив широкую крепкую грудь, сплошь расписанную *синими разводами морской татуировки...*»

Так что уж простите, дяденьки и тетьки: как автор написал, так режиссер и поставил, а Галкин, Миронов, Петренко и все-все-все замечательно сыграли!

⁴ Веска, а правильнее вёска — деревня белорусски.

⁵ Русская освободительная армия — вооруженное формирование в составе вермахта из российских пленных, изменивших присяге.

Руслан Комадей

Окраинная речь: о поэтике Александра Петрушкина

Как стремительно я начал писать текст после смерти Александра Петрушкина, лихорадочно фиксируя крохотные понимания его через испаряющееся ощущение со-присутствия, так же резко и стал забывать о нём — искать повода прекратить. Так бытие судорожно впитывает утрату со всей яркостью, чтобы воспоминания могли паразитировать вдоволь, а живое ощущение живого человека сопроводить в отмершее.

Поэтому возобновить письмо текста можно было только с точки разрыва — потери начала. Так примерно и строятся наши взаимоотношения с мёртвыми — они либо убывают, превращаясь в твердый предмет памяти, либо превращаются в *постоянных* — тех, кто со-живёт в нашем существовании независимо от витального статуса. Превращаются через постоянное возобновление разговора, вспышек узнаваний и выражений лица.

Александр Петрушкин — собеседник с тихим, вкрадчивым тоном, слушающим твоё, как своё, но выговаривающий обратное — то, что лежит тебе поперёк, но так плавно, как свежий снег на земле. Этот тон, невнятица, чередующаяся с ясностью говорения, полуанфасы, прищур и позы курения — это всё возвращается — делает проколы в забвении.

Я узнавал и узнаю Петрушкина всегда отрывочно, никогда не пытаюсь складывать в облик — так присутствие проступает явственнее — как и смерть — являющаяся здесь лишь модусом усиленного утаивания бытия другого — где не он сам являет это бытие, а его следы и твои интуиции.

О себе Петрушкин редко и вкрадчиво рассказывал в частных беседах нечто трудно соотносящееся с его регулярной тихой действительностью. Эти мелочащиеся тайны рассованы, как в тайники, в его случайных или закономерных собеседников.

Уверен, что у меня ключи только от нескольких.

К своим 47 годам до смерти Петрушкин стал тихим, подчёркивающим собственную старость — не как возраст, а как состояние. Это состаривание нужно ему было, чтобы как-то объяснить собственную извилистость биографии, ведь длительность и наполненность в ней противоречили и вытесняли друг друга.

У меня был соблазн дать выжимку из петрушкинской биографии (которую сам помню с провалами и вытеснениями). С одной стороны, это бы создало обозримую дистанцию — чтобы начать говорить о нём в закончившемся прошедшем, с другой — позволило бы сделать пересборку жизни — в

Руслан Комадей (1990) — родился на Камчатке, вырос в Челябинске и Нижнем Тагиле. Окончил УрФУ. Публиковался в журналах «Урал», «Нож», «Искусство кино» «Сеанс», «Горький», «Кинопоиск», Colta, «Дискурс», «Носорог», «Воздух», «Волга», textonly, postnonfiction и др. Лауреат премии им. В.Н. Тагищева (2019). Автор 6 книг.

каком-то смысле начать его жизнь заново. Продуктивнее говорить о биографии вскользь — как о самом чуждом для понимания — настолько, что любая удивительная деталь превращается в байку или анекдот для лучшего усвоения. Стихи, напротив, исключают превращение чуждости в расхожесть — они создают и концентрируют её в себе так, что другой, оглушенный недостаточностью этой чуждости, сам преображается.

Первые сохранившиеся до сегодняшнего дня тексты Петрушкина появляются в челябинской литстудии Нины Ягодинцевой — где в ходу были спокойные и формально безупречные стихи с отсылками к Мандельштаму, Пастернаку, Цветаевой и Тарковскому.

Но у Петрушкина даже в ранних текстах конца 90-х подобного успокоения нет. Нахождение в этой студии давало, видимо, ему необходимый полус отталкивания, чтобы достичь напряжения чуждости. Бэкграунд его к тому времени совмещал разное, трудно сопоставимое: и учебу в медицинском, и хиппанские путешествия, тюремный и криминальный опыт.

В обществе последних слово было не инструментом культурной апроприации, но тем, из-за чего могут убить или сохранить жизнь. Это проявлялось окольно и регулярно в текстах того времени: в них з/к часто оказывался свидетелем истины — тем, кто может ответить за слова (хотя это, например, коренным образом не совпадает с образом внечеловечных з/к из «Очерков преступного мира» Шаламова): *пытаясь шансы свои уровнять с з/к, / учусь новым позам собственного языка — / это не повод чтоб говорить — тем более петь — / нужно только стоять — и как ангел подбитый — смотреть!*

Вероятно, в этом говорении «по понятиям» Петрушкин видел не дно языка, а возможность приближения к самому Закону — когда малые мира сего будут ближе к Нему, чем остальные.

до парада Христа не подносят а крепко висят
осьминоги в ветвях Гефсимании местной где каждый
то в кадриль распускался то аскал у трех поросят
знать убежище норку кисета невидимой жажды

нахватала — хватило искры или кремний промок
то ль Крестителем слать то ль оживу в Кариоте
только это неважно пока не проходит шмон
вялой болезни в испачканной рыбе по роте

выбирали мы рост или бирку на мокрой руке
что-то снова не то Лазарь в доме твоём это плохо
чтоб случайно не было выхода — то есть ни вдоха —
льдом воды ключевой зашейте меня в языке

Поиск универсальной просодии, позволяющей сочетать брутальное, обценное и сакральное, закономерно приводит Петрушкина к переосвоению Бродского — он взрывает его афористические конструкции композициями из как будто неряшливых, разных стилистически окрашенных блоков. Это создает отстраняющий эффект: не то глумления, не то попытки изобретения нового птичьего языка. Углубляют его поиски и знакомство с поэтикой Виталия Кальпиди — так же использующего риторичность Бродского для «семантических подрывов» и столкновений разных пластов речи.

Но если Бродский, уже «канонизированный» к тому времени, не является ни соперником, ни живым собеседником, то Кальпиди становится для Петрушкина одновременно тем, на кого можно равняться и кого можно пародировать — перемалывая его просодический напор нарочитой несделанностью и ещё более агрессивной подачей.

В 2000-е Петрушкин продолжает захватывать просодические и стилистические территории — вовлекая в орбиту своей поэтики мрачное визионерство Андрея Санникова, полное сюрреалистичной отчуждённости, сочетающееся с пристальным взглядыванием в быт, и автореферентную психологию Евгения Туренко, где каждый афоризм обращён на самое себя.

Список «захватов» можно продолжать и дальше — но чем мельче и обильнее они, тем плотнее они впечатываются в палимпсестную поэтику Петрушкина — где каждый новый слой влияния перекрывает предыдущий не полностью, но оставляя зазоры и языковые лакуны. Петрушкин продвигается сквозь близкие и дальние имена, огибая и оформляясь ими как бы через изнанку, игнорируя такт и умеренность.

За 10 лет с конца 90-х Петрушкин перенимает все самые ходовые и яркие привычки уральского извода метареализма — с его избыточным вниманием к выводу любого невыразительного пейзажа в область эсхатологии, с остервенелым эротизмом, с закадычной нуминозностью, садистической деструктивной иронией и т. д.

«Из того, что осталось — пыль у моих подошв, / воздух, теснящий меня, короче, сквозная Челябин, / этого времени место — всё сходит за нож / и остаётся за ним...»

Ни у одного уральского поэта нет столько посвящений. А многие имена ещё и повторяются много раз или даже упоминаются в текстах прямо. Петрушкин шивает Урал и в целом поэтические имена через свои тексты.

Но у него есть обращения и посвящения не только уральским поэтам, но и Аркадию Драгомощенко, Андрею Таврову, Ольге Ермолаевой, Алексею Александрову и др. И везде Петрушкин то ли в качестве благодарного поклона, то ли хитрой украдки в карман заимствует нечто у адресата, преподнося ему это заимствование. Иногда, конечно, заимствование похоже на воровство — когда строчка украдена явно — один в один — но вставлена не пойми куда не пойми зачем.

В самом известном тексте Петрушкина 2000-х, «Драгомощенко всё-таки сука, в таком-то году...», адресат краденого не просто заявлен: он обруган с самого начала. Скрытое признание значимости адресата при предъявлении ему публичной обиды задаёт тексту парадоксальную энергию, где поиск точного слова — своего или чужого (не важно) — становится сюжетом для выговаривания и проживания этой обиды:

«Драгомощенко всё-таки сука. Поскольку не помню / я ни слова окраинной речи его — ни хрена / не приходит на ум — и птенчик что-то чиркает — / он подобно мне бессловесно сходит с ума».

Невозможность вспомнить тексты адресата создаёт место для новых слов, утверждающих это невспоминание, и, таким образом, зарастающих это зияние беспамятства. В некотором смысле с этим же работал и сам Драгомощенко — фиксируя в тексте дискурсивные разрывы и отбрасывание текста к собственному генезису. Но, в отличие от Драгомощенко, Петрушкин девальвирует значение разрыва, низводя его до выяснения отношений.

Подобный подход часто формировал отчуждение у тех, кого он называл в своих текстах. Ведь Петрушкин был не просто похож на каждого из перечисленных, но был как бы уродливым братом-близнецом — извилистым зеркалом.

Поэтика Петрушкина как будто попирала доминирующее в сообществе представление о ценности письма как новаторства, творчества как инструмента для выявления собственного голоса. Поэтику Петрушкина называли «толпой голосов» (А. Санников) или «тридцать человек в одном поэте» (С. Ивкин), «конгломерат самых отталкивающих примет «рыжего стиля» (Е. Изварина), подчёркивая, что явная вторичность и предъявление чужого — дурной тон.

Однако именно в зазоре между похожестью, подобием, подражанием возникло продуктивное поле для взращивания собственной поэтики — через недостаточное, неточное сходство с другими. В этом зазоре и располагается своя речь Петрушкина. Потому что неточность задаёт не внешнюю, но внутреннюю дистанцию. И чтобы преодолеть экстимную инерцию заимствования, и нужен такой резкий отстраняющий акт, как беспардонная блестящая кража, как заискивающее признание в любви или обиде.

Часто утрированное использование неточности (смещение семантики без видимых причин и грубое насаивание цитат) создаёт эффект, что Петрушкин прямолинейно пародирует, — когда кажется, что фраза или образ украдены из-за их афористичности и почти не обработаны. Но именно эта необработанность не только сохраняла чужие строки «живьём», но и парадоксальным образом делала их своими в другой текстовой среде. Так же, как и прямое обращение к Драгомошенко в приведённом тексте, сохраняет и образ живого адресата, и создаёт эффект «панибратского присвоения».

Впрочем, в позднем тексте со строчкой [*наши мёртвые нас/ не оставят в живых*] перифраз Высоцкого переворачивает восходящую к культу предков заботу мёртвых о живых в противостояние, напряжение между мирами — мы не знаем, для чего они нас не оставят? Тогда «краденая» фраза через отталкивание позволяет сделать «взлом бытия» — как в текстах Всеволода Некрасова, когда цитата, являющаяся повторением, требует повтора до той степени, пока не приведёт к фатальной близости события, вызвавшего её.

Петрушкинские цитаты-повторы позволяют заострить и обнажить прячущееся в чужих поэтиках, приближенное к бытию своей скрытостью. Так происходит не присвоение, а уточнение границ между поэтиками — внутреннее разграничение территорий. Но границы всё время смещаются, поэтому процессы де- и ретерриторизации поэтик у Петрушкина происходят постоянно. Поэтому, вероятно, он и писал каждый день, регулярно выявляя и уточняя (уточняя) границу между собой и другими: «...*Местный Гомер поёт — под цикад / междуречье, срезанное до сленга. От мира / остаются сапог и голод двух-трёх цитат*».

Неистощимая регулярная продуктивность в сочетании с обильным и произвольным цитированием напоминает и о поэтических машинах — когда поэтика кристаллизуется не столько в отдельных текстах, сколько в их массивах. В этой связи вспоминаются Всеволод Некрасов, Дмитрий Пригов и более современные Петрушкину Вадим Банников или Виктор Лисин, которые, при всей разности их поэтик, работают в каком-то смысле с апофатикой поэзии — через отрицание собственного и выявление — языкового/поэтического как такового.

Но если к вышеперечисленным скорее применим образ поэтических машин вроде конвейеров или штамповальных машин, усиливающих разницу или погрешность при обилии копий, то в случае Петрушкина скорее вспоминаются комбайны и тракторы — машины для возделывания земли. Он и сам в частных разговорах часто сравнивал свою поэтическую деятельность с садовой работой: как будто регулярное перекапывание земли неотделимо от письма. Но регулярность возделывания не равна механистичности. Если землю не пропалывать, не грабить — в ней прорастают сорняки — граница смещается так, что её можно упустить из виду.

Разрыхливание земли — это не только создание условий для эффективного роста растений, но и уточнение границы между живыми и мёртвыми, как в отрывке выше.

Тогда разграничение приобретает и глубинный эсхатологический характер: бесконечно прореживая границу между живыми и мёртвыми, мы гораздо лучше будем видеть альянсы и филиации — сходства и отличия — не менее остро, чем между живыми и живыми. Тогда поэтический текст может

прорасти вглубь невозможности описать ту сторону, тот момент, где бытие соскальзывает в смерть. Как будто дерево пускает корни в смерть, а здесь виднеется крона памяти. В таком случае стихи — это гранулы границы перехода, уточняющие её, обживающие прилегающие области.

В этих областях становления — живое с неживым переплетают друг друга, заимствуют свойства и пере-образуются — тут теряется украденное, найденное и собственное. Поэтому там нет вещей, а есть одновременно разложение и произрастание.

Собственное Петрушкина — это принципиальная агрессивная невнятность, точнее, недосформированность: семантических, синтаксических, образных перемычек. По его стихам плывут повторяющиеся, но гадательно воспринимаемые образы: быки, ветви, камни, ангелы, глаза, лучи... Чему они равны в его поэзии? И как они являются нам, читающим?

Это сходно с недоступной для непосвящённых символикой возрожденческой живописи, когда, например, лев на картине означал Святого Марка, Лука — Тельца и т. д. На поверхности же видна лишь зернистая фактура слов, красочных образов.

Петрушкину был важен предтеча Возрождения — Данте не только с его темнотами, но и с умением задавать такую перспективу, где угол обзора сразу дан в смещении, в подробностях, движении и становлении. И найти единственное место, откуда направлен взгляд, невозможно. Потому что творящий находится в творении, не отделяясь от процесса, — и сам неразличим за работой, потому что существует в событии творения.

Невнятность, плохое письмо, кривые цитаты — это способ сбить один-единственный ракурс, вернуть образу и его создателю динамику становления — точнее, свободу выражения — где еще нет границ между субъектом и предметами.

Семантическое поле текстов Петрушкина устроено так, что, производя перезагрузку образной системы, не имеет точек входа в неё: герметичность погружает в ожидание перед входом в глубину значения стихотворения. Это сходно с тем, как молиться на церковнославянском: когда произнесение фраз с ясным значением чередуется с темнотами, сквозь которые можно пробиться лишь усилием веры — заглянув за слова.

Предмет у Петрушкина и является событием своего становления, поэтому не добирается до собственной материальности и ещё не знает, что он такое, а только опредмечивается — потому значения номинаций гадательны.

Для поддержания становления и не-перехода в застывшость Петрушкину и нужно было каждодневное письмо — так не успевает возникнуть дистанция, когда текст отделяется от пишущего. Это сходно с дерридианской позицией, когда слово ещё осталось граммой, свободной от фиксированных значений.

Регулярность письма и концентрация на трудноговоримости приводят не к автоматизму, а к сшиванию разнородного — лоскутная цельность, которая масштабируется в новый иноязык, видный только с высоты птичьего полета — когда земля — не опора под ногами, а оболочка — покрывало Земли.

Вероятно, охватить это непрерывное (только прерванное...) письмо со становящимися понятиями, где глагол и существительные — суть знаки ситуации творения, можно только с нечеловеческой позиции. Мы, читатели, можем лишь ощутить или поверить. В этом есть деление на своих и чужих, точнее — на сю- и потусторонних. Так фактура стихотворений оказывается той самой межмирной границей.

бог стоит посередине

Не страшась приключиться вторично,
мы покажемся в этом лесу
хромосомном, от нас не отличном —
с чёрной дырочкой в каждом глазу.

Кто щебечет про нас, кроме этих —
неудобных на двух языках?
Чьи пернатые руки в умерших
ищут слово для нас, кукушат?

С лошадиного света наскоком
кто бежит здесь по нам босиком,
раздавая как милость по крохам
вслед за ним прилетающий дом?

Из-под клюва сирени мальками —
он идёт и четыре гвоздя
то ли крыльями, то ли руками
открывают у страха глаза.

Петрушкин бесстрашно проницал границы между живым и мертвым, субъектом и объектом, предметом и его свойствами, между своими и чужими — он откликнулся на обращённое и принимал каждое другое по вере его, точнее — по вниманию. И это всепринятие, равное отталкиванию, было особым способом сотворения поэтического: почти религиозным актом — сходным по значимости с введением малых сих в Царствие Божие.

После ухода Петрушкина поэтический Урал, который был с начала 2000-х и покоился на столпах Рыжего-Казарина-Туренко-Кальпиди-Санникова, — окончательно рассыпался. Исчерпался и, условно, исторический метареализм, доведенный до предельной метаболизации всех элементов. Исчез связной, превращавший это разнородное в общность, принимавший разность за близость и наоборот.

Но, возможно, именно благодаря этим смещениям и исчезновению Петрушкина возникнет новая перспектива, ведь теперь определяться поэтики вышеперечисленных поэтов могут ещё и по тому, что у них украл-выбрал Петрушкин, и вообще — что он оставил от них — им.

Ничего, потерпи, я возможно, что всё сказал —
и внутри у угла нить свернётся, как свет, в овал —
станет лампочкой, светом, птенцом и, возможно, мной,
что соврал здесь смерть — отчего возвращён домой.

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи и не вступает в переписку по поводу отвергнутых материалов.

Рукописи, в которых отсутствуют данные об авторе (имя и фамилия, обратный адрес или телефон), не рассматриваются и не возвращаются.

Все произведения, опубликованные в журнале «Урал», размещаются в Интернете. Если Вы считаете, что публикация электронной версии нарушает Ваши авторские права, просьба заранее предупреждать о Ваших возражениях.

Перепечатка любых материалов возможна только с согласия редакции. Ссылка на «Урал» обязательна.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикаций.

Журналы с полиграфическим браком возвращать в типографию.

Уважаемые подписчики!

Обращаем ваше внимание, что оформить подписку на наш журнал на 2022 год можно по единому индексу 73412:

- на сайтах: <https://www.pressa-rf.ru/> или <https://www.akc.ru/> (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов);

- в отделе продаж агентства ОАО «АРЗИ», направив заявку по электронной почте: Govorkova@arzi.ru или позвонив по тел. (495) 680-99-71 (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов).

А также:

- на любом почтовом отделении через электронный каталог «Почта России». Приходите, называете индекс ПС429 — и вас подписывают!

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город» по адресу: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 130, телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-58576 от 14 июля 2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»
Учредитель — Министерство культуры Свердловской области

Главный редактор — Олег Анатольевич Богаев

Редакция:

Сергей Беляков — зам. главного редактора по творческим вопросам

Надежда Колтышева — зам. главного редактора по вопросам развития

Константин Богомолов — ответственный секретарь

Андрей Ильенков — зав. отделом прозы

Юрий Казарин — зав. отделом поэзии

Валерий Исаков — литературный сотрудник

Александр Зернов — литературный сотрудник

Татьяна Сергеенко — корректор

Юлия Кокошко — корректор

Наталья Бушуева — бухгалтер

Редакционная коллегия:

О. Богаев, С. Беляков, Н. Колтышева, К. Богомолов, А. Ильенков

Редакция журнала «Урал»: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24, 4-й этаж
Адрес электронной почты: editor.ural@mail.ru

Телефоны:

376-57-49 — главный редактор

376-57-54 — зам. главного редактора по творческим вопросам, отдел прозы, отдел публицистики

376-57-41 — зам. главного редактора по развитию, ответственный секретарь, отдел критики

376-56-25 — бухгалтерия, отдел поэзии

Оформление обложки — Альберт Сайфулин.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии

ООО «Издательство УМЦ УПИ» 620078, Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2

Подписано в печать 14.06.2023

Дата выхода в свет 27.06.2023

Формат 70x108/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 20,6

Тираж 1100 экз.

Заказ № 7661

Цена договорная

Журнал «Урал» в Сети:

<http://uraljournal.ru/>
http://vk.com/zhurnal_ural

Электронная версия журнала «Урал» находится по адресу:
<http://magazines.russ.ru/ural/>